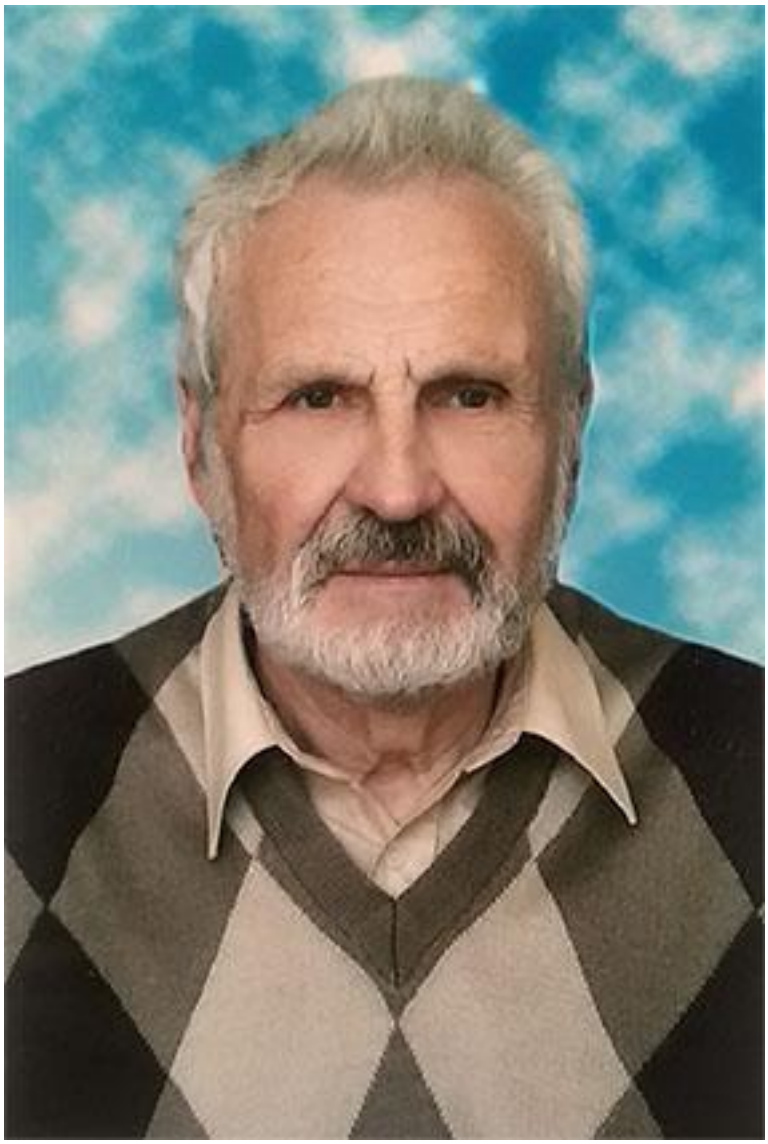
Г. Г. Сильницкий

Осмысление прошлого
(четыре круга спирали одной жизни)



Смоленск
2017

О Г Л А В Л Е Н И Е

Первый круг. РУССКИЙ ШАНХАЙ 5
1. Семья 5
2. St. Joan of Arc's College 10
3. Ecole Remi 21
4. Shanghai British School 33
5. Америка или Россия? 35
6. Прощание с Шанхаем 36
Второй круг. ГОРОД НА КАМЕ 38
1. Порт «Находка» – причал к новой жизни 38
2. Надежда Григорьевна Конюхова 44
3. Мои университеты 48
4. Армагеддон 61
5. Переоценка жизненных ориентиров 72
6. Трагедия однокурсника 80
7. Свет в конце туннеля 82
9. «От Перми до Тавриды» 87
10. Конец Пермского периода 89
Третий круг. ГОРОД НА НЕВЕ 91
1. Невский проспект 91
2. Пермское землячество в Питере 93
3. Судьбоносный звонок 104
4. «От финских хладных скал // До пламенной Колхиды» 107
5. Ленинградский финал 112
Круг четвертый. ГОРОД НА ВЕРШИНЕ ХОЛМА 117
1. Пристань на Днепре 117
2. Эмигрантский Смоленск 120
3. Худграф – «нарушитель общественного спокойствия 124
4. Испытание 130
5. Самоопределение 132
6. Кирилл «Златоуст», Святитель Смоленский 149
ПОСЛЕСЛОВИЕ 154
ПРИЛОЖЕННИЕ 1. МИТРОПОЛИТ СМОЛЕНСКИЙ И КАЛИНИНГРАДСКИЙ К И Р И Л Л, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОТДЕЛА ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА: СОБОРНОСТЬ И ДЕМОКРАТИЯ 158
ПРИЛОЖНИЕ 2. СВЯТИТЕЛЬ СМОЛЕНСКИЙ 166
ПРИЛОЖЕИЕ 3. ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ АНИЧКОВ: ЛИЧНОСТЬ И ВРЕМЯ 172
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. АНТОН ПЕТРОВИЧ СИЛЬНИЦКИЙ (1863–1910) ... 179
Фотографии 185

Посвящается
памяти моего отца,
Георгия Антоновича Сильницкого

УДК 37
ББК 74.58:81
Д 15

Сильницкий Георгий Георгиевич
Д 15 Осмысление прошлого (четыре круга спирали одной жизни)
Г. Г. Сильницкий.Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2017.

ISBN 978-5-7944-2632-0

Предлагаемые вниманию читателя воспоминания подразделяются на четыре части, определяемые городами, игравшими ключевую роль в жизни автора: 1) Шанхай, 2) Пермь, 3) Ленинград, 4) Смоленск. Биографические факты излагаются на фоне исторических событий, прямым или косвенным свидетелем которых довелось быть автору, и с психологическими зарисовками ряда характерных личностей, встреченных им на своем жизненном пути.

УДК 378
ББК 74.58:81

© Сильгицкий Г.Г., 2017
© СмолГУ, 2017

ISBN 978-5-7944-2632-0

Первый круг. РУССКИЙ ШАНХАЙ

Если по-настоящему вдуматься, то в мире нет ничего удивительней, чем самая обычная человеческая жизнь.

Мои родители, Сильницкий Георгий Антонович и Пояркова Галина Владимировна, родом из различных мест охваченной гражданской войной России, были вынесены волной революционных событий во Вдадивосток, откуда в начале 20-х годов в подростковом возрасте они эмигрировали, независимо друг от друга, в китайский город Шанхай. Отец семилетним мальчиком лишился родителей и воспитывался в Хабаровском кадетском корпусе, в составе которого прибыл в шанхайскую эмиграцию. Мать была третьей, младшей дочерью бывшего царского офицера. Ее старшая сестра Леля через несколько лет уехала в Америку, где обосновалась в Сан-Франциско, обзавелась собственной семьей и стала настойчиво звать своих родных переселиться к ней. На ее приглашение ответил ее отец, Владимир Михайлович, мой дед по материнской линии, но вскоре вернулся в Шанхай, не приняв американского образа жизни. По его словам, решающую роль в его решении вернуться сыграла неудачная попытка устроиться на работу на мебельную фабрику, где он должен был намагниченным молотком подхватывать за шляпку маленький гвоздик и одним ударом приколачивать к креслу обшивку. Дед счел это занятие унизительным для русского интеллигента и дворянина и уехал.

1. Семья. Родители поженились в 1928 году. Я появился на свет 6 июля 1930 года. Вскоре после моего рождения наша семья поселилась на маленькой тихой улочке, рут де Груши, в составе французской шанхайской «концессии», своеобразного «мира-в-себе», управляемого автономной французской администрацией. В том же доме №41 занимали комнату моя бабушка, Ольга Николаевна Пояркова, старшая мамина сестра Татьяна Владимировна с ее мужем, Дмитрием Васильевичем Булгаковы Бабушка была хлебосольной хозяйкой с ровным, невозмутимым характером; благодаря ее гостеприимству наш дом вскоре стал местом встречи довольно обширного круга знакомых по религиозным и семейным праздникам. Тетя Таня была, как говорится, «с комплексами»; она с какой-то болезненностью не терпела ни малейшего вмешательства в свой внутренний мир. Мать приводила как пример ее «чудачества» то, что она даже ванну принимала при выключенном свете. Дядя Дима был неразговорчивый человек, обходившийся в самых различных ситуациях узким набором дежурных фраз; так, на вопрос «Когда произойдет некоторое событие?», он обычно отвечал, иногда очень кстати: «Своевременно, или несколько позже». Злые языки говорили о нем, что он относится к тому типу людей, которым удается «домолчаться в обществе до того, что их начинают принимать за авторитет».

Французская концессия, как и соседняя английская, представляли собой два своеобразных «мира-в-себе». Русская эмиграция, в свою очередь, образовала на их территории свой обособленный микро-мир. Весь уклад жизни этого мира, весь круг общения и интересов его обитателей был сугубо русским и характеризовался соблюдением привычных традиций и обычаев, религиозных праздников и обрядов, склонностью к политическим спорам и бытовым дрязгам, одним словом – всеми чертами, унаследованными нашей эмиграцией от утраченной родины и пересаженными ею в новую среду обитания. Психологической доминантой этого мира, смутно улавливаемой моим детским восприятием, было общее неопределенное чувство тревоги, неустроенности, непредсказуемости ближайшего будущего, необеспеченности своего материального, юридического и политического бытия. До введения «нансеновского паспорта» русская эмиграция по всему миру была лишена официально признанного национального статуса и фактически была беззащитной от любых социальных невзгод. Преобладающей темой разговоров были превратности судьбы, выпадавшие на долю общих знакомых, основной всеобщей заботой – поиски более или менее постоянного заработка. Величайшей удачей считалось устройство на работу в какую-либо иностранную фирму или на муниципальную службу. Из самых распространенных престижных профессий была служба во французской городской полиции, из менее престижных – работа ночным сторожем (слово «вочмен» прочно вошло в местный жаргон).

В этом тревожном житейском море, отголоски которого достигали и моего детского сознания, относительным островком стабильности был постепенно налаживаемый домашний уклад жизни нашей семьи. Отец, продолжая традиции своего отца, завел небольшую типографию, выполнявшую мелкие заказы (билеты в кинотеатры, программки различных эмигрантских мероприятий, приглашения на свадьбу и т.п.), приносившие небольшой, но более или менее постоянный заработок. Однако отца это не могло удовлетворить. Он стремился пробудить в разрозненном, погруженном в повседневные бытовые заботы эмигрантском обществе духовные интересы: стал издавать журнал «Окно в Китай» (вышло всего лишь два номера), устраивал литературные встречи и дискуссии с участием немногочисленных местных писателей, издал брошюру любителя-математика, претендовавшего на престижную международную премию. В период обострившейся безработицы организовывал на базе типографии «артели» и «трудовые товарищества» из бедствующих эмигрантов на корпоративных началах. Надо сказать, что эти начинания нечасто приносили успех.

Закладывалась традиция семейных праздников. Помимо Пасхи и Рождества, у каждого члена семьи были два сугубо личных праздничных дня в году, день рождения и именины (день Ангела). Второй из них регулярно отмечался в более торжественной обстановке, чем первый. Никто из гостей специально не приглашался. Все близкие знакомые семьи знали эти даты, и к вечеру собиралась довольно большая компания. У нас с отцом был общий день Ангела – 9 декабря. Но только в этот день в поздравлениях звучало имя

«Георгий». Во все остальные дни к нам обращались по более простонародному имени «Юрий», представленному в Святцах. Мама ласкательно называла меня «Юраш», и вслед за ней некоторые наши семейные знакомые шутливо обращались ко мне по имени-отчеству: «Юраш Юрашевич.

Отец обладал весьма непростым характером, сочетавшим черты повышенной общительности, склонности к сложным абстрактным рассуждениям, нетерпимости к взглядам и оценкам, отличным от своих собственных, и, вместе с тем, редкой последовательностью мысли и полемической находчивостью. По натуре он был «философ-любитель», который постоянно размышлял и рассуждал о различных отвлеченных материях, высказывая оригинальные и казавшиеся мне весьма убедительными суждения по самым неожиданным поводам. Время от времени он фиксировал свои мысли в виде кратких заметок, отпечатанных на старой типографской пишущей машинке. Вокруг него быстро образовался узкий круг таких же горячих спорщиков, как он сам, и стоило только кому-то из них неожиданно явиться в наш дом, как, к великому беспокойству матери, самые неотложные бытовые и типографские дела откладывались в сторону, и завязывалась очередная нескончаемая дискуссия по какой-либо дежурной проблеме. Споры постоянно перемежались со взаимными обидами, разрывами отношений и последующими примирениями. Неизвестно, как бы все это сказалось на финансовом положении семьи, если бы не одно смягчающее остроту ситуации обстоятельство.

Отец был наделен редкими врожденными способностями к музыке. Не получив специального музыкального образования, он самоучкой овладел фортепиано и аккордеоном. Услышав по радио какое-либо симфоническое произведение, он мог «на слух» достаточно точно воспроизвести его основное содержание. Его постоянно приглашали давать музыкальное сопровождение местным и приезжим певцам и танцорам, что служило существенным подспорьем для фамильного бюджета. По семейному преданию он однажды аккомпанировал Вертинскому во время его краткого приезда в Шанхай, заслужив похвалу и благодарный отзыв знаменитого артиста.

Родители мало уделяли внимания моему воспитанию. Отец спорадически проводил со мной возникающие «к слову», мало связанные между собой общеобразовательные беседы, читал обожаемого им Пушкина или «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя, изредка делился воспоминаниями о своем детстве на Камчатке, где его отец, Антон Петрович, в качестве Петропавловского уездного начальника сыграл видную роль во время русско-японской войны по сохранению Камчатского полуострова в составе России, организовав местное народное ополчение, отразившее попытки японской военщины захватить этот благодатный край (см. Приложение 4). Позднее я прочитал посвященный этому периоду нашей истории роман В.Пикуля «Богатство» и видел поставленный по роману художественный фильм с актерами С.Никоненко и О.Табаковым, где мой дед

под вымышленным именем был показан горячим патриотом России, много поработавшим для ее благополучия. Это находит отражение в специальном разделе Краеведческого музея в Хабаровске. В 2009 году хабаровчане сняли документальный фильм, посвященный деятельности моего деда на Камчатке.

Наиболее постоянным собеседником и оппонентом отца в его дискуссиях был Николай Михайлович Усачев, казачий есаул. Старше отца на несколько лет, он был активным участником гражданской войны под началом Колчака и остро переживал как личную обиду и трагедию предательство англо-французских «союзников», приведшее к крушению белого движения. Их споры были в основном посвящены выяснению глубинного смысла русской эмиграции. Усачев не жалел самых черных красок для безапелляционного приговора революции как божьего наказания за исторические грехи России и за ее потакательство исконно враждебному отношению Запада к национальным русским интересам. Нашу эмиграцию он считал затянувшейся фазой безысходной агонии русского мира, обреченного на вымирание.

Отец соглашался с негативной оценкой революции и безбожного большевистского режима, но возражал Усачеву в его пессимистической оценке будущего России. По его убеждению, происшедшая национальная катастрофа была предопределена высшим провиденциальным замыслом в качестве критического испытания, преодолев которое Россия «прорвется» и увлечет за собой человечество в новую фазу мировой истории, предсказанную славянофилами и Достоевским. «Кого люблю, того наказываю», – любил он приводить слова, слышанные апостолом Павлом от Вседержителя человеческих судеб. Это было частью общей теософской теории отца о европейской истории как определяемой противостоянием идей славянства и англосаксонства, которую собеседник встречал с неизменным ироническим скептицизмом.

Основанием сложных рассуждений отца служил его исходный тезис о соответствии, наблюдаемом, по его убеждению, между физическими и психическими явлениями мира. В качестве примера он часто проводил аналогию между понятиями «инерции» в физическом плане и «привычки» в психическом.

Все эти «высокие материи» были выше моего детского разумения и вызывали у меня лишь чувство раздражения в связи с тем, что за отсутствием своей отдельной комнаты я тщетно пытался заснуть под аккомпанемент этих бурных словоизлияний, продолжавшихся далеко за полночь. И лишь много позднее, под влиянием нечастых, спонтанно возникающий бесед с отцом я мог составить себе более или менее ясное представление об их смысле.

Четверть века спустя, уже в зрелом возрасте мне довелось как-то прочитать у Шопенгауэра, что человек наследует от отца свои когнитивные особенности, от матери – свой характер. Не знаю, как у других, но в моем случае это соответствует действительности. Влияние отца на становление моего самосознания составило предмет моих размышлений и переосмыслений на протяжении всей последующей жизни. Образ же матери,

оказавший на меня в раннем возрасте непосредственное эмоциональное воздействие, остался на многие последующие годы надежным успокоительно-просветляющим очагом стабильности, константным заслоном, оберегающим от постоянного набега волн чуждого внешнего мира.

Через некоторое время я заметил, что и на других людей, начиная с отца, она оказывает подобное воздействие. Для отца стало необходимым условием душевного спокойствия перед сном обсудить с ней события истекшего дня с подробным перечислением всех возникших недоразумений и разногласий, в которых он как правило видел только свою сторону вопроса и склонен был приписывать даже близким друзьям недостаточное сочувствие своим идущим на общую пользу, по его убеждению, начинаниям. Мать обычно раскрывала точку зрения «другой стороны», чем как правило удерживала отца от поспешных «ответных шагов», но порой навлекала на свою голову упреки в нечуткости и непонимании «самых очевидных вещей». В таких случаях дело зачастую кончалось маминими слезами.

Эти время от времени возникающие по инициативе отца «выяснения отношений» между самыми близкими и дорогими для меня людьми причиняли мне не по моим годам острую душевную боль, источник которой интуитивно виделся мне во взаимном недопонимании подлинного смысла, вкладываемого говорящими в их слова. Я мысленно строил убедительные, как мне казалось, аргументы, сближающие их точки зрения, но не решался их высказать. Этот ранний опыт отрицательного эффекта малейшего перебоя во взаимопонимании даже близких друг другу людей определил характерное для меня в дальнейшем болезненное отношение к любому разногласию, нарушающему согласие между мной и духовно родственными мне спутниками жизни, и стремление как можно скорее загладить возникшую трещину в наших отношениях.

Мамины подруги постоянно побуждали ее более строго противодействовать папиному неумеренному курению, убедительно доказывая, что оно наносит ущерб не только его здоровью, но и нашему семейному бюджету. Мать отвечала, что жизнь с ее проблемами требует от ее мужа такого напряжения всех душевных сил, что она не считает себя в праве лишать его единственного оставшегося ему средства разгружать свои нервы.

Я вскоре заметил, что у многих бывавших в нашем доме женщин сложились с мамой особые доверительные отношения. Они часто советовались с ней по своим семейным делам и жаловались друг на друга по поводу возникавших недоразумений. Я с удивлением наблюдал, как какие-нибудь из маминых собеседниц, лишь недавно весьма недружелюбно отзывавшиеся друг о друге, при личной встрече обменивались приветливыми любезностями. Мать неизменно воздерживалась от поощрения недобрых суждений о ком-либо из общих знакомых и наоборот, приводила доброжелательные отзывы обсуждаемого человека о присутствующих, чем вносила заметный вклад в умиротворение склонного к пересудам и обидчивой мнительности нашего эмигрантского сообщества. Недаром на

одном из ее именин кто-то отметил в качестве основной ее характерной черты то, что она «за свою жизнь не произнесла по адресу кого-либо ни одного злого слова».

Одна из постоянных забот мамы был связана с попытками преодолеть неприязненное отношение к папе своей старшей сестры Тани. Все началось с того, что у тети Тани обнаружился скромный, но реальный талант к живописи. Отец со свойственным ему неумеренным энтузиазмом и настойчивостью стал убеждать ее в том, чтобы она «не зарывала свой талант в землю» и всячески развивала его. Он стал разрабатывать различные проекты получения ею специального художественного образования, чем нарушил «святую святых» ее тщательно оберегаемого внутреннего мира и внушил ей прочную неприязнь к себе. Мама, хорошо знавшая характер своей сестры, тщетно пыталась убедить его не вмешиваться в ее внутреннюю жизнь. Дело кончилось открытым разрывом между тетей Таней и отцом, и лишь выдержка, здравый смысл и такт моей бабушки, Ольги Николаевны, помогли сохранить какое-то подобие согласия в семье.

Лично меня это разногласие в семье не коснулось, и я продолжал свободно общаться с обеими сторонами возникшего противостояния – в частности, в полуголодные военные годы я часто умудрялся дважды пообедать – у бабушки и «у себя дома». Однако новое переживание на примере близких мне людей губительных последствий для их нормального сосуществования непонимания побудительных мотивов поведения другого человека укрепило мое интуитивное стремление всемерно способствовать сохранению согласия между людьми.

В узком семейном кругу отец часто рассказывал о своих родителях и старших братьях и сестре. Однажды эти его рассказы воплотились в живой конкретный образ, оказавшийся моей тетей Ниной, папиной старшей сестрой, приехавшей в Шанхай из Советской России. Официально она числилась в составе какой-то торговой делегации. Тетя Нина привезла мне много подарков, в частности – богато иллюстрированные книжки с детскими стихами Корнея Чуковского, и вообще отнеслась ко мне с непривычными в нашем материально стесненном быту ласковостью и вниманием, чем вызвала у меня ответное чувство благодарности и симпатии. При ее отъезде, вопреки моей тогдашней стеснительной сдержанности в выражении своих чувств, я настойчиво призывал ее как можно скорее приехать к нам снова. Лишь много лет спустя, будучи уже в преклонном возрасте, я узнал, что на самом деле она работала секретаршей-машинисткой в Министерстве иностранных дел и проживала в Москве на Кузнецком мосту в доме для дипломатических работников. По возвращении в Россию она была арестована и, как почти все ее (то есть и папины) родные, подверглась расстрелу в застенке ЧК. Таким образом, наша семья по отцовской линии в полной мере разделила горькую участь многих русских в те страшные тридцатые годы.

2. St. Joan of Arc's College. Тем временем, невзирая на все возникающие субъективные проблемы, наша шанхайская жизнь шла своим чередом и ставила передо мной все новые задачи. Еще в пятилетнем возрасте меня

отдали в близлежащую восьмилетнюю мужскую школу, «колледж Жанны д'Арк», с двумя отделениями – французским и английским. Не знаю, по каким соображениям родители выбрали английское отделение, что в значительной степени определило мою дальнейшую жизненную судьбу. Школа содержалась католическими монахами; родители так и не удосужились уточнить, какого ордена; но, судя по частому упоминанию с пиететом святого Франциска Ксавье, это были иезуиты. В многонациональном составе учеников было немало детей русских эмигрантов. Мы все дисциплинированно посещали ежедневные молебны в школьной часовне, хором пели католические религиозные гимны, не оказывавшие на нас какого-либо заметного влияния (во всяком случае, мне не известен ни один случай перехода русского ученика школы в католическую веру).

В русской ученической среде чувство экономического и социального неравенства, показательное для «взрослого» эмигрантского сознания, тоже давало о себе знать. Это сказывалось прежде всего в языковом плане. Все ученики, кроме, как правило, русских, бойко владели упрощенным английским языком, так что первые несколько месяцев я остро ощущал свою коммуникационную неполноценность за пределами своих русских одноклассников. Основные затруднения я испытывал с произношением наиболее часто употребляемого слова – *brother* («брат»), бывшего официальной формой обращения к монаху-учителю. Это английское слово содержало два звука, гласный и согласный, не представленные в русском языке, и выговаривалось мною на русский лад как «брадер». К счастью, мне удалось за сравнительно короткий срок усвоить необходимый минимум языковых средств для элементарного общения со своими нерусскими товарищами и учителями.

В колледже культивировались спортивные игры, в первую очередь – футбол, упрощенный до семи игроков в команде и именуемый «соккер», а также «софтбол» (упрощенный американский бейсбол) и другие, игравшие не меньшую, если не б*о*льшую роль в ученическом общественном мнении, чем успехи в учебе. В футболе выше всего ценилось искусство *дриблинга*, обводки с мячом наибольшего числа игроков противоположной команды. Однако самой престижной и желанной на футбольном поле почему-то считалась функция вратаря-*гоули*.

«Брадеры», особенно те, что помоложе, подчеркнуто вели себя по-товарищески с учениками: играли на-равных с ними в футбол, всячески поощряя инстинкт соревнования на всех мыслимых уровнях: между различными классами, между английским и французским отделениями, между католиками и некатоликами и т.д. Особенно отличался своим спортивным темпераментом брадер Эдвард, высокий худощавый монах, азартно поддерживающий своими репликами и указаниями поочередно одну ученическую команду в первом тайме и противоположную во втором. Он сам отменно владел дриблингом и охотно принимал участие в игре; мне живо

запомнился игровой эпизод, где он измотал то в одну, то в другую сторону игравшего против него коллегу-брадера.

Этот культивируемый дух соревнования послужил источником определенного испытания для моего нежданно проявившегося национального чувства. Среди учеников быстро установилась некоторая социальная иерархия по национальной принадлежности. Привыкший в кругу семейных знакомых к уважительному отношению к понятию «русский», я с неприятным удивлением обнаружил некий трудно определимый, но отчетливо улавливаемый оттенок снисходительного превосходства, ассоциированного со словом «*рашн*» в самом способе его произношения моими иноязычными одноклассниками.

Таким образом, с самого раннего возраста я стал ощущать свое существование как причастность двум противостоящим друг другу в языковом и ментальном планах миров. При этом второй, иноязычный мир все в большей мере втягивал меня, как и моих сверстников по школе и улице, в русло той гибридной русско-англоязычной цивилизации, которая составляла сферу моего жизненного пребывания за пределами тепличного оазиса ограниченного, искусственно поддерживаемого русского мира. Постепенно вырабатывался местный вариант «пиджин-инглиш», своеобразного «койне» с примесью отдельных китайских слов, служившего средством общения молодого поколения между собой и не всегда понятного взрослым.

Повальным увлечением школьников в этом новом для меня мире были «марблз» (по-русски, «мабсики») – стеклянные разукрашенные игровые шарики диаметром около полутора сентиметров. Игрок зажимал шарик между согнутым указательным пальцем и подведенным под него в виде пружины большим пальцем, разжимая который с силой катапультировал шарик вперед, целясь в такой же шарик противника. Существовало множество игр, в которых пораженные по определенным правилам марблз противников переходили в собственность победителя. Эти ранние проявления собственнического начала были причиной первого в моей жизни опыта перенесенной несправедливости и насилия. Однажды когда я разложил на земле свое мабсиковое сокровище, чтобы пересчитать его, проходящий мимо старшеклассник, буркнув «Это мои марблз», сгреб их рукой сколько мог захватить и сунул в свой карман. Не помня себя, я вцепился в его руку, всхлипывая от обиды. Завязалась потасовка. К нам быстро подошел дежурный «брадер», в чьи обязанности входило пресечение часто возникавших ссор и препирательств. Глотая слезы, я мог произнести лишь одно слово: «марблз!», указывая на моего обидчика. Брадер что-то ему сказал, и тот швырнул на землю какую-то часть захваченного и отошел прочь. Воспоминания об этом происшествии долго не давали мне покоя.

Другим, наряду с марблз, поголовным увлечением моих сверстников были «комиксы» – серии красочных рисунков с незамысловатыми сюжетами и с исходящими из уст персонажей краткими репликами. Но к концу первого класса мой основной интерес переключился на другой своеобразный жанр

тогдашней популярной литературы – на так называемые “big-little books” («большие-маленькие книжки»), представлявшие собой компактные издания небольшой кубической формы, почти одинаковые по размеру в трех своих измерениях, нечетные, левые страницы которых содержали связный текст, иллюстрируемый черно-белым рисунком на противоположной четной, правой странице. Таким образом, текст и иллюстрации к нему были представлены в одинаковой пропорции и точно соответствовали друг другу по содержанию. Эти удобные в чтении и обращении пухленькие книжицы, к которым я на долгие годы сохранил благодарность и теплые воспоминания, впервые приучили меня к восприятию связных и достаточно обширных текстов, то есть к чтению в подлинном смысле слова, хотя и разбавленному постраничными иллюстрациями.

Еще через несколько месяцев следующий этап освоения мною текстового мира, определившего на всю последующую жизнь мою увлеченность письменным словом, был связан с моим самым неразлучным школьным другом за весь восьмилетний период учебы в колледже, Алешей Топорниным, жившим через несколько домов от меня по той же рут де Груши.

Алеша был шустрый мальчик. Он постоянно находился в курсе злободневных городских и школьных событий и всегда имел сообщить что-то интересное. От него я уразумел, о чем как-то не задумывался раньше, что любая книга и фильм не являются на свет стихийно, «сами по себе», но за ними стоит определенный создатель, имеющий самостоятельное существование, независимое от своего произведения. Так, Алеша познакомил меня со своим кумиром – писателем-фантастом по имени Эдгар Райс Бёроуз (Burroughs). Оказалось, что тот придумал не только известный всем образ Тарзана, но и целый ряд других, в том числе Джона Картера с Марса, неизвестного никому из наших одноклассников, кроме Алексея. И он увлеченно начал мне пересказывать его удивительную историю. Найдя во мне внимательного слушателя, Алеша предложил мне самому почитать имеющиеся у него книги о Картере.

Так мне довелось впервые держать в руках «настоящую» (как у взрослых) книгу безо всяких картинок и не связанную с довольно скучными рассказами из школьного учебника. Помню, с каким опасением я открыл первую страницу и был приятно удивлен тем, что моих скудных знаний английского языка оказалось достаточно, чтобы создавать в своем воображении визуальную картину («как в кино») прочитанного и в основных чертах следить за перипетиями захватившего меня сюжета. Меня поразила мысль, что в книге я имею при себе возможность безо всяких вспомогательных материальных средств «прокручивать» в своем мысленном восприятии бесконечное множество историй, за удовольствие ознакомления с которыми иначе пришлось бы понести большие издержки на кинобилеты и прочие жизненные ресурсы. Таков был первый шаг моего вступления в волшебный мир вымысла и началось мое продолжающееся и поныне «nonstop» плавание по безбрежному текстовому морю. Спасибо Джону

Картеру с Марса и Алешке Топорнину с рут де Груши! Отсюда же проистекает мое граничащее с одержимостью библиофильство в зрелые годы жизни, готовность в любом городе без устали рыскать по книжным и букинистическим магазинам в поисках все новых книг, чтобы иметь у себя «под рукой», «не выходя из дома» возможность ознакомиться с самым интересным, что было придумано людьми.

В 1937 году враждебный внешний мир прорвался в нашу тихую шанхайскую заводь: город был оккупирован японцами. Эта перемена мало отразилась на установившемся укладе жизни; лишь усилилось общее чувство безотчетной тревоги, внушаемой периодически появляющимися на улице отрядами японских солдат и непривычным, угрожающе звучащим словосочетанием «японская комендатура», все чаще употребляемым в разговорах взрослых.

Однажды под вечер мы с соседними ребятами стояли у освещенной витрины кондитерского магазина и занимались любимым делом – выбирали по-очереди соблазнительные яства, которые мы купили бы при наличии денег. Внезапно всю улицу переполошили громкие крики. Мы оглянулись и увидели, как два японских солдата заталкивали в подъехавшую военную машину отчаянно отбивающегося и кричащего надрывным голосом китайца. Сцена произвела на всех удручающее впечатление. После отъезда машины мы долго стояли молча и так же молча разошлись. Я долго не мог заснуть в эту ночь, впервые оказавшись свидетелем неприкрытого человеческого насилия. В течение многих дней воспоминания о виденном продолжали жить в моем воображении, не давая мне покоя.

В 1939 г., когда я кончил четвертый класс, родители решили провести лето «на природе», чтобы я не рос чисто городским ребенком и имел хоть какое-то представление о внешнем мире за пределами Шанхая. Действительно, если не считать редких посещений городского Джесфилд Парка, я, как и мои уличные товарищи с соседних домов, проводили наши детские игры в основном на территории наглухо заасфальтированных сквозных «пассажей», соединяющих нашу улочку с пролегавшей параллельно с ней Авеню Жоффр, одной из двух центральных магистралей французской концессии. Единственный наш «контакт» с живой природой осуществлялся на небольшой замусоренной полянке со скудной растительностью и маленькой горкой в глубине. Поэтому я весьма положительно встретил перспективу ближе познакомиться с «настоящей» природой.

Правда, реальность оказалась мало соответствующей моим ожиданиям. Родители сняли на лето небольшую хижину-«фанзу» в непосредственно прилегающем к городу районе Ханьджау, необустроенную в плане элементарных бытовых удобств. Но главное, окружающий ландшафт больше походил на нашу городскую полянку, чем на живописные пейзажи, которые мне приводилось иногда видеть на китайских гравюрах. Ханьджау представлял собой плоскую равнину, покрытую хилой растительностью в

виде редкого кустарника и небольших камышовых зарослей. Единственной зацепкой для глаза служили небольшие бамбуковые рощицы.

Лето пролетело, не оставив никаких особых впечатлений. Но по возвращении в город обнаружилось, что я заразился малярией. Это была первая «серьезная» болезнь в моей жизни. Меня периодически схватывала лихорадка, заставлявшая в течение около полутора часов биться в конвульсиях, затем отпускала так же внезапно, как началась. Я подвергся лечению всеми предписанными медициной способами без какого-либо видимого результата. Родители стали испробовать на мне множество «народных» рецептов. Кто-то посоветовал поместить вареное яйцо в скорлупе в стакан с красным вином, выдержать двадцать дней и дать мне выпить. По истечение этого срока яйцо обмякло, приобрело какой-то неравномерный фиолетовый цвет, скорлупа стала рыхлой и пористой. Не знаю, случайно или нет, но болезнь отступила, оставив за собой длительный период выздоровления и восстановления сил. В течение нескольких месяцев я был привязан к постели, не испытывая никаких физических неудобств, кроме непривычной слабости и головокружения.

Так судьба неожиданно выдала мне отключение от сложившегося распорядка жизни. Произошло своеобразное раздвоение моего восприятия времени. С одной стороны, это было обычное его течение, секунда за секундой, час за часом. Но одновременно я ощущал его как бесконечно длившееся настоящее. Я почти физически чувствовал течение повисшего на мне своей монотонной тяжестью времени, лишенного как обычных школьных и бытовых обязанностей, так и привычных игр и развлечений на нашей полянке, ставшей вдруг дорогой и желанной.

В разговорах наших знакомых часто звучало имя Минцлова, русского эмигрантского писателя. Однажды я нашел на нашем обеденном столе, придвинутом к моей кровати, потрепанный роман этого автора «Клад». В предыдущие два-три года, слушая мамино чтение подаренных тетей Ниной детских книг, я по ее подсказкам каким-то незаметным для себя образом научился азам русского чтения. Позже я самостоятельно прочел книжку «Маленький лорд Фаунтлерой» Л.Чарской и несколько других ее детских рассказов. Но теперь передо мной лежала книга с интригующе многообещающим подзаголовком «Роман» без приписки «для детей». С первых же страниц я почувствовал нечто новое в его содержании сравнительно с Джоном Картером. Это была приключенческая история, захватывающая воображение, но иным способом, чем у американского фантаста. Здесь не было ни зеленых четвероруких марсиан, ни десятиголовых чудовищ. Оказалось, что не менее напряженное слежение читателя за перипетиями развертываемой фабулы (позже я узнал непредставленное в русском языке слово «*suspense»* в этом значении) может достигаться автором, не прибегая к изображению заведомо нереальных образов и ситуаций, но используя данные, не противоречащие повседневному человеческому опыту.

Так я приобщился к чтению на родном языке и почувствовал вкус к русской художественной литературе. Мне не терпелось поскорее закончить книгу, и я все заглядывал в ее конец, чтобы определить, сколько еще осталось. Но какое-то внутреннее чувство не позволяло мне просто прочитать последний абзац, чтобы сразу узнать, чем все кончилось. Я должен был «по-честному» выдержать испытание прочтения каждой страницы. Когда отец узнал, что я самостоятельно одолел целую книгу, он похвалил меня и спросил, что еще принести мне прочитать из городской русской библиотеки. Я попросил какую-нибудь книгу того же Минцлова. Отец принес «Под шум дубов». Так впервые я приобщился к миру русской истории.

Мое вынужденное болезнью отключение от внешней действительности и погружение в свой внутренний мир имело результатом мой решительный поворот к русской классической литературе как к естественной для меня духовной среде обитания. Я быстро вжился в специфическую атмосферу дореволюционных дворянских помещичьих усадеб, проникся духом их обитателей, задумчивых молодых людей, ищущих смысла жизни, и мечтательных тургеневских барышень, научился понимать и разделять их чувства и стремления. Наиболее сильное впечатление на мое воображение произвел «Обрыв» Гончарова; я буквально влюбился в образ Веры. Отныне я жил в двух мирах – в действительном мире школы и улицы и воображаемом мире русской дореволюционной литературы, и трудно сказать, какой из них представлялся мне более реальным

Пропустив по болезни полгода школьных занятий, я с трудом перешел в следующий класс. В колледже все занятия в течение года вел один и тот же учитель, который по своему усмотрению распределял учебное время между различными предметами. Мой новый преподаватель, наряду с обязательными предметами (среди которых наибольшее внимание уделялось математике) постоянно вводил в виде факультативных новые учебные дисциплины. В этом году он выбрал в качестве педагогического эксперимента «Собеседование» (“Conversation”). На доску вывешивалась большая картина городской площади с десятками персонажей различных возрастов, держащих в руках различные предметы и взаимосвязанных между собой различными отношениями. Ученику давалась в руки указка, и он должен был составить связный и максимально развернутый рассказ о содержании картины.

Надо сказать, что на протяжении всех предыдущих лет учебы я относился с безразличным равнодушием к школьным занятиям, воспринимая их как нечто навязываемое мне извне и редко поднимаясь выше среднего уровня в ежегодно проводимых рейтинговых опросах, определяющих место каждого ученика в иерархической структуре класса. Тем неожиданнее как для меня, так и для моих одноклассников (да и самого учителя) было проявление моего повышенного интереса и активности на занятиях по этому новому предмету. Слова как бы сами собой складывались в предложения, которые последовательно сцеплялись между собой, вырисовывая все новые сюжетные линии из потенциально беспредельного множества отношений

между воображаемыми персонажами, изображенными на картине. Так я познакомился с чувством особого удовлетворения, связанного с вербальным анализом и выражением зрительного восприятия в речи.

Нападение Германии на Советский Союз летом 1941 года, заставшее меня при переходе в 6 класс, подобно удару молнии поляризовало шанхайское эмигрантское общество, разделив его на четко противопоставленные друг другу большинство, сочувствовавшего Советскому Союзу в его борьбе с захватчиками, и его противников, не желавших забыть и простить советской власти братоубийственную гражданскую войну. Наша семья однозначно относилась к первому лагерю, что порождало острые споры отца с соотечественниками, придерживавшимися противоположных убеждений. Он доказывал, что исчезла основная причина неприятия «белым движением» большевистского строя, состоявшая в «сдаче» России национальному врагу, с которым теперь шла схватка не на жизнь, а на смерть. Как и многие другие эмигранты, мы приняли советское гражданство, сменив «нансеновский» документ на советский паспорт.

В самые тяжелые дни первых поражений советской армии был создан комитет, собиравший желающих любым способом содействовать своей подвергнувшейся смертельной опасности родине и обратившийся в советское правительство с просьбой принять их добровольцами на любой участок фронта. К некоторому моему удивлению, памятуя его недавние прения с отцом, среди подписавшихся оказался Николай Михайлович Усачев. Патриотическое ходатайство шанхайцев, как и представителей русской эмиграции Харбина и некоторых других китайских городов, не было удовлетворено.

В иностранной прессе, как и в ученической школьной среде, драматическое развитие военных действий в осенние месяцы 1941 года вызвало оживленное обсуждение, поразившее меня своей чуть ли не сочувствующей Германии тональностью. События взахлеб комментировались как захватывающее спортивное состязание: приводились ужасающие цифры советских убитых и пленных, делались, как в азартной игре, прогнозы и ставки на сроки взятия немцами того или иного русского города, падения Москвы и советского режима, строились предположения о том, что будет делать Гитлер дальше с завоеванной страной. Эти прогнозы обретали удручающую правдоподобность из-за предыдущих успехов немецкой военной машины, сметавшей наподобие тяжелого катка одну страну за другой. Казалось, нет в мире силы, способной противостоять этому нашествию.

Как вдруг военные сводки изменились. Впервые с начала общеевропейской войны наступление прежде непобедимого вермахта захлебнулось под Москвой и затем было повернуто вспять. Мы вздохнули с облегчением, воздерживаясь, однако, от построения слишком оптимистических прогнозов на будущее. И недаром: следующий 1942 год начался с нового ураганного блицкрига немецкой армии. И опять

возобновились в иностранной прессе предсказания скорой окончательной победы Германии над Россией, как обычно именовался Советский Союз. Затем наступило «сталинградское чудо», в корне изменившее тональность газетных сообщений. Известный шанхайский книжный магазин Флита стал регулярно выставлять на своей витрине издания с просоветским освещением хода военных действий. Мне особенно запомнилась монументальная книга, озаглавленная: «Сталинград. Битва, из которой Советский Союз вышел военным и политическим гигантом мира».

В школе я ощутил заметное улучшение отношения к русским. Спортивными кумирами стали три русских старшеклассника: Фарафонтов, Глебов и Фокин. Повысился статус русских спортсменов в городском масштабе. Ведущим футболистом команды французской полиции долгие годы был русский центр-форвард со знаменательной фамилией Робустов (английск. *robust* – ‘сильный’, ‘здоровый’). Видное место на боксерском олимпе занимали Павел Ложников и Георгий Левченко, прозванный ‘улыбающимся’ (‘*smiling* George Levchenko’) за свое веселое выражение лица, как будто он получает удовольствие от наносимых ему ударов. Но подлинную сенсацию на всем Дальнем Востоке произвел Валерий Шиляев, ворвавшийся подобно комете в боксерский мир и перевернувший все привычные представления и критерии оценки в данном виде профессионального спорта. Он постоянно выбирал соперников намного тяжелее себя и выигрывал поединки нокаутом. При этом Шиляев отличался вызывающе нестандартным поведением во время матча, завоевавшим ему прозвище «хулигана на ринге». Спортивная карьера Шиляеа оборвалась так же внезапно, как началась. Исколесив многие ринги Дальнего Востока, он отправился в боксерское турне по Америке, где должен был состояться его поединок с боксером по кличке «Матадор». Но за несколько дней до встречи он был найден мертвым в ванной своего гостиничного номера. Фееричная карьера и загадочная смерть Шиляева породила ряд легенд и слухов в русской шанхайской эмиграции.

Ситуация в школе радикально изменилась после нападении Японии на Пёрл Харбор и начала ее войны с Америкой и Англией. Привилегированное положение американских и английских школьников кануло в прошлое. Обязанные носить особые нарукавные повязки, они превратились из обособленной высшей касты в столь же обособленных, но в противоположном смысле, париев. Вскоре они вовсе исчезли из нашего поля зрения; распространились слухи, что они были интернированы в Путунге, лагере «для лиц враждебных Японии национальностей»

Поскольку Советский Союз сохранял нейтралитет относительно Японии, положение русских эмигрантов не претерпело видимых изменений. Создалась особая политическая ситуация, усугублявшая и без того тревожную неопределенность эмигрантского статуса той части русских, которые все более открыто проявляли свои симпатии к державе, союзнице стран, воевавших с Японией. Оставалось надеяться, что Япония не последует восточной поговорке «Друг моего врага – мой враг» и не выполнит своих

союзнических обязательств перед Германией, всемерно побуждавшей ее напасть с тыла на обескровленную Россию.

В сентябре 1942 года я перешел в восьмой, выпускной класс колледжа. Его вел брадер Марсел, который запомнился мне как наиболее своеобразный учитель английского отделения школы. В первый же день занятий на уроке геометрии он ошеломил класс, небрежным движением руки очертив на доске неправильный овал, который должен был восприниматься как круг. Аналогичным условным образом изображались треугольник, трапеция и другие геометрические фигуры. Такое нестандартное визуальное представление объектов геометрии выступало резким контрастом с их тщательным выписыванием при помощи циркуля и линейки у его предшественника, учителя предыдущего класса. Как бы отвечая на наше невольное недоумение, брадер Марсел сказал: «Любое изображение геометрической фигуры условно. Невозможно в точности воспроизвести на доске или на бумаге идеальный круг или идеальную трапецию».

Другая особенность брадера Марсела состояла в том, что время от времени, когда до конца занятий оставались свободными какие-нибудь полчаса, он позволял себе импровизацию на ту или иную тему. Наиболее часто он рассказывал нам эпизоды из жизни святого Августина, раскрывающие его чисто человеческие реакции в обыденной действительности. Мне запомнилось определение Августином сути праведной жизни: «Люби Бога и делай, что хочешь». На вопрос, как бы он поступил, если бы узнал, что через полчаса его постигнет смерть, Августин ответил, что он продолжал бы заниматься тем же самым, что делал до этого.

В одном из своих импровизационных экскурсов брадер Марсел поведал нам историю о некотором античном философе из древнего города Сиракузы. Когда город подвергся опасности вражеского нашествия и его жители спасались бегством, унося кто что мог из своего домашнего имущества, кто-то спросил философа, почему он идет налегке, не взяв с собой ничего. Тот ответил: «Все мое несу с собой». Это изречение сразу врезалось мне в память в своей афористической латинской форме: «Омнеа меа мекум порто» (*Omnea mea mecum porto)* и запомнилось на всю последующую жизнь. Не раз впоследствии я мысленно проговаривал его в возникавших критических ситуациях. А тогда впервые за время своей учебы в колледже я услышал на уроке что-то такое, что не только коснулось по касательной моего формального понимания, но эмоционально задело за живое. Если прежде на уроках «conversation» я испытал новое для меня чувство удовлетворения от легкости, с которой виденное на картине претворялось в правильную речь, то теперь я получал еще более глубокое удовлетворение от самого процесса возникновения самостоятельных мыслей, не имеющих визуального обоснования, но появляющихся как бы спонтанно в моем сознании. Несколько следующих дней я находился под впечатлением этого непривычного, независимого от моей воли переживания.

Что означают слова «*omnea mea*»? Что это за «все мое», которое всегда со мною? Вспомнилась давнишняя история с мабсиками. Марблз свободно

умещались в кармане и, при моем желании, могли постоянно пребывать при мне. Однако в тот памятный день они подверглись насильственному отчуждению от меня. Тут я спохватился, что давно не думал о них, и даже затруднился бы сказать, где они находятся в настоящий момент. То, что было когда-то предметом жгучего интереса и желания, потеряло теперь для меня всякий смысл. В результате напряженного размышления я пришел к заключению, что *omnea mea* определяется двумя особенностями: оно представляет что-то неотъемлемое и безусловно ценное для меня. Наглядным примером могло служить само изречение «*Omnea mea mecum porto*»: после того, как я узнал его и воочию испытал его преобразующее влияние на мое душевное состояние, ничто уже не способно было сделать его несуществующим для меня. Отсюда следующее откровение: подлинное *omnea mea* составляет достояние моего внутреннего мира и включает все, что я знаю, чувствую и могу сделать. Это невозможно купить ни за какие деньги и достигается только своими личными усилиями. Я подумал, что для папы это, прежде всего, его музыкальные способности.

Вдруг меня поразила своей дерзостью неожиданная мысль. Если так, если все, что прорастает сейчас в моем сознании, соответствует истине, только от меня самого зависит увеличить это мое *omnea mea*, то есть приобрести как можно больше знаний не ради того, чтобы избежать на уроке порицание учителя, а с более дальновидной целью самообогащения единственным видом собственности, которая всегда останется при мне. В более конкретно-осязаемом плане во мне с этого дня стала вызревать и крепнуть установка на то, чтобы распространить успешный опыт с занятиями по *conversation* на все остальные школьные предметы и окончить колледж наравне с лучшими учениками класса.

Эта идея не только не ослабевала во мне с течением времени, но пускала все новые ростки, обрастая новыми деталями и принимая все более конкретные очертания. Второй семестр учебного года был начат мной с новым душевным настроем. Одноклассники и брадер Марсел вскоре обратили внимание на мое нежданно проявившееся усердие в занятиях, что послужило поводом к участившимся ироническим ремаркам учеников, особенно наиболее преуспевающих; но я облекся как защитной броней своим решением и не отступал от принятой линии его осуществления. В результате мне не только удалось сравняться с традиционно высокоуспевающими одноклассниками, но и, неожиданно для меня самого, окончить школу первым учеником. На торжественном выпускном акте мне вручили, наряду с дипломом, монументальную английскую книгу о Петре Великом, которую я храню до сегодняшнего дня.

Итогом этого первого, завершившегося цикла моей жизненной траектории было следующее рассуждение: если одна-единственная, случайно услышанная фраза, некогда произнесенная древним философом, самого имени которого я не запомнил, оказала такое воздействие на мою жизнь, каким же должен быть духовный потенциал всей человеческой культуры, всего, что было наработано человечеством на протяжении его

существования! С итоговым напутствием превратить как можно б*о*льшую часть общечеловеческой культуры в свое *omnea mea* мое завершившееся детство проводило меня в отроческий период моего жизненного пути, открывающийся передо мной в неспокойном мире середины 1943 года.

3. Ecole Remi. После моего окончания колледжа Жанны д'Арк встал вопрос о моем дальнейшем школьном образовании. Можно было продолжить его в рамках более продвинутой школы святого Франциска Ксавье (S.F.X.), руководимой тем же католическим монашеским орденом. Мне этот вариант казался наилучшим; но родителей, по разным причинам, он не устраивал. Школа была расположена на территории не французской, а английской концессии, в другом конце Шанхая; время было беспокойное, и при малейшем обострении политической ситуации сообщение между двумя частями города перекрывалось на несколько часов. Поэтому мама решительно возражала против такого «чреватого неоправданным риском решения», как она его называла. Отец же считал, что я достаточно долго находился под англосаксонским ментальным влиянием, так что надо отдать меня в русскую школу.

В Шанхае была школа для детей русских эмигрантов, юношей и девушек, содержащаяся почему-то французским муниципалитетом. Все обучение велось русскими учителями на французском языке. Это послужило отцу лишним доводом в пользу данного выбора. Он говорил, что современному образованному человеку необходимо владеть тремя иностранными языками: английским, французским и немецким, поскольку все стоящее внимания в мире или написано на этих языках, или переведено на них.

Так я попал в совершенно иную языковую и психологическую среду. Сам внешний вид эколь Рем*и* отличался от школы Жанны д'Арк. Ландшафтной доминантой колледжа было обширное, неправильной овальной формы, зеленеющее травяным покровом игровое поле ("playground"); учебное и административное здания были скрыты из вида высокими деревьями. По контрасту первое что бросалось в глаза при входе на территорию эколь Реми был прямоугольный четырехэтажный фасад школьного здания, расположенный вдоль всей длины столь же прямоугольного, совершенно плоского участка, покрытого гравием (без единой травинки), более похожего на армейский плац для военных занятий, чем на школьную игровую площадку.

В классе 6а, куда я был зачислен, было около тридцати учеников обоих полов. Б*о*льшая часть мужского состава класса была старше меня по возрасту. Первое, что привлекло мое внимание, было большое количество имен, известных мне, даже при моем скудном знании истории, из прошлого России: Шереметьев, Врубель, Варламов, Паскевич, Лазарев. Не знаю, были ли они связаны какими-то родственными узами с этими знаменитыми фамилиями или просто случайными однофамильцами.

Фамилия одного из одноклассников была знакома мне по ее частому упоминанию среди наших семейных знакомых – Семенюк. Это была

известная в щанхайском эмигрантском мире женщина, входившая в ближайшее окружение епископа Иоанна, почитаемого в эмигрантских кругах в качестве святого. Мой одноклассник – Боря – оказался ее сыном. Я инстинктивно потянулся к нему, и он охотно взял меня под свое покровительство, знакомя с людьми и правилами игры в этом новом и незнакомом для меня мире. Первым делом, он свел меня с двумя своими друзьями – Юрой Игнатьевым, сразу назвав его кличку «Ягненок», и Юрой Зайцевым («Зайкой»), представив их как лучших рисовальщиков в классе и едва ли не во всей школе. Игнатьев сразу обратил на себя внимание плохо укладывающейся на голове, непокорной прядью волос.

Директором школы был месье Николэ – высокий подтянутый француз с военной выправкой, строго следивший за дисциплиной и внушавший почтительный трепет учащимся. Вскоре после моего поступления случилось торжественно обставленное исключение из школы чем-то провинившегося ученика. Все учащиеся были выстроены в каре; на середину вышел директор, вызвал провинившегося, произнес что-то угрожающе звучавшее (хотя и непонятое мне из-за плохого знания французского языка) и сорвал с фуражки осужденного на изгнание значок школы. Во время этой сцены мне пришло в голову, что за все восемь лет учебы в колледже я ни разу не видел его директора и даже не догадывался о его существовании. Когда все стали расходиться, послышались удивившие меня реплики, осуждавшие исключенного не за его проступок, а за то, что он дал себя унизить перед всеми, вместо того чтобы просто не явиться на позорящую его церемонию. В колледже подобные бунтарские настроения были немыслимы.

Невладение официальным школьным языком, особенно в его устной форме, существенно затрудняло мою адаптацию к непривычной для меня обстановке (в колледже два учебных часа в неделю, выделяемые французскому языку в качестве «иностранного», давали лишь самые поверхностные знания). На уроках в новой школе я понимал лишь малую часть того, о чем говорил учитель. Мои затруднения усугублялись тем, что, в отличие от колледжа, где в каждом классе в течение всего года занятия велись одним и тем же учителем, здесь каждый предмет имел своего преподавателя, так что мне приходилось приспосабливаться к индивидуальным речевым особенностям каждого из них. Учителя, по-видимому, понимали мои трудности и первые два месяца не спрашивали меня на занятиях. Но в конце семестра надо было выставлять мне, как и другим ученикам, оценки по всем предметам учебного плана.

Система оценок в эколь отличалась от той, что была в колледже. Там в конце каждого семестра проводилась письменная контрольная работа, содержавшая около полутора десятка вопросов. Из них учащийся мог выбрать по своему усмотрению десять, ответ по каждому из них оценивался по 10-балльной шкале. Максимально возможная итоговая оценка в 100 баллов была весьма удобной для определения в процентных числах степень успеваемости каждого ученика сравнительно с другими и его места в иерархической системе класса, чему уделялось значительное внимание с

целью поощрения соревнования между школьниками. Кроме того в конце каждой недели ученику выдавался «рапорт», где отмечалась его текущая успеваемость и дисциплина, который он должен был в понедельник возвращать учителю с родительской подписью.

Система проверки знаний учащихся, принятая в эколь Реми, была, как мне казалось, менее рациональной. По каждому предмету соответствующий преподаватель выносил оценки на текущих занятиях по двадцатибалльной шкале. В конце каждой четверти учебного года административный отдел школы высчитывал попредметный средний балл каждого ученика. Помимо своей чрезмерной громоздкости данный метод страдал тем, что не брал в расчет количество ответов учащегося: один и тот же средний балл служил оценкой одного-единственного и десятка с лишним ответов по предмету. На первых порах мой средний балл по всем предметам, кроме английского языка и математики, был самым низким в классе.

Учительница французского языка – Шутова – была самой ярко-запоминающейся фигурой из преподавательского состава школы. Это была худощавая, темпераментная, словоохотливая женщина средних лет, свободно владевшая французским языком и единственная из учителей, принципиально не пользовавшаяся русским языком не только на уроках, но и на перерывах между занятиями, прибегая к весьма экспрессивной русской речи лишь в минуты раздражения от поведения или слабых знаний того или иного ученика. Она часто оживленно обсуждала в классе бытовые подробности своей жизни, например, как ей повезло найти молочницу, снабжавшую ее необыкновенно жирным молоком, оставлявшим в банке вот такой (она показывала разведенными большим и указательным пальцами) слой сливок, или как она эффективно научилась, ложась ночью спать, предварительно прогревать постель нагретым в печке кирпичом, борясь таким образом с промозглым холодом шанхайской зимы. При этом всегда сохранялась определенная дистанция между ней и классом, и никому из учеников не приходило в голову перейти на сколько-нибудь запанибратский тон с ней.

Моя языковая недостаточность иногда приводила к курьезным случаям, приводившим меня в смущение. Однажды Шутова попросила класс дать определение французского слова «hotel» («отель, гостиница»). Я, недолго думая, выпалил: «une maison publique» («публичный дом»), вызвав заметное оживление в классе и несколько оторопевшую реакцию преподавательницы, не сумевшей сдержать смущенную улыбку. Сработала ассоциация с английским “a public house”, имеющим в отличие от других европейских языков вполне пристойное значение не «борделя», а «таверны, питейного заведения» (“pub”).

По-видимому по настоянию японских оккупационных властей одно занятие было посвящено пересказу японской художественной новеллы о событиях русско-японской войны 1904-1905 гг. в антирусском освещении с предполагаемой целью зондирования настроений нашего эмигрантского общества. Занятие прошло в наряженной атмосфере, без обычного живого обсуждения. Класс, как и сама Шутова, были явно подавлены

неблагоприятной для русского национального самолюбия темой. Не знал я тогда, какую роль сыграл мой близкий предок в предотвращении того, чтобы Камчатка, как и половина Сахалина, не отошла по Портсмутскому миру к Японии и осталась в пределах России (Приложение 4).

Однажды «язык мой – враг мой» едва не привел к весьма печальным для меня последствиям. Одним из самых непопулярных в школе преподавателей была некто Синявская (проживавшая, кстати сказать, на той же рут де Груши). Войдя в тот день в класс, она села за стол, но тут же как ошпаренная вскочила и стала шарить рукой по сидению стула. Затем стремительно вышла из комнаты, бормоча «Безобразие!». Минут через пятнадцать она вернулась в сопровождении месье Николэ и стала быстро и возбужденно говорить ему что-то, указывая на стул. Не дослушав ее, директор школы строго обратился к классу. Я уловил лишь фразу: “Qui a fait cela?” («Кто это сделал?»). Класс молчал.

Тогда он начал допрашивать по очереди каждого ученика. Когда очередь дошла до меня, я смущенно молчал, не зная, что сказать. Синявская нетерпеливо вмешалась. Когда она поняла, что я плохо понимаю по-французски, она обратилась ко мне по-русски: «Это ты измазал мне стул чем-то липким?» Тут только я понял до конца, о чем идет речь. Не дожидаясь моего ответа, Синявская быстрым движением открыла мою парту и выхватила из нее склянку с клеем, которую я, как на зло, за два дня до этого принес из нашей типографии, чтобы приклеить к учебнику оторвавшуюся страницу, и торжествующе протянула ее Николэ. Я попытался сбивчиво, путаясь от волнения в словах, объяснить подлинные обстоятельства дела. При виде помрачневшего лица директора, в моей памяти замелькала недавняя сцена исключения ученика из школы.

Тут произошло нечто неожиданное: мои одноклассники стали один за другим заступаться за меня. Надо сказать, что до этого они мало обращали на меня внимания: я был для них пришельцем из чужой школы и чужого мира. Насколько я мог понять их почтительно (все-таки сам Николэ!), но убежденно приводимые доводы, они ставили на вид мое недавнее появление в школе, плохое знание языка («он даже долго не мог взять в толк, о чем идет речь») и доказывали, что у меня не было ни малейшего повода к столь серьезному нарушению школьной дисциплины.

Этот эпизод каким-то образом разрядил обстановку, и даже сама Синявская заметно успокоилась и вдруг попросила Николэ не продолжать расследования, говоря, что сама разберется. Я заметил впоследствии, что ее реакция была положительно оценена классом; во всяком случае, после этого происшествия отношение учеников к Синявской изменилось к лучшему. Так и осталось невыясненным, кто же совершил этот поступок. И хотя подобные столкновения со школьной администрацией обычно подробно обсуждались в ученической среде, никто не возвращался к случившемуся. Это был первый в моей жизни опыт «стихийного», как бы самим собой осуществившегося разрешения конфликтной ситуации.

Размышляя о происшедшем, я невольно сравнил его с аналогичным случаем из ставшей вдруг невыразимо далекой и чуждой для меня эпохи Жанны д'Арк. В период моей слабой успеваемости там я однажды не показал мой недельный рапорт родителям, сказав учителю, что я потерял его. Через несколько дней на очередном уроке, когда я открыл парту, чтобы достать нужный учебник, сидевший рядом ученик каким-то образом узрел заявленный потерянным рапорт среди моих бумаг, с быстротой молнии выхватил его и торжествующе поднял над головой, обличив меня в обмане. Я понес причитающееся за особо тяжкие провинности наказание: четыре удара тростью по развернутой ладони. Тогда ни я, ни мои одноклассники не нашли в поступке предавшего меня ученика ничего предосудительного, противоречащего установившимся в школе моральным правилам поведения. Теперь же я в полной мере осознал несовместимость подобного доносительства с неписаным моральным кодексом моей нынешней ученической среды, определяемым новым для меня чувством товарищества, своей причастности к некоему духовно родственному социальному целому, и задним числом ощутил запоздалое чувство обиды и негодования по поводу поступка моего тогдашнего одноклассника. Это воспоминание отчетливо высветило в моем представлении коренное различие двух ценностных ориентиров – индивидуалистического и коллективистского – моей прежней, англосаксонской, и новой, русскоязычной, ментальной среды обитания.

Нынешний мой микромир характеризовался четким противостоянием двух относительно самодостаточных уровней – преподавательского и ученического. Невозможно было представить себе кого-либо из нынешних учителей участником спортивного состязания или игрового мероприятия совместно с учениками или вступающим с ними в сколько-нибудь фамильярные отношения. Помимо самого Николэ, особым статусом среди школьной администрации в ученическом общественном мнении пользовался его заместитель, Корнилов. Ходили слухи, что во время гражданской войны он служил в контрразведке белой армии; отсюда, по-видимому, среди учеников бытовало убеждение, что ему присуща способность безошибочно отличать ложь от истины, и поэтому бесполезно пытаться ввести его в заблуждение относительно незаконных пропусков занятий и других нарушений дисциплины.

С другой стороны, два низших административных чина, в чьи функции входило следить за дисциплиной на игровом плацу во время перемен между занятиями, то есть повседневно непосредственно связанных с ученической средой и наделенных ею кличками «Крокодил» и «Старик», не были защищены иммунитетом административной отчужденности и неприкосновенности и были подвержены весьма вольному отношению к ним игрового плаца. Это проявлялось в том, что время от времени плац оглашался дружным скандированием: «Кро-ко-дил!, Кро-ко-дил!» или «Ста-рик! Ста-рик!», причем казалось, что никто не открывал рта для произнесения этих слов. Нельзя сказать при этом, что учащиеся относились к этим служакам, добросовестно исполнявшим свой долг, с неприязнью; это

просто было проявление какого-то особого чувства солидарности и коллективного самоутверждения, немыслимого в условиях колледжа Жанны д'Арк.

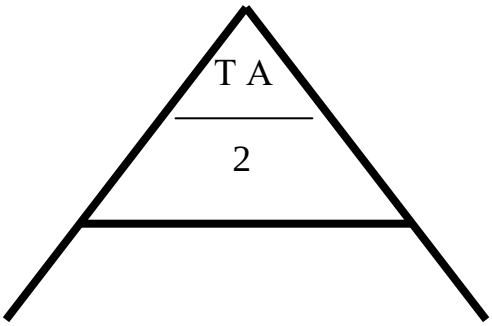
В отличие от колледжа в эколь Реми значительное внимание уделялось художественному воспитанию учащихся. Уроки пения составляли один из обязательных предметов учебного плана. Несколько раз в году проводились школьные концерты с музыкальными и танцевальными номерами; последние, исполнявшиеся преимущественно женскими участницами в соответствующих балетных одеяниях пользовались особой популярностью и живо комментировались мужской частью зрителей.

Казалось, что под наплывом новых впечатлений все, что было связано с прежним миром колледжа, безвозвратно утратило какую-либо значимость для меня, как вдруг прошлое прорвалось сильной волной в мой внутренний мир. На одном из уроков биологии преподаватель, рассуждая о становлении нового биологического вида млекопитающих в процессе эволюции, употребил термин «внутренняя среда». По его словам, теплокровность служила внутренней защитной оболочкой, ограждающей животное от переменчивых температурных перепадов внешней среды, которую оно несло в самом себе и которая оставалась константной при любых изменениях климатических условий его существования. Иными словами, в биологическом плане понятие внутренней среды определяется для организма той же формулой *omnea mea mecum porto*, которая произвела столь радикальный переворот в моем душевном строе в недавнем и одновременно столь психологически удалившемся прошлом. Я невольно вспомнил излюбленную мысль отца о параллелизме физических и духовных законов мира.

До сих пор помню, как я ощутил физический жар от нахлынувшего на меня потока мыслей, развязанного этим сравнением. Я всем своим существом ощутил, что в новой жизненной среде эколь Реми я пребываю с тем же *omnea mea*, что в колледже Жанны д'Арк, и что эта внутренняя духовная среда останется при мне в качестве основания моего бытия до конца моей жизни, каких бы изменений в своей судьбе мне ни предстояло еще пережить.

К началу второго семестра я в достаточной мере освоил основы устной французской речи, чтобы в целом следить за изложением преподавателя и более или менее вразумительно отвечать на его вопросы. Однако я продолжал ощущать слегка покровительственное отношение к себе большинства одноклассников как к не вполне полноценному члену нашего ученического товарищества.

Изменение этого отношения я почувствовал после следующего случая. Однажды кто-то принес в класс анаграмматический ребус, представляющий зашифрованное название какого-то города:



Разгорелась оживленная дискуссия с многочисленными попытками расшифровки данной головоломки. Я тоже стал набрасывать на бумаге различные пространственные варианты решения типа «та-над-два-в-А», «два-под-та-в-А» и т.д. Внезапно меня осенило: «“пол-та”-в-А», и я вскрикнул так пронзительно, что все смолкли и оглянулись на меня: «**Полтава!**» Один из одноклассников подсел за мою парту, внимательно рассмотрел мои записи и произнес: «я думал, он байбак-байбаком, а оказывается – “*мозгач*!”». Не закрепившееся за мной в виде постоянной клички, это слово – «мозгач» – стало изредка применяться не в прямых обращениях ко мне, а в качестве шутливой добродушной характеристики с оттенком слегка насмешливого дружеского шаржа. После этого я окончательно почувствовал себя «своим».

Тем временем мои отношения с Борей Семенюком приняли несколько неожиданный для меня оборот. Помня о близости его матери с епископом Иоанном и узнав от семейных знакомых о том, что ее сын Борис прислуживал в православном соборе на праздничных богослужениях (хотя сам Боря об этом никогда не упоминал), я как-то употребил в разговоре с ним отдельные неоднократно слышанные словообороты с негативной оценкой революции в России, обычные в эмигрантской среде, ожидая найти сочувственный отклик. Ответом было длительное изложение как по заранее заученному тексту аргументов, утверждающих историческую необходимость русской революции и в конечном счете ее благотворность для нашей страны. В частности, Семенюк особо подчеркивал, что опыт неудачной для России Первой мировой войны показывает, что царская армия не смогла бы выдержать удар самой мощной за всю человеческую историю военной машины немецкого вермахта. Многое из того, что говорил Семенюк, казалось мне сомнительным, но этот последний аргумент отвечал тому чувству гордости за нашу страну, ранее подвергавшейся лишь порицанию в эмигрантском мире, которое в последние месяцы я ощущал в себе и наблюдал в своих родителях и многих наших знакомых. Позже из разговоров с Игнатьевым и Зайцевым я узнал, что Семенюк слово в слово повторил доводы, которые слышал от них в их недавних горячих спорах, где он отстаивал прямо противоположные взгляды. Так я остался в неведении относительно подлинных убеждений Бори Семенюка, но стал с б*о*льшим пониманием отмечать некоторую холодность в отношении к нему со стороны нашей маленькой группы.

Что же касается двух других ее членов, Игнатьева и Зайцева, то здесь была полная ясность: они открыто стояли на просоветских позициях. Свой

общепризнанный в школе талант к рисованию они применили для умелого подражания карикатурам известного советского художника Бориса Ефимова из сатирического журнала «Крокодил», регулярно выставлявшегося, наряду с другими советскими изданиями, в книжном магазине Флита.

При всем сходстве общественных взглядов и живописных увлечений Зайцева и Игнатьева, более близкое знакомство с ними выявило существенное различие в их жизненных установках. Для Зайцева решающую роль играло мнение о нем окружающих. Он охотно выслушивал похвалы в свой адрес и сам готов был во всех подробностях обсуждать свои рисунки. Плохо переносил малейшие проявления невнимания и, особенно, неприязненного отношения к своей личности, что зачастую побуждало его «сочкаться» (т.е. вызывать на драку в пустыре за школьным забором своих, чаще мнимых, обидчиков). Не избежали этого искуса ни Семенюк, ни Ягненок, ни я. Иным был характер Юры Игнатьева. Он был крайне сдержан в самооценке и в разговорах о себе, давал взвешенные, объективные оценки и постоянно ратовал не столько за свои личные, но за общие интересы. В конечном счете именно с ним у нас сложились наиболее прочные и близкие дружеские отношения,

По мере развития успешных военных действий Красной Армии на фронте антисоветские настроения в эмигрантской среде заметно сменялись чувством удовлетворения по поводу своей причастности к стране, героически противоборствующей страшному врагу, перед которым спасовали столь многие европейские державы, ранее кичившиеся своим превосходством над Россией. Широко и одобрительно комментировалось высказывание Черчиля в английском парламенте: «Советская Армия выпустила кишки из германской военной машины» (“The Soviet Army ripped the guts out of the German war machine”).

Многим русским в Шанхае советским консульством были выданы советские паспорта особого формата. В городе был открыт советский клуб, проводивший интенсивную культурно-просветительную работу. Был построен на скорую руку кинозал с бамбуковыми опорами и циновочным покрытием, пропускавшим во время проливных шанхайских ливней в нескольких местах потоки воды сверху, что не мешало собирать полные залы на просмотры фактически всех лучших советских фильмов. Думаю, что «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Небесный тихоход», «Александр Невский», «Иван Грозный» и актеры Любовь Орлова, Николай Крючков, Николай Черкасов пользовались в шанхайской эмиграции не меньшей известностью и популярностью, чем в самом Советском Союзе. В субботние вечера все слушали по местному радио «Программу по заявкам слушателей», где исполнялись военные и народные русские песни, которые потом постоянно звучали на улицах и различных застольях. Отец утверждал, что жанр «Песни советских композиторов» представляет новое слово в музыкальном искусстве, продолжающее традицию русского романса и играющее не менее значимую роль в духовной консолидации нашего народа в годину испытаний, чем публицистические статьи Ильи Эренбурга или

стихи Константина Симонова. Он часто противопоставлял художественную глубину и задушевность особенно любимой им песни «Темная ночь» с пустым американским военным шлягером «Нашел я чудный кабачок, Вино там стоит пятачок», говоря, что ни англосаксонская военная песня, ни, тем более, немецкая, не создали ничего подобного русскому песенному творчеству военных лет, составляющему самостоятельную главу мировой музыкальной культуры, ждущую своего исследователя. Он считал, что композитор Дунаевский внес такой же решающий вклад в нашу победу, как маршал Жуков.

Большой популярностью пользовалось советское документальное кино. В документальном фильме «Сталинград» особенно сильное впечатление на всех шанхайских зрителей произвел кадр, где для предотвращения снабжения уже окруженной немецкой армии с воздуха был использован следующий своеобразный способ ведения зенитного огня. Обширный участок земли на решающем направлении был заставлен до самого горизонта зенитными орудиями, которые одновременно посылали в небо единый сплошной огненный вал, через который из целой флотилии могли пробиться лишь отдельные вражеские самолеты. Поражал воображение масштаб хорошо организованной обороны.

Один из документальных фильмов был посвящен подбору концертных номеров, показывающих, что нормальная культурная жизнь страны продолжалась, несмотря на военные невзгоды. В заключении программы был показан длительный отрывок из Седьмой, «Ленинградской» симфонии Шостаковича в исполнении Ленинградского оркестра под управлением Евгения Мравинского. Многих поразил нестандартный стиль дирижирования Мравинского, который как бы выхватывал из общего звукового контекста отдельные элементы гармонии, концентрируя внимание слушателей на полифонической многослойности знаменитого музыкального произведения. Отец с жаром доказывал, что механически отбивать музыкальный ритм способен любой человек с мало-мальски развитым слухом; Мравинский же как выдающийся дирижер ставил перед собой более сложную задачу: вскрыть глубинную гармоничную структуру исполняемой симфонии.

Эти рассуждения были слишком сложными для моего восприятия. Но я вспомнил прочитанные незадолго до того воспоминания одного из немецких солдат, слушавших в теплых блиндажах по радио и по специально расставленным с советской стороны фронтовой линии громкоговорителям концерт из осажденного, скованного холодом и голодом Ленинграда. В какой-то момент неким глубинным внутренним чувством он понял, что Германия проиграла развязанную ею войну против России.

День капитуляции нацистской Германии был встречен в шанхайской эмиграции почти как престольный праздник. Знакомые и незнакомые друг другу русские люди христосовались на улице. Даже носители самых непреклонно антисоветских взглядов не нарушали всеобщего ликования.

Стиль жизни и внешний вид Шанхая изменился. Толпы американских матросов с пришвартовавшихся к причалам реки Вампу военных кораблей

запрудили город, в мгновение ока покрывшийся несметным количеством новоиспеченных баров и закусочных-бистро. Улицы осветились яркими огнями, броскими, красочными витринами магазинов, рекламными вывесками открывающихся как грибы иностранных фирм, к обслуживанию которых и новой концессионной администрации ринулось местное население. В языке замелькали неологизмы: «фап*и*» и «голды» (единицы китайской и американской валюты), «аффидейвиты» (нотариально оформленные документы), «джипы» и т.п. Отец весьма настороженно относился к этому наплыву американской потребительской цивилизации.

Наше повзрослевшее молодое поколение, напротив, живо откликнулось на эти новшества. В частности, среди моих уличных друзей началось повальное увлечение голливудским кино, заполонившим все городские кинозалы, в том числе соседний с нашей улицей кинотеатр «Думер», в котором шли вторым экраном по сниженной цене за билеты преимущественно американские фильмы. На первых порах самыми популярными в нашей детской среде были актеры Эрол Флин и Джеймс Кагни, снимавшиеся в приключенческих фильмах в роли положительных героев. У первого был свой стандартный «антигерой-злодей» – Базил Ратбоун, у второго – Хэмфри Богарт. Изредка показываемые французские картины с Жаном Габеном не привлекали особого внимания ни у нас, ни у взрослых. Позднее на первое место вышел Кларк Гейбл в более сложных романтических ролях, с «ницшеанским» (как я определил для себя впоследствии) оттенком «сильного человека». Весьма неожиданным для меня было прочесть в специальном киножурнале о его позднейшей конкуренции за симпатии американской зрительской аудитории с Богартом и постепенной утрате прежнего ореола эталонного «сильного мужчины». По моим соображениям, переломным моментом явился фильм «Унесенное ветром», где он сыграл одну из своих наиболее известных ролей Ретта Батлера в своем обычном стиле, за исключением того, что ведущий образ был здесь сыгран женской актрисой Вивиен Ли, переигравшей Гейбла в его собственном амплуа «сильного человека», подчиняющего себе внешние обстоятельства и окружающих людей, не взирая ни на какие препятствия. Не случайно, казалось мне, Гейбл долго отказывался от этой столь престижной в карьерном отношении, но противоречащей его внутренней самооценке роли и согласился на нее только по настоятельному требованию режиссера. Весьма симптоматична последняя в жизни Кларка Гейбла роль в паре с Мэрилин Монро, где оба знаменитых киноактера воплощают в несвойственном их прежнему стилю образы подчеркнуто «обычных», не претендующих на какую-либо особую исключительность людей. Отголосок прежнего Гейбла представлен в фильме в его заключительной сцене укрощения дикого коня, подробно заснятой в режиме “*live*”, в живом исполнении самого актера без какого-либо дубляжа. Эта сцена, по-видимому, стоила Гейблу такого напряжения физических сил, что он в скором времени скончался.

С другой стороны, Хэмфри Богарт столь же постепенно сменил свое амплуа «злодея» на роль положительного героя, сохранив при этом многие черты прежнего образа человека безжалостного, «себе на уме», не дающего себя обмануть сентиментальными побуждениями, четко сознающего свои личные интересы и выражающего их с лаконичной откровенностью, лишенной каких-либо словоизлияний в романтическом духе («Мальтийский сокол»). В результате в послевоенную эпоху Богарт создал симптоматический для американского массового менталитета образ самодостаточного человека в духе Хемингуэя («Иметь и не иметь», «Касабланка»), рассчитывающего в основном на собственные силы в достижении конкретных целей, адекватных его земной, чуждой всякой идеализации природе. Эта оценочная метаморфоза казалась мне необоснованной и недостаточно убедительной, и прежний облик Богарта-«злодея» продолжал довлеть над восприятием его новых образов. Так, другой прописной негативный персонаж Голливуда – Базил Ратбоун, противопоставленный в предвоенные годы положительному герою Эролу Флину, позднее заснялся в целой серии фильмов в образе Шерлока Холмса. Аналогичную, хотя и несколько менее отчетливо выраженную эволюцию, претерпел актер Клод Рейнс.

Как я осознал позднее, перекодирование отрицательных образов в положительном плане, показательное для голливудского кино, служило симптомом начавшегося после второй мировой войны коренного переосмысления традиционных критериев добра и зла в американском и западноевропейском менталитете, что составляет одну из характерных особенностей современного постмодернизма. Таким образом, в первые послевоенные годы я начал, пока еще смутно, осознавать, что англосаксонская модель мира, как ее называл отец, в контексте которой до сих пор в основном происходило формирование моей личности, является в своем американизированном варианте внутренне противоречивой, содержит в самой себе принципы своего самоотрицания и все более явственно не согласуется с тем *omnea mea*, которое, как я чувствовал, произрастало во мне.

Это ощущение усилилось под воздействием другого, помимо «акшн»-фильмов, жанра голливудского кино. Значительное влияние на становление моего психологического строя оказали музыкальные драмы с актерами-певцами Джанет Макдоналд и Нэлсоном Эдди, обладавшими прекрасными голосами и высоким профессиональным мастерством. Это были единственные исконно американские (не приглашенные из Европы) певцы, способные вести в фильме длительные недублированные оперные партии. Так, в фильме «Майское время» (“Maytime”), поставленном по мотивам из русской дореволюционной жизни, они исполнили переложенную на человеческие голоса вторую часть Пятой симфонии Чайковского. Особым почитанием у меня пользовался низкий баритон Нэлсона Эдди с мощным бархатисто-металлическим, колоколообразным звучанием. К моему удивлению, в специальных киножурналах эти замечательные певцы фактически не упоминались, тогда как Бингу Кросби и Франку Синатре, с их

приятными, но казавшимися мне заурядными речитативными «полуголосами» в стиле «крунинг» (“crooning”), посвящались целые страницы восторженных отзывов. Но по крайней мере эти эстрадные исполнители не оскорбляли моего эстетического чувства, в отличие от все более размножавшихся певцов и танцоров, добывающих себе сомнительную известность и славу различного рода эксцентризмом на сцене. Как раз в это время мне купили пианино, и я увлеченно, по нескольку часов в день, занимался музыкой, разучивая технически несложные произведения популярного классического репертуара типа «Вечерней серенады» Шуберта. Это давало мне определенный критерий для сравнения, и я стал четко противопоставлять «подлинное» искусство различным подделкам под него, к которым весьма безапелляционно относил значительную часть потребительской культуры того времени.

Постепенно, незаметно для меня, через ряд промежуточных ассоциаций и под влиянием отцовских бесед это противопоставление «подлинного» и «искусственного» слилось в моем представлении с противоборством исконно-русского и англосаксонского духовных начал. Иными словами, я стал воспринимать русское искусство как сохранение и развитие тех самых эстетических принципов, которые все в большей степени отрицались на Западе.

Укрепление русского начала получило весомую материальную поддержку организацией по соборной инициативе русской общественности «Советского спортивного клуба» («ССК»). Видную руководящую функцию в его создании сыграл Олег Лундстрем, известный музыкант, незадолго до этого приехавший в Шанхай из Харбина. Активное участие во всех подготовительных работах принял, в соответствии со своим ярко выраженным общественным темпераментом, Юра Игнатьев. Через него в скором времени я стал постоянным членом ССК. Основным видом спорта, культивируемым в нем, был не футбол, а волейбол. Именно здесь я увлекся этой спортивной игрой, верность которой сохранил на протяжении всей последующей жизни. Виртуозом волейбола и ведущим спортсменом ССК, всеобщим любимцем был Жора Зверев. Однажды в спортивном зале YMCA (“Young Men’s Christian Association” – «Христианская Ассоциация Молодых Людей») были устроены многодневные волейбольные соревнования с участием местной команды и трех команд ССК. Событие вызвало живой интерес спортивной общественности и закончилось триумфом русских команд, оставивших далеко позади иностранную. Мне довелось случайно услышать ремарку одного из зрителей: «Можешь ли ты представить этих парней объединенными?» (“Can you imagine these guys united?”). Впоследствии я часто вспоминал эти слова при своих размышлениях о русской истории.

В ответ на эту спортивную встречу было устроено соревнование легкоатлетических сборных YMCA и ССК на нашей территории. Соревнование проходило в доброжелательной атмосфере с переменным успехом то одной, то другой команды. На основной номер программы –

спринт на стометровую дистанцию – ССК выставил одного спортсмена – Жору Зверева, против трех бегунов YMCA. Когда раздался стартовый выстрел, Зверев рванулся вперед. Спортсмены YMCA (по-видимому, заранее уведомленные о неоспоримом преимуществе Зверева) демонстративно медленным шагом двинулись вперед, показывая свое безразличие к исходу поединка. Стадион разразился бурей свиста. Зверев в недоумении обернулся и, в свою очередь, тоже шагом пришел первым к финишу. Спортивных встреч двух команд больше не было.

Вскоре после окончания войны нашу семью постигло большое испытание: тяжело заболел отец. Выжил он благодаря героическим усилиям матери, которой удалось с большим трудом раздобыть только что вошедшее в употребление «чудо-лекарство» – пенициллин.

В начале 1946 г. наша американская тетя Леля начала хлопотать о переезде бабушки и тети Тани с мужем в Сан-Франциско. Через несколько месяцев документы были оформлены, и они благополучно уехали. Дядя Дима поступил на работу маляром, и они начали понемногу обустраиваться. Встал вопрос и о переезде нашей семьи в Америку. Началась длительная процедура оформления соответствующих документов. Я уже представлял себя студентом санфранцискского университета.

В это время отец принял одно из характерных для него «крутых» решений. В связи с открывшейся перспективой нашего переезда в Америку, он счел целесообразным, чтобы я получил какой-либо авторитетный англоязычный диплом. Сочтя, что я в достаточной мере соприкоснулся с французским языком и культурой в эколь Реми, он предложил мне попытаться поступить в только что открывшуюся «Шанхайскую Британскую Школу» (“Shanghai British School”) для английских детей, недавно освободившихся вместе со своими родителями из японского концентрационного лагеря в Путунге. Отца особенно привлекала приписка “Junior Cambridge”, говорившая о связи школы со знаменитым английским университетом. Я выдержал вступительные экзамены и был зачислен сразу в шестой, выпускной класс школы, приступив к занятиям 1-го февраля 1946 года.

4. Shanghai British School. Я был подготовлен к этой новой, третьей смене своей ученической среды интенсивным чтением в последние два года английской литературы по мотивам школьной жизни. По страницам популярного школьного журнала “*Magnet”* я был заочно знаком со всеми особенностями английских “*public schools”*, не всегда совпадавшими с моим нынешним школьным опытом. Так, из своего чтения я усвоил ряд характерных выражений типа “Hear! Hear!” (“Слушайте! Слушайте!”) в значении всеобщего одобрения слов говорящего. Однако когда я попробовал употребить данный оборот речи в соответствующей ситуации, то встретил недоуменное непонимание. Оказалась незнакомой моим нынешним собеседникам и поговорка “Enough is as good as a feast” («Достаточное – не хуже целого пиршества»).

В отличие от классических *public schools* моя новая школа, как и эколь Реми, была смешанной, с учениками обоих полов. Наряду с англичанами в ней обучались дети различных национальностей, в их числе несколько китайцев, двое русских (вторым, кроме меня, был Голубцов, по прозвищу «Гуги»), грек Спиро Карас, сочинитель сатирических стихов и устроитель различных сценических представлений, ирландец Патрик Суини, пользующийся известностью во всей школе благодаря своей незаурядной физической силе. Среди своих новых одноклассников я встретил и вскоре близко сошелся со знакомым мне еще по первому классу Жанны д'Арк Вильямом Спенсером, страдавшим хромотой юношей с открытым приветливым характером.

Другое отличие нашей школы от стандартных *public schools* состояло в отсутствии статуса *headboy*, официально признанного «главным учеником» школы по своим успехам в учебе и на спортивном поприще, пользовавшегося особым уважением преподавателей и учащихся и служившего своего рода посредником между школьной администрацией и ученическим сообществом. Впрочем, в неофициальном плане весьма близко соответствовал этой роли невысокого роста, худощавый Алан Мадар, весьма смышленый, скромный, выдержанный юноша, лучший футболист, которого мне довелось встречать в мои молодые годы среди своих сверстников. У меня сложились ровные, дружеские отношения с одноклассниками, несколько осложнявшиеся неспособностью некоторых их них правильно выговорить мою фамилию, произносимую ими с очевидными артикуляционными усилиями как нечто вроде «Старвински»; в результате они предпочитали просто называть меня «Джордж».

Из учительского состава наибольшим влиянием в классе пользовался преподаватель английского языка мистер Руд, типичный (в моем представлении) англичанин, слегка ироничный, с безупречно правильной, размеренной речью, всегда находящий нужное слово для выражения своей мысли, владеющий неослабевающим вниманием класса на всем протяжении урока. Однажды он попросил меня дать определение слова «трагедия». Я ответил: «драма». Он на мгновение задумался, затем удовлетворенно кивнул головой. Значительно позже, работая над темой «греческая трагедия», я осознал недостаточность данного мною определения.

Когда в школе, наряду с футболом, стал культивироваться волейбол, мне сослужил хорошую службу опыт, приобретенный в ССК, благодаря которому я стал одним из лучших игроков школы в этом новом здесь виде спорта.

Непосредственное близкое знакомство с английским восприятием современного мира выявило несколько удивившую меня противопоставленность британской и американской составляющих казавшегося ранее единым англосаксонского менталитета. Не скрывавшееся мистером Рудом ироническое отношение к американскому образу жизни находило проявление преимущественно в языковом плане. Услышав однажды в ответе ученика американизированное произношение "*yeah*" вместо "*yes*", он спросил со свойственной ему саркастической интонацией:

«Вы не катались в последнее время в джипе, Томас?». Один из учащихся, Джордж Гудйир, часто рассказывал о своем пребывании в японским концлагере для военнопленных, противопоставляя друг другу поведение пленных англичан и американцев. Англичане, по его словам, устраивали в лагере различные обструкции охранникам, совершали побеги, за что постоянно подвергались наказаниям, вплоть до расстрелов. «Но все-таки что-то делали, хотя бы пытались бежать, – говорил он. – Американцы же сидели смирно, и ничего подобного не предпринимали». Подобные рассуждения свидетельствовали о наличии определенной трещины во внешне консолидированном англосаксонском блоке. Позднее я нашел подтверждение различия в британском и американском менталитетах в следующем факте, зафиксированном моим сверстником, шанхайцем Олегом Штифельманом, учившимся в школе недалеко от набереэной, в его воспоминаниях «Крошка из Шанхая»: «В предрассветный час 7 декабря нас разбудил страшный грохот и сполохи на небе. Это происходило в тот момент, когда японские самолеты совершали налет на американскую военно-морскую базу Пирл Харбор на Гаваях. Утром мы узнали, что японцы выкатили на набережную орудия и предложили сдаться английской и американской канонеркам, стоящим на рейде на реке Хуанпу. Начался бой. Английский корабль пошел ко дну с развивающимся британским флагом, а американцы сдались после короткой перестрелки».

В июне 1946 г. состоялись выпускные экзамены. Я закончил школу по высшему разряду “grade A” в числе шести учеников, включая русского Гуги. Аттестат об окончании Cambridge Junior я сохранил до настоящего времени. Чувство удовлетворения от успешного выполнения задачи, поставленной передо мной отцом, было омрачено лишь тем, что мой друг Вили Спенсер не выдержал выпускных экзаменов. Его дальнейшая судьба, как и остальных моих одноклассников, мне неизвестна.

Вскоре после моего окончания школы неожиданно для всех вышло постановление советского правительства о репатриации всех русских граждан, желающих вернуться на родину.

5. Америка или Россия? Перед нашей семьей встал вопрос: Советский Союз или Америка? На семейном совете родители заявили, что поскольку речь идет обо всем моем будущем, окончательное решение за мной. Я до сих пор с удивлением вспоминаю, насколько просто и естественно, как бы сам собой, ответ мгновенно сформировался в моем сознании. Если прежде несравненно менее существенные для меня возникающие проблемы зачастую порождали длительные гамлетовские размышления, сопряженные с сомнениями, взвешиванием потенциальных последствий альтернативных вариантов решения, в этот критический, переломный момент своей жизни я, не задумываясь, сказал: «Хочу в Россию». По-видимому, этот ответ соответствовал внутренней установке родителей, и на этом обсуждение вопроса, затрагивающего грядущие судьбы всей нашей семьи, завершилось. Решение было принято без лишних слов, единогласно и бесповоротно.

Это решение в корне изменило нашу жизнь в последующие полгода, поставив перед нами ряд конкретных задач практического порядка. Основная из них состояла в том, как нам распорядиться своей типографией. Весть о предстоящем переселении значительной части эмигрантского общества быстро распространилась по Шанхаю, вызвав значительный ажиотаж как в готовящейся к отъезду, так и в остальной части населения. Отъезжающие, владеющие имуществом, мало пригодным для транспортировки, бросились продавать его, чем вызвали резкое снижение цен в городе. Эта девальвация с особой силой сказалась на таком нестандартном товаре, как печатные машины и шрифты.

В этой ситуации отец принял в высшей степени характерное для него как русского интеллигента решение. К удивлению наших знакомых иностранцев, воспринявших его как непонятное «русское чудачество», он заявил, что вместо того, чтобы продавать по бросовой цене нашу нажитую многолетним трудом типографию, он предпочитает принести ее в дар своей стране и своему народу, чтобы вернуться на родину не с пустыми руками. Это решение поставило перед нашей семьей новую проблему, незнакомую другим отъезжающим. Помимо забот по обеспечению себя теплой одеждой и другими предметами первой бытовой необходимости, мы должны были взять на себя дополнительные расходы и усилия по упаковке типографского инвентаря, подготовке его к столь дальнему путешествию.

6. Прощание с Шанхаем. Для перевозки репатриантов из Шанхая в Советский Союз был выделен теплоход «Н.В.Гоголь». В эмигрантской среде получила распространение следующая шутка: «За кем приплыл пароход Гоголь? – За Мертвыми Душами». Наша семья попала в четвертую, предпоследнюю очередь репатриантов. Отплытие было назначено на 6 ноября. К счастью, с утра этого дня выдался недождливый, ясный день. Теплоход причалил к узкому отрезку набережной Вампу, заполнившемуся отъезжающими и провожающими. Меня пришел провожать один Юра Игнатьев.

Мы поднялись по трапу на борт и столпились на палубе, лицом к городу, к которому я вдруг почувствовал никогда не испытанную ранее острую ностальгию. Чтобы как-то отвлечься от нарастающего во мне тревожного ожидания, я стал всматриваться в лица изредка проходящих мимо матросов, впервые встречаемых в моей жизни «настоящих» советских людей, не находя в их чертах ничего особенного, отличающего их от привычного мне русского эмигрантского облика. Время от времени они перебрасывались вполне понятными мне короткими фразами на обычном русском языке. Это почему-то снизило мое внутреннее напряжение.

Внезапно я почувствовал дрожание палубы под ногами. Заработали двигатели теплохода. Я подумал, что это дрожание палубы будет сопровождать нас в течение всего переезда в новый, незнакомый мир. Наступал решающий момент отплытия. И тут щемящее ощущение непреклонно приближающегося расставания со знакомым мне с детских лет миром с новой силой охватило меня. Я живо ощутил эмоциональный

подтекст вспомнившихся стихов Байрона, заученных когда-то без особого проникновения в трагический смысл мотива «навсегда»:

Fare thee well, and if forever,
Then forever fare thee well.

Наплыв непроизвольных, отрывочных воспоминаний, как будто ждавших своего часа, с необычайной яркостью и наглядностью прорвался в моем сознании. Всплыла в памяти в новом осмыслении слышанная в детстве по местному радио, давно забытая песня:

Wish me luck as you wave me goodbye,
With a cheer, not a tear in your eye.

Внезапно работающие двигатели изменили тональность своего звучания, и узкая полоска воды между теплоходом и причалом стала постепенно расширяться. Наше путешествие в будущее стартовало. Я быстро нашел взглядом фигуру Юры Игнатьева, стоявшего у самой кромки воды и усиленно махавшего мне рукой. Таким образом, последним впечатлением, которое я вынес при расставании с медленно удаляющимся из поля зрения шанхайским прошлым, был Ягненок с его непокорным чубом, машущий мне рукой на прощание.

По мере удаления от Шанхая люди, стоявшие на причале, слились в единую массу, и я с трудом стал различать лишь общие контуры многометровой статуи ангела, воздвигнутой на набережной в память неисчислимым жертвам первой мировой войны (и второй, мысленно добавил я). Равномерное движение теплохода постепенно утихомирило мое нервное возбуждение, и я попытался спокойно подумать о предстоящем нашей семье будущем. По издавна установившейся привычке, я интуитивно стремился облечь свои размышления в литературные образы. Своеобразным эпиграфом к моим мыслям о стране, с которой отныне была бесповоротно связана судьба нашей семьи, в моем сознании звучали пушкинские строки, обозначающие пределы беспредельной России:

От Перми до Тавриды,
От финских хладных скал
До пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая…

Под влиянием всего перечувствованного в этот знаменательный день, последние две строки претерпели в моем представлении определенную перестановку, соответствующую переживаемому моменту:

«От стен недвижного Китая // До потрясенного Кремля».

Если бы я только мог хотя бы отдаленно предвидеть, какую значимость в моей дальнейшей жизни обретут почти все географические наименования, начиная с «Перми», упоминаемые Пушкиным!

К концу дня наш теплоход минул форт Ву Зунг, охранявший Шанхай со стороны моря, и приблизился к устью реки Вампу. Берега реки стали удаляться друг от друга и вскоре вовсе скрылись из вида. Теплоход вышел в открытое море. Ветер и качка заметно усилились. Вглядываясь в

открывшийся со всех сторон бескрайний колышущийся водный простор, я воочию убедился в шарообразности земли, почти на ощупь осязая изгиб земного шара по ту сторону горизонта, таящего за собой неопределенность открывающегося передо мной будущего.

Второй круг. ГОРОД НА КАМЕ

1. Порт «Находка» – причал к новой жизни. На пятый день плавания «Н.В.Гоголь» прибыл в порт «Находка», недалеко от Владивостока. Мы все с нетерпением ждали первой встречи с родной незнакомой землей и ее обитателями, рисовавшимися нам в нашем воображении людьми какой-то особой породы, живущими отличными от наших, возвышенными интересами, связанными с воспоминаниями о великой войне и о своем недавнем ратном подвиге. Поэтому выявившаяся вскоре всеобщая поглощенность населения Находки самыми повседневными житейскими заботами и их явная неготовность поддерживать в отвлеченно-приподнятых тонах разговоры об историческом значении победы над нацизмом, какие стремился завязать с ними отец, поначалу несколько озадачили его, но через определенное время способствовали тому, что мы почувствовали себя на равной ноге с местными жителями, как будто съели с ними не один пуд соли.

Удручающее впечатление на нас с мамой произвела встреча на улице с безногим инвалидом в каталке; мы молча остановились на месте, не зная, как должным образом реагировать на это трагическое напоминание о недавней войне. Мы долго не могли свыкнуться с видом изувеченных войной людьми, к которому местные обитатели относились как к чему-то прискорбному, но привычному.

Наше пребывание в Находке не было связано с какими-либо особо знаменательными событиями. Новые условия быта – коллективная жизнь в бараке, самообслуживание, коммунальная кухня, непривычная пища – отличались от шанхайских, но воспринимались как должное. Из запомнившихся впечатлений назову большое количество пленных японцев, выполнявших различные работы в городе и оказавшихся самыми обычными людьми (что резко контрастировало с недавним представлением о них как о грозных оккупантах, наделенных особыми «самурайскими» свойствами – еще один наглядный урок о бренности и переменчивости человеческих

судеб). Запомнилась также особая, невиданная мною нигде больше желто-оранжевая раскраска закатного неба.

В Находке мы пробыли около месяца, дождавшись за это время следующей, пятой (и, как выяснилось впоследствии, последней) очередью шанхайской эмиграции, которую встретили как старожилы.

За это время наша семья успела сблизиться с некоторыми шанхайцами, с которыми не была даже знакома прежде. Особо сдружились мы с Ксенией Прокофьевной и Юрием Михайловичем Усольцевыми. Юрий Михайлович рассказывал, что он во время революции служил офицером на «том самом» знаменитом крейсере Аврора.

Нам предложили для поселения ряд сибирских городов от Кемерово до Молотова (как тогда называлась Пермь). Я тотчас вспомнил пушкинское «от Перми до Тавриды» и поэтому охотно поддержал отца, когда он предложил выбрать этот город как наиболее западный в предложенном списке. Началась подготовка к отъезду. Тут выявилось одно затруднение, связанное с нашей типографией, составлявшей наиболее громоздкую, трудную для транспортировки часть нашего багажа. Грузить ее на поезд предстояло силами самих отъезжающих. Уже при погрузке на «Н.В.Гоголь» в Шанхае слышны были недовольные голоса; теперь они звучали с удвоенной силой. Я уже с тревогой задумывался о том, как мы будем разгружать типографию в Молотове, конечном пункте нашего пути, при значительно поредевшем составе поезда, когда практически мало к кому возможным будет обратиться за помощью.

Не знаю, как бы разрешилось это затруднение, если бы кто-то из официальных лиц Находки не предложил отправить типографию во Владивосток, выделив для этого местных грузчиков. Отец согласился. Нам выдали на клочке бумаги расписку, что такого-то числа от Сильницкого Г.А. принята типография в количестве стольких-то печатных машин и наборов шрифтов для отправки во Владивосток. Эта расписка была впоследствии утеряна нами. Так плод многолетних тяжелых трудов нашей семьи был в мгновение ока безвозвратно утрачен. Впоследствии я не слышал от родителей ни единого сожаления или упрека по поводу этой утраты, возможно, потому, что, в конце концов, так или иначе замысел отца осуществился и типография дошла до своего назначения.

За несколько дней до отъезда мы узнали, что Ксения Прокофьевна Усольцева получила приглашение на работу в находкинский Клуб моряков и они с Юрием Михайловичем остаются на постоянное жительство в Находке. По контрасту с трудностью устройства на работу в Шанхае всех поразила легкость, с которой удалось это осуществить в Советском Союзе. Так, еще не тронувшись с места мы испытали первое свое расставание в своей новой жизни.

Когда подали эшелон, выяснилось, что он состоит наполовину из пассажирских вагонов, наполовину из теплушек. Началась острая борьба за казавшиеся привилегированными пассажирские вагоны. Нам досталась теплушка, вмещавшая два-три десятка человек. Как часто на протяжении

долгого и медленного продвижения через всю Сибирь мы благодарили судьбу за эту, как она переживалась вначале, неудачу! Посередине каждой теплушки была печка, нагревавшая ее настолько, что при всей нашей непривычности к сибирским морозам б*о*льшую часть дня мы оставляли незадвинутым вход в нашу «фанзу на колесах» («фанза» – китайское слово, обозначающее маленькую хижину). Это давало мне, прожившему всю предыдущую жизнь практически в пределах нескольких кварталов огромного, закованного в асфальт города, часами впитывать в себя бескрайние сибирские просторы, ощущая целительную силу восприятия широкого пространства, как такового. Обитателям пассажирских вагонов, как выяснилось вскоре, повезло значительно меньше: вагоны плохо отапливались, продувались из многочисленных щелей и вообще были мало приспособлены к сибирским холодам.

Поездка в теплушках через всю Сибирь заняла у нас чуть меньше трех недель. На стоянках местные жители приносили к поезду различную снедь, выменивая ее на наш эмигрантский домашний скарб. Меня особенно удивляли диски замерзшего молока с пупырышкой застывших сливок посередине. Под Омском запомнились четко очерченные, подобно клумбам, овальные рощи деревьев, стоявшие оазисами посреди безбрежной степи.

В течение нашего путешествия через Сибирь мы оказались свидетелями двух важных событий в жизни страны: денежной реформы и выборов в Верховный Совет СССР. Первое из них не вызвало в нашей среде сколько-нибудь значительного интереса из-за практического отсутствия у нас советских денег; как уже было сказано, мы удовлетворяли свои скромные бытовые нужды за счет бартерного обмена с местным населением на стоянках поезда. Выборы в Верховный Совет застали нас в каком-то небольшом населенном пункте. Нам предложили участвовать в голосовании. На избирательном участке кто-то из наших поинтересовался, правомерно ли наше безальтернативное голосование за кандидатов, лично неизвестных нам. В ответ было дано терпеливое, всех удовлетворившее разъяснение, что эти кандидаты прошли предварительное обсуждение и были апробированы авторитетными инстанциями в качестве наиболее достойных доверия; что же касается нашего свободного волеизъявления, то каждый из нас волен вычеркнуть любое лицо, почему-либо вызывающее у него сомнения.

По мере нашего продвижения по великому сибирскому пути, наши ряды редели, поскольку в каждом городе какое-то количество бывших шанхайцев провожалось нами к своему новому местожительству; особенно много высадилось на предпоследней остановке в Свердловске, так что когда 4 января 1948 г. ранним ясным утром эшелон прибыл на один из запасных путей станции Пермь-вторая в нем оставалось не более двух-трех десятков людей. Было объявлено, что через час поезд отправляется в г.Березники, один из районных центров Молотовской области, последний пункт нашего путешествия. Это известие оказало удручающее впечатление на нашу семью. Оказалось, что в отличие от предыдущих наших попутчиков, нам предстояло обосноваться в своей новой жизни не в областном центре, как это было

оговорено еще в Находке, а в никому не известной провинциальной глубинке. (Мы тогда не знали, что в еще более глухой глубинке оказались многие репатрианты, особенно те, которые высадились в Свердловске). И тут мой отец принял смелое, если не сказать – дерзновенное решение, за которое я до сих пор благодарен ему.

Он велел нам выгружаться прямо на перрон. С помощью немногочисленных оставшихся в поезде попутчиков мы с трудом спустили свои чемоданы на землю; больше всего нам доставило хлопот пианино. Невольно мелькнул в мыслях вопрос о том, что бы мы делали, если бы были дополнительно ко всему обременены непомерным грузом типографии. С замиранием сердца я проводил взглядом медленно тронувшийся с места и исчезнувший за поворотом железнодорожных путей наш эшелон, ставший вдруг самым дорогим и близким.

Я до сих пор не перестаю удивляться смелостью этого отцовского решения. Мы оказались совершенно одни, в тридцатиградусный мороз, без единого знакомого человека в чужом городе, без каких-либо определенных перспектив на будущее. Отец велел нам с матерью остаться на перроне и сторожить вещи, а сам отправился в город на разведку. Он отсутствовал около двух часов, показавшихся мне самым длительным в своей неопределенности периодом в моей жизни. Я чувствовал на себе угнетающее давление «пустого», ничем не заполненного времени, сопряженное с полным отсутствием малейших представлений о том, что нас ожидает за ближайшим поворотом жизненного пути. Это был какой-то онтологический «провал», «перерыв непрерывности» в ощущении связности бытия, определяющей причинную соотнесенность уже пережитого и предстоящего. С каждой минутой ожидания во мне росло осязание затянувшегося во времени настоящего мгновения, разделяющего прошлое и будущее.

Вернувшись, отец огорошил нас известием, что купил дом. Оказалось, что он случайно познакомился с какой-то женщиной, жившей по близости и продававшей дом, узнал от нее, что сумма денег от продажи нашего пианино будет достаточной, чтобы расплатиться, и уже договорился с водителем вокзальной грузовой машины и грузчиками, чтобы переехать. Так, не успев оглянуться на новом месте, мы стали домовладельцами.

Наш новоявленный район, вполне оправдывавший свое наименование «Нахаловки», был расположен на самой окраине Молотова, в непосредственной близости к большому железнодорожному мосту через реку Каму, связывавшему город и все Приуралье с европейской частью России. По любопытной иронии судьбы, район этот в быту именовался также «Шанхаем» (как мы узнали позднее, во многих концах Советского Союза это нарицательное имя приписывалось наименее благоустроенной части города). Итак, «из Шанхая уехали и в “Шанхай” приехали». Весь район был застроен одноэтажными обветшалыми деревянными зданиями, и слово «дом» применительно к нашему только что приобретенному жилью звучало как сильно приукрашенное преувеличение. Однако никогда прежде я не испытывал такого глубокого удовлетворения от чувства крыши над головой,

как вечером того дня, засыпая под стук колес поездов, проходящих, казалось, у самого нашего порога. Это чувство душевного успокоения определялось недавно пережитым преодолением разрыва в течении времени, восстановлением причинной обусловленности будущего прошедшим. Вместе с тем, я засыпал с новым смутным ощущением «зернистой» структуры времени в качестве не сплошного натянутого резинового жгута, а некоторой последовательности самодостаточных временных точек, которая в принципе может быть прервана в любой из них. «Сила цепи исчисляется силой самого слабого звена в ее составе», – недавно прочитал я где-то. Сегодня мне довелось пережить одно из таких слабых звеньев во временной цепи моей жизни. На этой мысли я заснул крепким сном. Впоследствии я в полной мере осознал, какую решающую роль во всей моей последующей жизни сыграло то обстоятельство, что мы начали нашу новую жизнь в областном центре, университетском городе с интенсивной культурной жизнью.

Утром я отправился на первую свою ознакомительную прогулку. Выйдя к мосту, я долго созерцал его массивные каменные опоры, составлявшие с близкого расстояния резкий контраст своей монументальностью с покосившимися, почерневшими от времени строениями на берегу. Размышляя о символичности этого контраста между грандиозностью строительства нового и наследием ветхого прошлого в современной России, я вдруг услышал резкий окрик. Ко мне подошел человек в военной форме и раздраженно сказал, что прилегающая к мосту зона является запретной для частных лиц, и я подлежу оштрафованию за нарушение закона. Я стал объяснять, что лишь накануне приехал на жительство в Молотов и еще не успел ознакомиться с местными законами. Он перебил меня, спросив, где и у кого я остановился. Затем, по-видимому успокоенный знакомым именем нашей хозяйки, он отпустил меня, велев впредь не приближаться к мосту ближе положенного расстояния. Я с некоторым удивлением отметил, что этот инцидент не только не выбил меня из колеи, но наоборот, утвердил меня в чувстве, что я действительно стал «своим» в новой среде и должен отныне подчиняться новым правилам поведения и принять на себя новые обязательства.

В последующие несколько дней при нашей попытке оформить свою покупку выявилось два неожиданных затруднения. Во-первых, оказалось не так просто продать пианино. Во-вторых, возникли определенные затруднения с юридическим оформлением продажи дома. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы по прошествии около недели с небольшим отец не вернулся однажды в сильном возбуждении из города и не сообщил, что он случайно встретил знакомого по Шанхаю музыканта, Вахромова, приехавшего в Советский Союз с одной из предыдущих очередей репатриантов, и тот пригласил его на работу в руководимый им оркестр одного из городских клубов с предоставлением временного жилья в здании клуба. Хозяйке мы выплатили непомерно большую сумму за полумесячное

проживание. Но главное было сделано: мы остались в областном центре, что определило всю мою дальнейшую жизнь.

В клубе им. Толмачева, расположенном в центральном районе Молотова, нам выделили небольшую комнату, где хранились музыкальные инструменты и которая до позднего вечера была полна людьми, так что мы обретали тишину и спокойствие лишь перед самым сном. В отличие от мамы, отца это не слишком удручало благодаря его общительному темпераменту. Понемногу стал налаживаться наш непритязательный быт. Зарплата была невысокой, и мы распродали на толкучке значительную часть оставшихся вещей. Я начал осваивать особенности своего нового местопребывания.

Лицо города Молотова (древней Перми) определяется его расположенностью на левом берегу великой реки Камы. В окрестностях города течение реки в основном принимает почти перпендикулярную направленность с севера на юг, задающее пространственную ориентацию двух центральных городских магистралей и города в целом. Одна из них, улица Ленина, расположена параллельно Каме в трех кварталах от нее и делит город на две продольные части, прилегающей к реке и более удаленной от нее. В середине города улица Ленина пересекается под прямым углом с проспектом Карла Маркса, открывающим прямолинейную мысленную перспективу через всю Сибирь вплоть до Тихого Океана, то есть представляющим продолжение недавно пройденного нами пути от Находки до Перми. Таким образом, проспект Карла Маркса постоянно ассоциировался в моем подсознании с дорогой, ведущей в прошлое, тогда как вид, открывающийся в западном направлении с высокого берега Камы, символизировал туманное, но манящее будущее. Это будущее слилось в моем воображении со зрительным образом единственного знакомого мне созвездия Большой Медведицы, легко различимого на небосводе над Камой.

В последующие несколько месяцев образ Камы прочно вошел в состав моего сознания, восполнив некий унаследованный из шанхайской жизни духовный вакуум, определяемый дефицитом полноценного общения с природой. Настоятельной потребностью для меня стали ежедневные длительные прогулки по набережной вдоль Камы, во время которых я ощущал, как какие-то прежде атрофированные клеточки моей души наливались жизнью и распрямлялись навстречу открывающимся взору беспредельным камским просторам.

На пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ленина был городской сквер, в глубине которого возвышался Молотовский Театр оперы и балета. Шанхай дал мне самое поверхностное и отрывочное знакомство с классическим музыкальным искусством по изредка звучавшим по радио оперным ариям и оркестровым произведениям, слушание которых неизменно сопровождалось острым чувством сожаления, что испытываемое наслаждение является временным, через несколько секунд обреченное на исчезновение, и что нет в мире силы остановить, продлить, увековечить прекрасное мгновение. В этом смысле музыка, в отличие от поэзии, навеки воплотившейся в печатном слове, олицетворяла для меня противоречивость

бытия, сочетающего несказанную красоту с текучестью и недолговечностью, незащищенностью от неумолимой поступи времени. Теперь же я получал возможность по своему изволению выбирать из широкого репертуара театра музыкальные произведения, известные мне ранее лишь по их названию и по имени создавших их композиторов. Цена дешевых билетов на балконе была вполне доступной, в кассовом зале не было никакой очереди, и я мог спокойно запасаться билетами на несколько дней вперед. Именно в течение этого первого моего года в Молотове я познакомился с наиболее популярными операми Чайковского, Глинки, Верди и Бизе. Это побудило меня возобновить многочасовые занятия на пианино и аккордеоне, привезенных нами из Шанхая.

Мне было семнадцать с половиной лет; непосредственно стоял вопрос о моей дальнейшей учебе. Однажды я прочитал на улице большое объявление о наборе в июле на первый курс Молотовского госуниверситета им. Горького и увидел в этом разрешение вопроса о моем будущем. Заручившись нотариально заверенной копией аттестата Junior Cambridge и его переводом на русский язык, я явился в приемную комиссию университета с вопросом, может ли он служить заменой советскому аттестату зрелости. Получив утвердительный ответ женщины, ответственного секретаря комиссии (как я потом понял, она была неопытным кадровым работником), я испытал необыкновенный подъем духа: передо мной выстраивалась четкая перспектива будущего, сменившая тревожную неопределенность, не покидавшую меня с момента отъезда из Шанхая. Однако мое радостное одушевление было омрачено реакцией отца, который стал настаивать на том, чтобы я не искал легкого пути на своей новой родине, но поступил осенью в обычную школу, дабы получить «настоящее» советское среднее образование как и у всех остальных моих сверстников, тем более что я был на пороге восемнадцатилетнего возраста, стандартного срока сдачи экзамена на официальный аттестат зрелости. Мои возражения, что это означало бы потерю целого года (18 лет мне должно было исполниться уже ближайшим летом), отметались как несущественные отговорки, поскольку «у меня вся жизнь впереди» и надо с самого начала строить ее на прочном, а не на зыбком основании. Так впервые в моей жизни возникло принципиальное разногласие с отцом и соответствующая напряженность в семье. Я обратился в несколько средних школ, но везде получал один и тот же ответ: в середине учебного года без официальной проверки уровня моих знаний, зачисление в какой-либо (а тем более в десятый) класс невозможно.

2. Надежда Григорьевна Конюхова. Тут произошел очередной «провиденциальный» момент в моей биографии. Блуждая по городу, я случайно наткнулся на вывеску с громоздким названием: «Молотовская областная заочная вечерняя средняя школа для взрослых». Зайдя в невзрачное помещение школы и постучавшись в дверь с надписью «Директор», я встретил одного из самых замечательных людей в моей жизни, которого я до сих пор считаю сыгравшим ключевую, благотворную роль в моей российской судьбе. Это была Надежда Григорьевна Конюхова,

женщина лет пятидесяти пяти, с молодыми, необычайно живыми и светлыми глазами, которая сразу напомнила мне мою шанхайскую бабушку. Внимательно выслушав мою нестандартную историю, в ответ на мой вопрос о возможности поступить учеником в ее школу, она сказала, что для этого я должен написать «проверочное» сочинение на любую тему по моему выбору из школьной программы по русской литературе. Я выразил готовность тотчас же подвергнуться испытанию. Она усадила меня за свой письменный стол, положила передо мной стопку тетрадных листов, проштампованных школьной печатью, сказала: «У вас три часа времени. Пишите» и вышла из своего кабинета.

Какое-то время я сидел неподвижно в маленьком тесном кабинете, пытаясь собраться с мыслями после столь быстро происшедших знаменательных событий, ставивших меня перед лицом такой же паузы в инерциальном жизненном потоке, как тогда, когда наша семья высадилась со всеми своими вещами на вокзальном перроне в незнакомом городе. Только на этот раз предстоявший перерыв между прошлым и будущим, который должен был продлиться целых три часа, был вызван не какими-то внешними, неподвластными мне обстоятельствами, но моим собственным произвольным волеизъявлением.

Размышляя над темой своего сочинения, я выбрал наиболее выигрышную, на мой взгляд, тему: «Лермонтов и Байрон», не подозревая, что как раз в это время в стране разворачивалась идеологическая кампания по борьбе с космополитизмом. Стремясь произвести наилучшее впечатление своим знанием литературы и владением русским языком, я вдохновенно исписал 12 страниц. «Приходите за ответом завтра», – сказала Надежда Григорьевна.. Когда я явился на следующий день, она коротко сказала: «Тройка». Не знаю, сумел ли я скрыть свое разочарование такой сухой оценкой, но она быстро прибавила: «Беру вас в десятый класс. С расписанием занятий можете познакомиться в канцелярии». Через пять лет, когда я окончил университет и поступил на работу в эту самую Заочную школу взрослых учителем русского языка и литературы, Надежда Григорьевна дала мне прочитать мое вступительное сочинение: 17 грамматических и стилистических ошибок (!!). Вечная моя благодарность светлой памяти Надежды Григорьевны Конюховой, взявшей на себя ответственность в те непростые годы принять в школу с нарушением всех формальных правил незнакомого молодого человека с сомнительным прошлым!

Уроки в школе проводились по четыре вечерних часа во вторник и пятницу; вечером в среду и в воскресенье до обеда давались индивидуальные консультации и принимались зачеты. Я усердно включился в занятия; ни о каком «завертывании» с уроков не могло быть и речи. Учащиеся были в основном намного старше меня, преимущественно из рабочей среды, бывших военных и работников следственных органов. Лишь один был моим ровесником – невысокого роста, подслеповатый Володя Четвериков, с которым у меня завязались близкие дружеские отношения на многие

последующие годы. При всей его невзрачной внешности он обладал незаурядными литературными способностями. Надежда Григорьевна однажды зачитала перед классом очередное его сочинение, и я был поражен широтой его эрудиции и умением образно выражать свои мысли. Когда я узнал, что он, как и я, собирался этим летом поступать в университет, это еще более сблизило нас. У меня, как и ни у кого в школе, не было сомнений, что он будет поступать на филологический факультет. К моему удивлению, он выбрал открывающийся новый факультет – юридический.

Что касается меня, то здесь никаких сомнений не было: только филологический факультет с его литературоведческим отделением, и никакой больше. Я читал школьный учебник по русской литературе XIX века как захватывающий роман и вскоре выучил его наизусть. Сами произведения были в основном известны мне; но сведений о биографиях писателей, о хронологических соотношениях между ними, о времени и порядке появления их трудов, о различных обстоятельствах их частной и общественной жизни у меня было чрезвычайно мало. Имя А.И.Герцена было совершенно новым для меня. Я как раз в это время купил его монументальную книгу «Былое и думы» и буквально бредил образом В.Белинского, «Неистового Виссариона».

Однажды под вечер в клуб им. Толмачева заявился человек, представившийся как Портной, директор металлургического завода в районном городе Нытва, и стал интересоваться, не согласится ли кто-либо из недавно приехавших, как он слышал, из Китая русских, владеющих английским языком, проводить занятия по этому языку с техническим персоналом его завода? Никто не отозвался. Присутствовавший при этом отец сказал, что для такого ответственного дела мало уметь практически кое-как изъясняться на английском языке, но надо иметь официальное образование в английской школе, и что он знает только одного человека из приехавших, который отвечает этому условию: это его сын, имеющий диплом Junior Cambridge. Через несколько минут в двери нашей комнаты вошел отец в сопровождении Портного и изложил мне суть дела. Я понял, что надо было принять быстрое и ответственное решение, Речь шла о первой в моей жизни длительной самостоятельной поездке, и сердце мое сжалось в смутной тревоге. Но я согласился.

Видно было, что Портной был несколько озадачен моей молодостью, но после того, как увидел мой английский аттестат, успокоился, и они с отцом приступили к деловому обсуждению условий соглашения. Они были чрезвычайно льготными для нас. Я должен был приезжать вечерним поездом в Нытву в любой удобный для меня день и в последующие два вечера после рабочего дня проводить по четыре часа занятий по имеющимся в заводской библиотеке учебникам. Я сразу прикинул, что самым приемлемым для меня днем приезда в Нытву был вторник, так как следующие два дня были у меня свободны от занятий в школе. Это не встретило возражений, и мы приступили к официальному составлении трудового договора с помощью заводского юриста, предусмотрительно приглашенного с собой Портным. Точного размера оплаты не помню, но она была очень щедрой по тем

временам. Очевидно, Портной принадлежал к тем дальновидным руководителям, которые предвидели роль английского языка в техническом прогрессе будущего и не жалели средств, чтобы подготовиться к нему заблаговременно.

В ближайший вторник я пришел на занятия в школу с дорожной сумкой. Поезд на Нытву отходил от вокзала Пермь Вторая поздно вечером, и у меня было достаточно времени успеть на него после конца уроков. Помню тревожное чувство ожидания на морозном перроне в преддверии этой первой в моей жизни самостоятельной деловой командировки. Так в самые трудные первые месяцы нашей жизни в Молотове неожиданно для самого себя я стал вносить свою лепту в материальное обеспечение нашей семьи, зарабатывая не меньше, чем отец в оркестре Вахромова.

Тем временем наступила уральская континентальная весна с по-летнему жаркими, солнечными днями и прохладными вечерами, придававшими особое очарование моим прогулкам по камскому бульвару. Занятия в школе шли своей чередой. Я строго придерживался разработанного в школе плана сдачи индивидуальных зачетов по профилирующим предметам аттестата зрелости. Наименьшие трудности я испытывал с математикой и русской литературой, наибольшие – с русским письменным языком, со многими правилами которого я только сейчас впервые познакомился.

В июне наступила экзаменационная пора. Все экзамены, за исключением сочинения, были устными. Непривычка отвечать на русском языке первоначально смущала меня, но я быстро научился справляться с чувством неловкости, и в целом сдал экзамены успешно. Осталось досдать ряд предметов, не представленных в аттестате, но предусмотренных в школьном учебном плане, что я также успешно выполнил. Наконец, состоялся торжественный выпускной акт с поздравлениями, фотографированием на память и вручением аттестатов. Я с трудом мог поверить, что менее чем за пять месяцев мне удалось успешно разрешить столь радикальную задачу

Когда я явился в приемную комиссию университета, женщина-секретарь при виде меня изменилась в лице и стала сбивчиво извиняться, что она тогда ошиблась, что зарубежные дипломы недействительны и что для поступления нужен наш советский аттестат зрелости. Когда я протянул ей мой аттестат, она не могла ничего понять, долго недоверчиво поворачивала его из стороны в сторону, как бы ища следы подделки. Наконец, удостоверившись, что все подписи и печати на месте, и лишь переспросив, какая школа мне его выдала и записав имя ее директора, велела мне написать заявление с просьбой допустить меня до приемных экзаменов на филологическое отделение историко-филологического факультета. Не мог я предположить, что через несколько лет она подружится с моей матерью и станет близким другом нашей семьи.

На вступительных экзаменах среди множества поступающих я обратил внимание на живого общительного юношу с подкупающей открытостью готового вступить в дружеское общение с окружающими. Разговорившись с ним, я узнал, что зовут его Миша Печерский, что у него два младших брата и

что рабочая семья его живет на Мотовилихе, в одном из отдаленных городских районов. Я отметил для себя, что мне повезло с самого начала сойтись с типичным представителем молодого советского поколения, к тому же подлинно пролетарского происхождения, о каких до этого мне доводилось только читать. Когда я узнал, что он пишет стихи и готовится стать поэтом, я почувствовал особую внутреннюю близость к нему и на всех последующих вступительных экзаменах относился к нему как к давнишнему знакомому. Мы оба успешно выдержали конкурсные испытания, и на всю последующую жизнь я нашел в нем самого близкого и верного друга.

3. Мои университеты. 1 сентября 1948 года с раннего утра у меня было необыкновенно приподнятое настроение. Я не мог до конца поверить, что отныне я полноправный советский студент – само это слово как-то особо многозначительно звучало в моем воображении. Перед первокурсниками факультета, битком заполнившими громадный зал на первом этаже, выступил декан, поздравивший нас с поступлением и разъяснивший общее устройство университета и распорядок студенческой жизни. За ним выступил профессор русского языка Иван Михайлович Захаров, сразу расположивший к себе меня (как и, по-видимому, всю аудиторию) своим внешним видом и задушевным, приветливо-отеческим тоном своей речи. Это был пожилой человек с бородкой, напоминавший всем знакомый образ М.И.Калинина. Он удивил нас первыми своими фразами: «Вы думаете, что вы поступили на филологический факультет? На самом деле, вы поступили на философский факультет». И стал разъяснять в доступных моему пониманию и чрезвычайно близких моему сердцу словах, что древнегреческий корень «Логос» – «с большой буквы!», как несколько раз подчеркнул он, – лежащий в основе греческого же слова «филология», несет значение не просто «Слова» (тоже с большой буквы!), но обозначает непередаваемую ни в одном из современных европейских языков неразрывную связь «Слова» и «Мысли». В подтверждение он привел несколько выдержек из книги незнакомого мне русского филолога А. А. Потебни «Мысль и язык».

Филфак, на котором протекали основные события моей студенческой жизни на протяжении последующих пяти лет, был расположен в правом (от центральной лестницы) крыле второго этажа. Приподнятое настроение первого университетского дня не покидало меня в последующие полтора-два месяца. Я просыпался каждое утро с радостным предвкушением вновь приобщиться к новой, ставшей для меня стабильной и обеспеченной на обозримое будущее, не подлежащей никаким непредвидимым превратностям среде обитания, в которой мое «я» нашло свое естественное жизненное проявление. Это было совершенно новое качество человеческого общения, всецело определяемое единством жизненного статуса всех его участников, не зависящего ни от каких привносных внешних факторов типа социального или материального положения их семей, но исключительно от их личностных особенностей. Я непрестанно спрашивал себя, неужели так будет продолжаться и дальше, и этот праздник не прервется, как это не раз случалось прежде со всем хорошим в моей жизни: именинами, Пасхой и

Рождеством, школьными каникулами. Ни в Реми, ни, тем более, в колледже Жанны д'Арк; где мне всегда в большей или меньшей степени сопутствовало чувство определенной дистанцированности от моего окружения, не было такого ощущения «себя на месте». Размышляя об этом, я пришел к выводу, что все дело было в той общей психологической атмосфере, которой я дышал здесь и там. Даже в эколь Реми у многих моих одноклассников мне виделась, с моей нынешней точки зрения, их чрезмерная поглощенность материально-собственническим аспектом жизни. Как раз в это время я прочел на английском языке случайно попавшуюся мне на открытом читательском доступе к последним библиотечным поступлениям статью Оскара Уайльда «Душа человека при социализме», где тот в свойственной ему парадоксально-афористической манере доказывал, что только при ликвидации частной собственности человек будет гарантирован от вторжения общества в его личную жизнь, то есть обретет подлинную свободу. Эта мысль хорошо «легла» на недавно испытанное мною чувство облегчения, когда непредвиденные обстоятельства «освободили» нашу семью от непомерного груза типографской собственности.

Я все более отчетливо укреплялся в убеждении, что открывающийся мне с каждым днем советский образ жизни с его установкой на преобладание коллективных интересов над частными в наибольшей степени отвечает моим духовным потребностям. Бросающаяся в глаза по контрасту с шанхайскими оценочными критериями очевидная неактуальность для моих однокурсников вопросов финансового или служебного положения их родителей служила для меня отрадным облегчением, значимость которого для моего душевного состояния все более отчетливо давало о себе знать. Никакие привходящие внешние обстоятельства не отвлекали теперь от самого главного и, как оказалось, интересного: воспринимать людей не через призму их материального благосостояния, а в их естественной человеческой сущности.

Наша филологическая группа насчитывала около тридцати студентов; приблизительно столько же было в составе «историков», наших ближайших соседей по факультету. Между двумя отделениями сразу установились товарищеские отношения, не лишенные некоторых элементов доброжелательного дружеского соперничества, проявляемого в наделяемых друг другу шутливых кличках; они нас окрестили «филологами-болтологами», мы парировали: «историки-истерики». В целом наличие общих лекционных курсов, соседство многих студентов обоих отделений по общежитию, общие поездки в колхоз с течением времени сыграли существенную роль в выработке чувства факультетской солидарности и установлении личных дружеских связей, сохранившихся на многие последующие годы. Мужская часть первого курса, составлявшая меньшинство на обоих отделениях, присвоило себе, по примеру пеших воинов древней Греции, наименование «гоплитов».

Наша группа «гоплитов» первого курса филологического отделения включала всего лишь четыре студента. Помимо нас с Мишей это были Юра Суворов и Володя Лепескин. Мой тезка Суворов приехал из сибирской

глубинки в Пермь, где у него проживала тетя, и поселился в общежитии; через него мы приобщились к своеобразной жизни студенческой «общаги». Это был спокойный, выдержанный юноша, отличающийся своим уравновешенным отношением к окружающим от экспансивного Миши Печерского с его все более отчетливо проявляющимся холерическим темпераментом. Эти черты Юры, в сочетании с его ровным характером, обеспечили ему множество дружеских отношений в общежитии и на других факультетах. Особенно тесные товарищеские связи установились между ним и студентом-историком Славой Мухиным, всячески поддерживающим Юру в его чреватом конфликтами увлечении миловидной студенткой биологического факультета Леной Верхоланцевой.

Володя Лепескин был участник Великой отечественной войны и соответственно значительно превосходил нас по возрасту и жизненному опыту. На войне он отморозил пальцы обеих рук, которые ему ампутировали, оставляя одни ладони с узкими щелями между основаниями прежних пальцев. Таким образом, он имел статус инвалида войны; но мы, младшие, его таковым не воспринимали вследствие его неизменно веселого нрава и неистощимого «хохляцкого» юмора. Он уверенно справлялся со всеми бытовыми потребностями: пользовался ложкой и вилкой за столом, листал книги, записывал лекции, застегивал и расстегивал пуговицы на одежде и т.д. Его заботливая жена Вера, бывшая медсестра, выходившая его в госпитале, помогала ему, по моим наблюдениям, лишь в двух вещах: в разрезании твердой пищи ножом и в завязывании галстука. Они с женой имели двухкомнатную квартиру в центре города, где мы проводили многие наши курсовые праздничные мероприятия. Он был членом партии и пользовался большим уважением у администрации факультета. Мне часто думалось, что Володя Лепескин представляет собой столь же показательное для своего времени явление, как популярный литературный образ Алексея Мересьева, и в не меньшей степени достоин своей «Повести о настоящем человеке». Отношение к нему нашего молодого поколения было двояким, сочетающим непризнание какой-либо его физической ущербности сравнительно с нами и свободную непринужденность дружеского общения на совершенно равноправных началах с подсознательным пониманием его большей человеческой и социальной значимости, чем не нюхавшие пороха юнцы, случайно оказавшиеся вместе с ним в одной жизненной упряжке.

Как с давнишним знакомым я встретился в стенах университета с Володей Четвериковым, поступившим на юридический факультет. Он быстро нашел применение своим поэтическим способностям, войдя в редсовет популярной общеуниверситетской стенгазеты «Перец», оформляемой красочными карикатурами с сатирическими поэтическими подписями и регулярно вывешиваемой на лестничной площадке между первым и вторым этажами.

Медленнее налаживались дружеские отношения с женской частью курса. Лед был сломан нашей однокурсницей Лией Баландиной, проживающей в поселке Нижняя Курья, в нескольких километрах южнее Молотова. Заметив,

по-видимому, некоторую стеснительную неловкость со стороны наших юношей, она в самом естественном, непринужденно-дружеском тоне стала завязывать ряд ни к чему не обязывающих бесед с нами. Решающую роль в образовании нашего курсового коллектива, выделяющегося в последующие годы на факультете своей дружеской спаянностью, сыграла инициатива Лии, пригласившая всех желающих с курса провести вместе выходной день на природе в ее родной Нижней Курье. Откликнулась значительная часть группы. Если в начале дня при сборе на станции Пермь Вторая чувствовалась какая-то степень отчужденности между участниками встречи, то к вечеру при расставании на той же железнодорожной станции мы все давно перешли друг с другом на «ты», как будто не один год варились в одной каше. С этого дня Володя Четвериков, которого я привлек к участию в этом мероприятии, прочно вошел в нашу компанию.

Наиболее яркие фигуры, находящиеся в центре внимания университетской общественности, виделись мне в своего рода эстетическом свете, как законченные художественные образы, сошедшие со страниц какого-то литературного произведения из студенческой жизни: Юрий Мельков, секретарь комсомольского комитета, пользовавшийся непререкаемым авторитетом в университете; видный деятель студенческого профкома Волочков, характеризуемый Четвериковым в «Перце» как «гроза прогульщиков, втирателей очков»; Инна Быкова, известная как «совесть филфака»; Володя Радкевич, признанный пермский поэт и представитель местной богемы; Юрий Котков, чемпион университета и Молотовской области по шахматам, первый острослов вуза; певец Балалаев, неизменно завершавший своим знаменитым басом все университетские праздничные концерты; Лев Давыдычев, только что опубликовавший в районном литературном журнале «Прикамье» свою первую повесть и нелегально прославившийся среди университетских вольнодумцев тем, что на экзамене по истории партии на вопрос: «Чем завершился доклад товарища Сталина на последнем съезде партии» ответил – «Аплодисментами, переходящими в овации».

Я был, по-видимому, единственным «выходцем из капиталистического мира» среди многотысячного студенческого состава университета и поэтому не мог не привлекать к себе повышенного внимания. Это проявилось на первом же занятии на недавно учрежденной в университете военной кафедре, когда, знакомясь с новой студенческой аудиторией, преподаватель из всех многочисленных присутствующих вызвал именно меня, попросив рассказать о себе. Восприняв это первоначально как досадную для меня «случайность», я впоследствии пришел к убеждению, что здесь имела место заранее предусмотренная установка «прозондировать» меня и что мне надо быть готовым к многократному повторению подобного искуса в будущем. И действительно, я в скором времени потерял счет количеству автобиографий, которые мне доводилось писать по самым различным поводам; при этом главная моя забота состояла в том, чтобы не спутать какого-либо числа, имени или события.

Коллективные, в различном составе, выходы на природу стали обычным явлением в нашей студенческой жизни. Особую значимость они имели для меня на фоне моего шанхайского «природного голодания». В одном я решительно отличался от своих сотоварищей. Многие из них, в первую очередь те, которые жили с родителями в городе, увлекались сбором грибов и ягод. Мне подобные «хозяйственно-собственнические» установки были чужды. Для меня главным было эстетическое, материально незаинтересованное восприятие природы. Я мог подолгу созерцать какой-либо поразивший меня своей живописностью пейзаж в полном отключении от реальных обстоятельств нашей повседневной жизни. Я не знал названий многих видов цветков, деревьев, грибов, ягод, птиц и т.д. и мало заботился о пополнении своих знаний; более того, я исходил из подсознательной установки, что знание того, «сколько ножек у таракана», не только не проясняет, но скорее затемняет постижение сущности бытия.

Из преподавательского состава наибольшее впечатление на меня, после Ивана Михайловича, произвела Татьяна Львовна Левина, читавшая лекционный курс «Основ марксизма-ленинизма» обоим отделениям историко-филологического факультета. Она обладала четкой дикцией, ясной речью и уверенно владела огромной аудиторией. Я быстро усвоил центральный тезис ее курса – «общественное бытие определяет общественное сознание», находя в нем подтверждение своих смутных размышлений недавних последних дней. Татьяна Львовна с самого начала не скрывала, что относится ко мне с особо пристальным вниманием в силу моего нестандартного, по советским меркам, прошлого; должен сказать при этом, что я никогда не видел с ее стороны, как и со стороны других преподавателей, ничего, кроме объективной требовательности, без малейшего проявления предвзятой придирчивости или недоброжелательности.

Кроме ряда неудобств, связанных с моим шанхайским прошлым, я вскоре испытал некоторые преимущества. На нашем курсе в качестве иностранного языка фигурировал французский. На первом же занятии преподавательница разрешила мне свободное посещение уроков, чем я охотно поспешил воспользоваться и, памятуя об унаследованной от эколь Реми привычки «заворачивания» с занятий, перенес это вольное отношение на некоторые другие предметы, благо дисциплина на факультете была тогда не слишком строгой.

К концу первого семестра праздничное настроение первых дней постепенно начало сменяться становящейся привычной обыденно-рутинной «текучкой» лекций, семинарских занятий, зачетов, нарушаемой лишь днями выдачи стипендии («стипешки») в конце месяца.

В начале второго семестра наша семья переехала из комнаты, занимаемой нами в здании клуба им. Толмачева на улице Луначарского, в отдельную, частным образом снимаемую квартиру в полуквартале от трамвайной остановки «Ирбицкая» и четырехэтажной городской бани. Это было полуподвальное помещение с низкими потолками и с окнами на уровне

уличного тротуара. От входной двери небольшая лесенка в несколько ступеней вела вниз в неотопленные сени, захламленные домашним скарбом, откуда другая дверь, уплотненная в защиту от зимних холодов, открывалась в жилое помещение, состоящее из двух небольших комнат. Первая, проходная комната служила нам столовой, спальной для родителей и одновременно чем-то вроде гостиной. Дальняя комнатушка едва вмещала мою постель и кое-что из личных вещей. Значительную часть первой комнаты занимала большая русская печь, тыльная часть которой составляла стену, отделявшую мое убежище от общей «гостиной».

При всей стесненности наших новых жилищных условий, они воспринимались мной с облегчением. Во-первых, у меня появился свой угол, который я мог считать в полном смысле слова «своим» внутренним пристанищем, обеспечивающим мне то, что я научился ценить как одно из основных достояний человека – возможность пребывать «наедине с самим собой», без какого-либо вмешательства внешних факторов. Кроме того, наше новое местопребывание в два с лишним раза сокращало расстояние до университета, расположенного вблизи остановки Перми Второй, конечного пункта трамвайной линии, всего лишь через две остановки от «Ирбитской». Университет был отделен от этой конечной остановки высокой железнодорожной насыпью с прорытым у ее основания специальным пешеходным проходом, использование которого было сопряжено с длительным обходным путем к возвышающемуся вдали многоэтажному зданию нашего вуза. Поэтому студенты обычно избирали более прямой путь через саму насыпь с выходом на «проспект Букирева», как в шутку именовалась, по имени тогдашнего ректора университета, широкая аллея, протоптанная тысячами ног, ведущая по кратчайшей линии к освещенному фасаду здания, куда каждое утро устремлялись многочисленные потоки молодых людей со всех концов города. Еще издали всем идущим передавалось бодрое настроение звуками Рондо каприччиозо Сен-Санса, энергично исполняемого Д.Ойстрахом, и других популярных оркестровых пьес, разносящимися далеко по всей округе через мощный университетский громкоговоритель. Мне каждый раз вспоминалось, что мое первое кратковременное местожительство в Молотове имело место именно в данном окраинном районе города.

К концу первого курса мы освоили основные формы общераспространенной, массовой советской послевоенной культуры, прежде всего – в его песенном проявлении. В группе сложилось два песенных центра, мужской и женский. Первый образовали Миша Печерский, Юра Суворов и я, второй – Лора Сивкова и Тоня Огорельцева, почему-то прозванная «Татьяшей». Мы могли без устали распевать популярные песни из кинофильмов и на мелодии, созданные анонимными авторами на стихи известных поэтов: «Выхожу один я на дорогу» Лермонтова, «Коробейники» Некрасова и др. Особой любовью у нас пользовались песни на слова полулегального Сергея Есенина:

Пейте, пойте в юности, друзья!

Бейте в жизнь без промаха.
Все равно любимая моя
Отцветет черемуха.

Наше самодельное мужское трио с особым надрывным пафосом любило выпевать:

И ничто души не потревожит,
И ничто ее не бросит в дрожь.
Кто любил, уж тот любить не может.
Кто сгорел, того не подожжешь.

Вероятно, со стороны весьма комичное впечатление должны были производить эти еще не оперившиеся птенцы, едва начавшие жить, не изведавшие до сих пор опустошающего воздействия человеческих страстей, но представляющих себя в качестве все испытавших в жизни и во всем разочаровавшихся «роковых личностей».

Никогда позже не было у нас такого повального увлечения хоровым пением. По-видимому, на мне сказалась унаследованная от отца общая предрасположенность к музыке. Порой замахивались мы и на классику, увлеченно распевая основные мелодии увертюры к опере «Кармен», легко воспроизводимые человеческими голосами, за что однажды даже заслужили одобрительный отзыв женской части нашего курса. Иногда, правда, наши вокальные упражнения приводили к определенным осложнениям. Однажды, готовясь к очередному зачету по военному делу, мы спонтанно стали хором распевать «Я помню чудное мгновение» Глинки, чем вызвали подлинный переполох на военной кафедре: дверь в аудиторию внезапно шумно раскрылась, и кафедра в полном составе во главе с заведующим возбужденно ворвалась в помещение, по-видимому восприняв случившееся как своего рода акт гражданского неповиновения.

В это время имя Есенина ассоциировалось с чувством подспудного протеста, намечавшегося в обществе против все более жесткого регулирования государством литературной жизни страны. Это нашло проявление в распространившемся слухе, что группа советских писателей обратилась к И. В. Сталину с просьбой снять негласный запрет с С.Есенина, на что тот якобы ответил: «Обещаю вам, что через сорок-пятьдесят лет Есенин будет так же широко известен у нас, как Пушкин». В то время такая перспектива казалась немыслимой.

Вскоре после нашего благополучного перехода на второй курс меня пригласили на факультетское комсомольское бюро. Сообщив, что я являюсь единственным студентом университета, не вступившим до сих пор в ряды комсомола, поинтересовались, желаю ли я исправить это аномальное положение. Получив утвердительный ответ, предложили написать соответствующее заявление. Был назначен день моего приема на ближайшем комсомольском собрании факультета.

Собрание вызвало несколько повышенный интерес на факультете, но не предвещало ничего необычного. Все шло в установленном порядке, с соблюдением всех процедурных правил. Я, естественно, тщательно

подготовил свое выступление, заботясь прежде всего о том, чтобы оно совпадало во всех деталях с несколькими ранее написанными мною автобиографиями. Последовало несколько ожидаемых вопросов из зала; студенты особенно интересовались нашей типографией: какой была форма собственности, были ли у нас наемные рабочие, какую продукцию мы печатали, а также какова была социальная ориентация монашеского ордена, при котором состоял колледж Жанны д'Арк. Я давал заранее продуманные ответы на все эти вопросы. Неожиданно прозвучал вполне естественный в данной ситуации, но озадачивший меня вопрос: «Какое ваше социальное происхождение?». В тот момент я не сообразил, что надо было просто сказать: «Из служащих». Я на мгновение задумался. Действительно, кто я с социальной точки зрения? Тут мне почему-то вспомнился дед по материнской линии, и я выпалил: «Дворянин».

Не успев произнести это слово, я тут же пожалел о нем. Мне показалось, что я физически ощутил напряжение, которое возникло в зале. Комсорг факультета поспешно закрыл прения и поставил на голосование вопрос о принятии меня в ряды комсомола. Голосование было утвердительным и единогласным.

Во время своей вечерней прогулки по набережной Камы я беспощадно бичевал себя за необдуманно вырвавшееся слово. Поистине, язык мой – враг мой, непрестанно внушал я себе, критически уподобляя себя с Мишей Печерским, сплошь и рядом допускающим языковые ляпсусы типа «меня сомневает», вместо «я сомневаюсь», и ставя себе в пример Юру Суворова, который, напротив, отличался строгой выверенностью речи. «Задача состоит в том, чтобы сделать свой внутренний мир независимым от внешнего», вспомнил я недавно вычитанную у Герцена установку. А для этого надо научиться искусству молчания, способности не произносить автоматически, не пропуская предварительно через фильтр своего внутреннего контроля, все, что спонтанно складывается в сознании. Только так можно избавиться от постоянных сожалений по поводу некстати сказанного, излишнего слова и стать «хозяином своей собственной души», то есть самому определять качество своего душевного настроя.

Тут мне пришло в голову, что с шанхайских времен, под наплывом новых жизненных впечатлений я не возвращался мыслью к *omnea mea*, то есть утратил сознание своей идентичности с собственным прошлым. Смысл пережитого мною происшествия я теперь видел в том, что оно должно послужить мне поводом к восстановлению нарушенной связи времен. Приняв это решение, я ощутил успокоение внутренней смуты. Вспомнилось любимое изречение отца: «В жизни, как в музыке, нет неправильных аккордов. Есть их неправильное разрешение».

Приближался новый 1950 год. Страна готовилась к торжественной встрече 80-летней годовщине со дня рождения В.И.Ленина. На занятиях по истории партии усиленно прорабатывались наиболее значимые события, связанные с биографией вождя русской революции. Мне, как и другим студентам, было предложено заблаговременно подготовить к одному из

семинаров краткое сообщение на какую-либо тему по моему выбору из заданного списка. Я выбрал тему «Выступление И.В.Сталина на траурном митинге, посвященном похоронам В.И.Ленина в январе 1924 года»

В процессе подготовки к этому первому моему публичному выступлению я подумал о том, что данное траурное событие накрепко связало между собой политические судьбы двух центральных личностей послереволюционной России и в значительной мере определило дальнейший ход нашей отечественной истории. Пытаясь проникнуться глубокой патетической значимостью этого исторического момента, я неожиданно для себя почувствовал зарождение поэтического образа скованной морозом площади, запруженной скорбно молчащим народом, и стоящего перед ним человека с непокрытой головой, медленно произносящего судьбоносные, как отлитые из меди, слова. Сами собой сложились строки:

Стоял неподвижно он, с шапкой в руках,
И слезы блестели на черных глазах.

Словам клятвы верности завещанию усопшего вождя, произносимым «человеком с непокрытой головой», казалось мне, вполне подобает, по их значимости, поэтическая форма, сочетающая высокую торжественность стихотворного выражения с более свободной ритмикой естественной разговорной речи. По моим представлениям, такая промежуточная формула между стихотворной и разговорной речью была найдена Грибоедовым, чередующим в одной строфе разностопные строки с ударными и безударными хореями:

«Пойду искать по свету [3 стопы],
Где оскорбленному есть чувству уголок [5 стоп].
Карету мне! Карету! [3 стопы]»).

По данному образцу я попытался сочинить разностопную строфу с чередованием различных трехсложных и двухсложных метрических размеров:

Замерли башни на траурном солнце [4 стопы],
Тускло мерцает гранит [3 стопы],
И площадь гудит [2 стопы]:
«Клянемся! Клянемся! [2 стопы]».

Тут я спохватился, что лишь недавно принял решение о необходимости тщательно продумывать любую пришедшую в голову инициативу, прежде чем запускать процесс ее вербальной реализации, но решил, что в данном случае как раз речь идет именно о таком предварительном «тщательном продумывании». В результате в течение двух-трех дней у меня сложилось стихотворение «Клятва верности». Подумав, я собрался с духом и решился послать его ни более, ни менее, как в редакцию «Правды». Через полторы недели мною было получено письмо от редакции областной Молотовской газеты «Рабочий путь», куда было перенаправлено мое письмо, где мне в осторожно-выдержанных выражениях высказывались сомнения о целесообразности излагать высказывания товарища Сталина в стихотворной форме. Передо мной встала проблема: смириться с неудачей моего замысла

или все-таки попытаться его осуществить? Идея публично опробовать стихотворную форму, совмещающую пафос поэтической и естественную простоту обыденной речи, прочно засела в моем сознании, подпитываемая примерами из современной художественной литературы и фильмов, когда советский человек в критической ситуации имел смелость проявить личную инициативу, принимая нестандартные решения, которые позже подтверждались жизнью.

Недели через две было объявлено комсомольское собрание, посвященное 80-летию со дня рождения В.И.Ленина. Я воспринял это, как знак судьбы. К середине собрания я прошел за кулисы актового зала и попросил ведущего объявить мое стихотворение. Я прочел его с заранее продуманными акцентами в нужных местах. Мне показалось, что зал выслушал меня с б*о*льшим вниманием, чем предыдущих выступающих; во всяком случае, одна из моих сокурсниц позже сказала мне, что «была просто поражена».

На следующий день Володя Лепескин, встретив меня в коридоре, втолкнул в пустую аудиторию и спросил срывающимся от волнения голосом: «Слушай, что ты там выкинул вчера на комсомольском собрании?». Узнав суть дела, не дав мне договорить, он стал в большом смятении выговаривать мне: «То-то мне сегодня из-за тебя сделали втык на партбюро. Почему-то считается, что я несу ответственность за все глупости, которые происходят на факультете! Неужели ты не понимаешь, что такие вещи не делаются шаляй-валяй, что и как кому вздумается?». Дальше последовала длительная лекция о партийной дисциплине, чувстве ответственности за свои поступки, последствия которых могут сказаться не только на твоей личной судьбе, но и на судьбе близких тебе людей. Я постарался заверить Володю, что случившееся было результатом не какого-то моего злого умысла, а недостаточного знакомства с новыми для меня правилами советской жизни. Мои слова, по-видимому, в какой-то степени успокоили моего не на шутку растревоженного собеседника; во всяком случае, он сменил тон разговора со мной на более уравновешенный. Более того, мне показалось, что он даже почувствовал некоторую вину передо мной за свою чрезмерную эмоциональность и попытался восстановить привычный для нас дружеский стиль общения. После этого разговора с Володей Лепескиным я окончательно утвердился в решении более жестко регламентировать внешние аспекты своего поведения согласно писаным и неписаным законам советской действительности, свободно и сознательно выбранной мною. «Tu l’a voulu, Georges Dandin». Ибо «общественное бытие определяет общественное сознание», думал я, так что невозможно пользоваться благими плодами общественного строя, не подчиняясь одновременно определенным ограничениям, налагаемым им на сферу твоей личной свободы.

На занятиях по истории философии я нашел авторитетное подтверждение данной концепции в учении И.Канта о диалектическом соотношении свободы и необходимости: внутренний мир человека (его «человек-в-себе») задает пределы его свободы (по Декарту, «мы свободны

только в своих мыслях»), тогда как внешний, объективный мир управляется законом необходимости. «Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества». За все в жизни приходится платить определенную цену. Задача человека соответственно видится в установлении приемлемого для него равновесия между этими двумя аспектами действительности.

Однако при этом ощущение какой-то глубокой трещины, пробежавшей в моем отношении к ранее идеализированной советской действительности, надолго осталось в моем сознании. Это новое ощущение было усилено подспудным сомнением, вкравшимся в мою душу в связи с развертываемой в стране идеологической кампанией против космополитизма. При всем моем сложившемся еще в Шанхае критическом отношении к американскому засилию в западной культуре, я не мог примириться с явными передержками и искажениями, допускаемыми в развернувшейся полемике. Зримым последствием происходящих в стране процессов было появление на нашей кафедре литературоведения Сары Яковлевны Фрадкиной, высланной, как говорили, по обвинению в космополитических взглядах вместе со своим супругом, профессором юридических наук Кертманом, из какого-то крупного научного центра. Она блестяще читала лекции по истории советской литературы, и мы сопоставляли ее приезд в Пермь с эвакуацией ленинградской балетной труппы во время войны, поднявшей на новый уровень театральную жизнь в городе. Но то была вынужденная мера, определяемая объективной необходимостью, а не чьим-то произвольным решением. (Мир тесен, и много лет спустя моя коллега по Смоленскому университету, Эда Моисеевна Береговская, поведала мне, что еще студенткой Киевского университета она присутствовала на бурном собрании, на котором состоялось отчисление двух «космополитов» из преподавательского состава).

Другим результатом проводимой идеологической кампании, но в противоположном смысле, была Анна Николаевна Руденко, неизвестно оттуда появившаяся на факультете, внушавшая мне глубокое неприятие тем, что не стеснялась на своих лекциях допускать личные выпады и давать оскорбительные характеристики другим преподавателям. Подстать Руденко был профессор Воробьев, переведенный к нам на кафедру языкознания из Москвы за какие-то идеологические провинности, отличавшийся той же неприемлемой для меня привычкой неуважительно отзываться публично о своих коллегах по кафедре. Он откровенно кичился перед нами своим профессорским званием и столичным прошлым и всячески подчеркивал свое мнимое превосходство над местными преподавателями. На экзамене по введению в языкознание, не давая студенту до конца ответить на выставленные в билетах вопросы, направо и налево выставлял всем четверки и тройки, приговаривая: «Четверка от профессора равносильна пятерки от доцента». Мое окончательное неприятие он вызвал тем, что вскоре добился смещения глубоко почитаемого мной Ивана Михайловича Захарова с поста заведующего кафедрой и занял его место. Впрочем, он недолго продержался в кресле заведующего и, к моему облегчению, через некоторое время был переведен куда-то в один из сибирских городов. Я попросил Ивана

Михайловича принять у меня пересдачу злополучного экзамена. Он назначил мне придти домой к нему с этой целью в определенный день.

В 1950 году в печати появилась работа И.В.Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», содержащая критику господствовавшего на протяжении последних полутора десятилетий в советской науке лингвистического учения Н. Я. Марра, претендующего на роль «единственно верной» марксистской теории языка. На факультете работала Франциска Леонтьевна Скитова, выпускница московской аспирантуры, часто с большим юмором рассказывавшая об эксцентричном стиле чтения лекций Марром. После первого часа лекции, переосмыслив во время перерыва ее содержание, он сплошь и рядом возвращался в аудиторию со словами: «Забудьте все, что я вам говорил до этого», и с тем же жаром и убежденностью начинал излагать какой-то новый вариант своей теории. Но в одном он оставался постоянным – в определяющей роли во всех языках на земном шаре четырех смысловых элементов: саль, бен, йон, рош. Должен признаться, что уже тогда во мне начало закрадываться сомнение: может ли претендовать на истинность теория, постоянно меняющая критерии и структуру своей доказательности?

Утром в день, назначенный Иваном Михайловичем для переэкзаменовки, я прочел только что появившуюся работу И. В. Сталина. Когда я позвонил в дверь Ивана Михайловича, мне пришлось довольно долго ждать отклика, так что я даже подумал, не забыл ли он о назначенной мне встрече. Наконец дверь открылась. Я сразу обратил внимание на какой-то непривычный мне вид Ивана Михайловича. Он молча смотрел на меня, не приглашая войти. Я повторил цель моего прихода. Он столь же молча проводил меня в свой кабинет и предложил сесть. Затем продиктовал первый вопрос: «Работа товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Второго вопроса не последовало. Через четверть часа я приступил к ответу. Выслушав меня не перебивая, Иван Михайлович выставил мне отличную оценку и поднялся с места, показывая, что переэкзаменовка закончена. Поблагодарив его и извинившись за причиненное беспокойство, я вышел.

Позднее я узнал от близко знавших его людей, что в 1937 году Иван Михайлович Захаров подвергся аресту, во время которого держал себя в высшей степени достойно, морально поддерживая других заключенных. Вскоре был освобожден и вернулся на прежнюю работу. Принял решение не за страх, а за совесть хранить лояльность, не нарушая своих нравственных убеждений, принятым в обществе социальным постулатам, соблюдение которых было обязательным условием возможности продолжения преподавательской деятельности. С этой целью пытался найти рациональное зерно в системе Марра и на этой казавшейся ему незыблемой основе построить предельно рациональный лекционный курс по языкознанию. Поэтому разрушение в одночасье этого, казалось бы, надежного основания должно было восприниматься им как чреватое опасностью краха его не только научной, но и личной судьбы. И мне невольно довелось быть

единственным случайным свидетелем этого критического момента в его жизни!

Эксцессы идеологической кампании последних месяцев служили предметом весьма острых и откровенных дискуссий с Мишей. На одной из них я как-то сказал ему по какому-то поводу: «Предсказываю тебе, что мы еще доживем до времени, когда белые офицеры будут представлены не как классовые враги, достойные всяческого поношения и уничтожения, а в романтическом ореоле русских людей, погибших в неравной борьбе за осуществление своих идеалов в один из самых трагических периодов нашей истории». Миша в ответ ограничился репликой: «Это в тебе говорит твоя дворянская кровь».

В сентябре 1950 года нас в очередной раз отправили на работу в колхоз. В одном отряде с нами оказались только что поступившие на первый курс филологического отделения студенты-новички. Мужская часть нашего курса сразу приняла по отношению к ним льстящий нашему самолюбию покровительственный тон уже видавших виды старожилов факультета, вызвавший ряд добродушно-иронических ремарок со стороны наших однокурсниц.

Быстро завязались дружеские отношения с тремя первокурсницами: Бэлой Рославлевой, дочерью известного молотовского театрального режиссера, ее подругой Лялей Поповой, отличавшейся уравновешенным, самодостаточным характером, и Люсей Павловой, производившей впечатление наивной школьницы, вызывавшей инстинктивное желание защитить ее от видимых и невидимых опасностей. По возвращении в университет с его нормальной студенческой жизнью Бэла оказалась владелицей ряда только что вошедших в моду долгоиграющих пластинок, вмещающих целую оперу на четырех-пяти дисках широкого формата. Мы установили дружеские связи с обслуживающим персоналом университетской радиорубки и стали проводить там целые вечера, прослушивая «Евгения Онегина» и «Пиковую даму» Чайковского. Особенно привлекало меня пение Павла Лисициана, напоминавшего мне металлическим тембром своего баритона памятного по шанхайским фильмам Нелсона Эдди. Вскоре я выучил эти оперы чуть ли не наизусть и даже пытался установить некоторые переклички Чайковского с другими композиторами (например, речитатива Германа «Дай умереть, тебя благословляя, а не кляня» с вступлением к «Патетической сонате» Бетховена).

Вскоре наша мужская фракция «гоплитов» пополнилась еще одним, пятым членом – Сашей Воробьевым, который был старше нас с Мишей и Юрой Суворовым на пару лет и занял в иерархической возрастной шкале промежуточное место между нами и Лепескиным. Он обладал большим жизненным опытом, которым охотно делился с нами, оставаясь на периферии нашего интимного внутреннего круга. Его основное влияние на нашу жизнь состояла в том, что он познакомил нас с ранее неизвестной нам залихватской песнью на искристый, со многими вариациями мотив, по его словам, Алябьева:

Ночка начинается. Фонарики качаются.
Филин ударил крылом.
Ой-да подайте мне чару глубокую
С пенистым, крепким вином.
. Дайте, подайте коня мне вороного.
Крепче держите под уздцы.
Едут с товаром дорогой знакомою
Муромским лесом купцы.

Далее следовал обычный разбойничий сюжет в духе Васьки Буслаева с подвигами удалых молодцов, грабежами и убийствами, завершавшийся характерной концовкой:

Есть у меня для тебя, черноокая,
Шубка на лисьем меху.
Ты будешь ходить вся в шелках разодетая,
Спать на лебяжьем пуху.

Наряду с зажигательным мотивом, эта песня обладала тем достоинством, что кроме нас не была известна на факультете никому другому, и поэтому долгое время служила своего рода «визитной карточкой» нашего импровизированного мужского ансамбля – позднее всего нашего курса – на различенных студенческих застольях и празднествах.

Саша Воробьев, влившийся в нашу группу позже всех других, имел за собой ряд академических «хвостов»-задолжностей, и однокурсники взяли «шефство» над ним по их скорейшей ликвидации. Мне досталось «подтягивание» его по английскому домашнему чтению. Мы разбирали адаптированный текст «Овода» Войнич. Я не сознавал тогда, что занимаюсь репетицией своей будущей преподавательской профессии.

Тем временем отец, продолжая работать руководителем художественной самодеятельности в клубе Толмачева, стал разрабатывать, на основе идей Макаренко и Станиславского, свою особую теорию художественного воспитания молодого поколения. У нас в доме стали часто бывать, почти на правах членов семьи, наиболее близкие к нему воспитанники – Вася Горяев, высокий красивый брюнет со звучным баритоном, и Лида Чаплыгина, которых он постоянно ставил всем на вид в качестве наглядных примеров своего воспитательного метода. И хотя я был полностью поглощен перипетиями своей студенческой жизни, я стал с тревогой наблюдать появление и рост знакомых мне по прошлому признаков разногласий и взаимных недопониманий с клубной администрацией и коллегами по работе. У нас дома участились споры отца с явно недоброжелательно расположенными к нему незнакомыми людьми. Особую антипатию во мне вызывал бывший шанхайский эмигрант, получивший в нашей семье прозвище «Толстогуб».

Разрядка наступила вечером 13-го апреля 1951 г., ставшем для нашей семьи самым черным днем нашей жизни.

4. Армагеддон. В начале двенадцатого ночи, когда я, утомленный происшествиями истекшего дня, раньше обычного улегся спать в своей

дальней каморке, послышался разбудивший меня непривычный шорох и ходьба в ближней ко входу комнате. Вошедший отец на мой раздраженный вопрос ответил не терпящим возражений голосом: «Одевайся скорей!».

В первой комнате оказались три человека, двое средних лет и один помоложе, в котором я тотчас узнал одного из бывших своих одноклассников Заочной школы по фамилии Сажин. Он слегка вздрогнул при виде меня, но тут же отвел глаза. Начался тщательный обыск нашей нехитрой обстановки. Я заметил, как один из старших, рассматривая папку с фотографиями, вдруг подозвал к себе Сажина и с едва заметной усмешкой показал ему одну из них; тот недовольно выхватил снимок из его рук и сунул его, но не обратно в папку, а в карман своего пиджака. Я понял, что это была заключительная фотография, сделанная на торжественном выпускном акте в Заочной школе.

Обыск продолжался больше часа. Особое внимание уделялось книгам, которые тщательно пролистывались и вытряхивались. Внезапно в комнате раздался резкий звонок. Зазвонил будильник. От неожиданности с одним из старших – по-видимому, главным в группе – случилось что-то вроде истерики. Его помощник бросился успокаивать его. «Спокойно! Спокойно! Это просто будильник!».

При обыске весь машинописный «архив» отца был изъят и приложен к «делу» в качестве «вещественного доказательства» (чего? того, что человек совершил государственное преступление, позволив себе о чем-то самостоятельно думать?). Закончив обыск и забрав с собой большую кипу бумаг и документов, пришедшие велели отцу одеть зимнюю одежду и выйти во двор. Отец, с легкой саркастической улыбкой наблюдавший за происходящим, крепко обнял маму и меня и вышел из комнаты.

Наступила первая в моей жизни бессонная ночь. Горькой иронией сверлила мою память фраза о необходимости сделать свой внутренний мир независимым от внешнего. Тусклый морозный рассвет казался олицетворением безнадежности, утраты жизнью всякого смысла и разумного основания. Через какое-то время я с некоторым удивлением услышал, что мама хлопочет с приготовлением завтрака. Вопреки моим ожиданиям, при виде меня она не разразилась слезами; лишь ввалившиеся за прошедшие несколько часов и потемневшие глаза выдавали всю глубину ее переживания. На всю последующую жизнь я запомнил первые произнесенные ею после страшной ночи слова: «У нас в прошлом было много хорошего. Сейчас судьба послала нам тяжелое испытание. Когда тучи рассеются и наш папа вернется к нам, его должна встретить дружная, любящая его семья, сохранившая все светлое, чем мы жили до сих пор. Поэтому надо жить дальше, храня верность прошлому и веру в будущее. Уверена, что он как-то почувствует, что мы не упали духом и что эта наша решимость поможет ему выдержать выпавшее на его долю суровое испытание».

Не могло быть и речи, чтобы идти в университет. Я вышел на свое привычное место на берегу Камы и долго стоял там, обуреваемый самыми противоречивыми чувствами. Я ощущал, что за истекшую ночь повзрослел на многие годы и научился чему-то такому, чему не могли научить самые

изощренные абстрактные рассуждения. Перед глазами стояла саркастическая улыбка отца, показывавшая, что он отнюдь не подавлен случившемся, но воспринимает его как вызов враждебной внешней силы его заветным идеалам и готов вступить в неравную борьбу за их осуществление. Трагические события прошедшей ночи показали, что реализация герценовской установки «сделать свой внутренний мир независимым от внешнего» определяется не только простым волевым актом человека, но и его готовностью купить такую привилегию ценой риска подвергнуться силовому вторжению этого внешнего мира в сферу своей внутренней свободы. В ушах продолжал звучать призыв мамы «хранить верность прошлому (то есть обретенному ценой стольких усилий чувству причастности к великой Родине) и веру в будущее». Попытки разрешить эту дилемму составили основное содержание моих духовных поисков на последующем отрезке моей жизни.

В течение двух дней я не мог заставить себя пойти в университет. На третий день, в воскресенье, мама напрямую спросила меня, что я собираюсь делать дальше. Я пробормотал что-то невнятное об устройстве на работу в местную типографию за неимением каких-то иных профессиональных навыков. Она решительно возражала, настаивая на том, чтобы я не бросал начатого три года назад с таким трудом дела, открывающего передо мной перспективы нормального, по советским критериям будущего. «Без высшего образования ты не найдешь себе достойного места в жизни», – говорила она. В результате в следующий понедельник я, скрепя сердце, направился по привычному, прежде овеянному столькими надеждами, пути в университет.

Прежнее чувство товарищеской причастности даже к неодушевленным предметам университетского быта сменилось ощущением всеобщего заговора против меня: продолжающееся обычное течение студенческой жизни воспринималось мной как молчаливое одобрение учиненного над нашей семьей насилия. Однако через несколько дней я должен был признать необоснованность такого представления. В понедельник, по-видимому, разразившаяся над нашей семьей беда не успела еще стать общеизвестной; но такое происшествие, естественно, не могло долго оставаться тайной. Вскоре я почувствовал некоторое трудно определимое изменение отношения ко мне однокурсников. Но это не было отчуждение, о котором мне много приходилось читать в последующие годы о лицах, родственники которых становились жертвами социальных репрессий. Напротив, я стал ловить на себе сочувствующие взгляды как на человека, неожиданно подвергнувшегося тяжелой болезни. Мне было невыносимо присутствовать на практических семинарах в малых группах по 8-10 человек, и я стал посещать лишь лекционные занятия, на которых сидел, погруженный в себя, не слушая и не записывая слова лектора. Юра Суворов, обычно занимавший место на несколько рядов впереди меня, стал молчаливо садиться рядом со мной; его безмолвное присутствие оказывало успокоительное воздействие на меня. Часто с другой стороны подсаживался Миша Печерский. Так, в «защитном» окружении моих двух сокурсников, ставших отныне самыми близкими мне

людьми, я просиживал в полном отключении от окружающей обстановки лекционные часы, чтобы затем столь же безмолвно удалиться из университета.

Надо было подумать о каком-то заработке на нужды семьи. Как я пожалел, что вскоре после поступления в университет отказался от преподавания английского языка в Нытве; впрочем, подумал я, еще неизвестно, согласилось ли бы заводское начальство оставить у себя на службе человека с сомнительной социальной репутацией. Подумав, я решился обратиться к однажды уже выручившей меня в критической ситуации Надежде Григорьеве Конюховой. Выслушав мою историю, она на минуту задумалась, затем характерным жестом вскинула голову и сказала: «Вы мне ничего не говорили. Я ничего не знаю. У вас, кажется, есть английский диплом? Беру вас на работу учителем английского языка». Так, второй раз эта замечательная женщина в трудную минуту протянула мне руку бескорыстной великодушной помощи, снова рискуя ради едва знакомого, не связанного с ней никакими родственными отношениями человека своей служебной карьерой и благополучием. Я, естественно, облегченно вздохнул, получив материальную поддержку семье; но еще большее облегчение испытал от обнаружения того, что не стою одиноко перед лицом обрушившейся на нашу семью бедой, но имею безмолвную поддержку своих университетских однокашников и вполне осязаемую помощь таких людей, как Надежда Григорьевна. Не знаю, рассказала ли она что-то о моих обстоятельствах кому-то из своих сослуживцев, но учительский коллектив Заочной школы принял меня с исключительной душевной теплотой и доброжелательностью.

Неожиданно мы получили совершенно огорошившее нас извещение, что отец признан душевно невменяемым и временно помещен для лечения в психическую больницу. Я понял, что это было результатом его неадекватного, с точки зрения его следователей, поведения на допросах. Он, очевидно, принял свой арест как акцию внешних сил, враждебных его заветным идеалам, и поставил своей целью не пассивно покориться постигшей его участи, но показать свою несломленность духа и готовность постоять за свои убеждения до конца. Я почувствовал в этом проявление давно знакомой мне психологической установки воспринимать события своей жизни в обобщенно-символическом свете как борьбу добра и зла и видеть свою задачу в посильном отстаивании своих нравственных принципов, даже ценой вовлечения себя в неравную борьбу с окружающим миром. Реакции отца, по-видимому, настолько озадачили следственные органы своим несоответствием их предыдущему опыту работы, что они не нашли ничего лучшего, как избавиться от него, объявив невменяемым. Меня глубоко тронуло сознание трагической безнадежности донкихотской войны с ветряными мельницами, объявленной отцом всему государственному репрессивному аппарату, сопряженной с признанием его внутренней правоты по каким-то высшим, сверхразумным критериям. Я невольно задумался о том, является ли такой исход облегчением или утяжелением его участи.

Вскоре после этого произошло еще одно крайне удивившее меня событие: ко мне домой после занятий зашел с дочерью-девятиклассницей Володя Лепескин. Он напрямик спросил меня, что случилось с моим отцом. «Он, действительно, нездоров, или его, как Чаадаева, насильно засадили в сумасшедший дом?» Это был первый и единственный случай, когда кто-то из моих близких знакомых открыто затронул вопрос об отце. Я ответил: «Ко мне в прошлом году как-то зашел Миша Печерский. Я познакомил его с папой. Они около часа беседовали с ним на самые разные темы. Миша потом высоко отозвался о его здравом смысле и логичности рассуждения. Можешь осведомиться о его впечатлении у него самого». Володя не задавал больше вопросов и сменил тему разговора. Через четверть часа они с дочерью ушли. Я был благодарен Володе за его визит, чреватый, как я понимал, определенной опасностью для него, о чем свидетельствовало то, что он счел необходимым подстраховать себя присутствием дочери.

Положительным моментом происшедшего неожиданного поворота событий явилась возможность маме и мне посещать папу в больнице. Первое мое свидание с ним прошло в неожиданных для меня спокойных тонах, без бурных эмоциональных всплесков, как будто не произошло ничего из ряда вон выходящего. Он прежде всего осведомился о наших семейных делах. С большим удовлетворением принял известие, что прежний ход нашей жизни не претерпел существенных изменений, что я не бросил университет и получил работу в Заочной школе; просил передать свою заочную благодарность лично не знакомой ему Надежде Григорьевне. О себе говорил лаконично и сдержанно, заверив меня, что на допросах его никто «и пальцем не тронул»; следователи предпочитали более изощренные, психологические методы воздействия, неоднократно напоминая, что у отца имеется сын, только что начавший самостоятельную жизнь, судьба которого в значительной степени зависит от его (отца) готовности не утаивать что-либо от следствия, стремящегося лишь к установлению объективной истины, но чистосердечно сотрудничать с ним. Папа добавил, что с самого первого дня заключения его больше всего мучил страх обо мне, не нахожусь ли я где-то в соседнем застенке, и поэтому он к великому своему облегчению узнал от меня, что я продолжаю учиться на «идейном» факультете и принят на «идейную» должность школьного учителя. В конце нашего свидания он рассказал с некоторой, как показалось мне, гордостью, что его долго допрашивали, кто предупредил его о готовящемся аресте, ибо он проявил необычное в таких ситуациях самообладание. Он сказал также, что искал случая передать «на волю» записку с двумя словами на английском языке: «Hopeless. Thicklip» («Безнадежно. Толстогуб»).

На следующем нашем свидании, оказавшемся последним, отец начал с того, что в разговоре с одним из пациентов больницы узнал, что тот был в тридцатые годы одним из учеников Надежды Григорьевны Конюховой, против которой было организовано открытое партийное собрание с явной установкой на обвинение ее в идеологической неортодоксальности, но пошедшее не по запланированному руслу. На собрание пришло большое

количество тогдашних и бывших учеников Надежды Григорьевны и их родственников, которые один за другим стали говорить о ее положительной роли в идейном воспитании рабочей молодежи, не давая возможности ее обвинителям выступить с заранее заготовленными обличительными речами. В итоге собрание завершилось не ее осуждением, а вынесением ей партийной благодарности за полезную воспитательную работу. Затем с явным волнением папа сообщил мне, что его в ближайшее время переводят в казанскую больницу с более строгим режимом, так что неизвестно, когда мы увидимся в следующий раз. До конца жизни в моей памяти осталась единственная пессимистическая фраза, произнесенная папой за все это время: «Если бы ты только знал, с каким облегчением я бы встретил конец этой моей земной жизни». Когда я в следующий раз пришел на свидание, мне сообщили, что мой отец переведен в другое место заключения, дав казанский адрес и разрешение писать ему не чаще четырех раз в году.

В университете приближалась весенняя сессия. Ко мне подошла Лия Баландина и – по-видимому зная, что значительная часть занятий была мною пропущена – предложила вместе готовиться к экзаменам. Я охотно согласился, воспринимая это как еще один показатель негласного сочувствия ко мне окружающих. Со стороны преподавателей общественных наук и других предметов я не испытал ни малейшей предвзятости и благополучно сдал сессию.

Наступивший четвертый курс был для меня годом буквальной одержимости чтением. Интенсивно культивируемая в предыдущие годы самодостаточность внутреннего мира послужила в пору жестоких испытаний спасительным заслоном от отчаяния. Именно в этот самый смутный период моей жизни во мне вызрела перифраза известной английской поговорки – «Дом англичанина – его з**а**мок», гласившая: «Для **русского** человека **его душа – его крепость**». Эта формула стала путеводной звездой всего моего будущего. Как обычно, мои душевные переживания выливались в форму литературных изречений. Никогда ни до, ни после этого духовного кризиса чтение не играло такой ключевой роли в моей жизни. Ромен Роллан, Ибсен, Бернард Шоу, Владимир Соловьев, Паскаль были не просто источниками интеллектуального и эстетического восприятия, но глотком кислорода, без которого, как мне казалось, я не смог бы выжить в атмосфере, вдруг превратившейся в скопление ядовитых испарений. Это было окно в некое высшее измерение бытия, дающее духовное убежище от кошмара окружающей действительности.

Властителем моих дум первоначально был Генрих Ибсен конечного этапа своей творческой биографии, начиная с драмы «Кукольный дом». Глубокий след в моем сознании оставила ремарка его героини Норы о том, что, кроме обязанностей человека перед другими людьми, есть его обязанности перед самим собой, перед заложенными в нем жизненными возможностями, ждущими своей реализации. Дальнейшую разработку этой мысли я нашел у Ромена Роллана, оказавшего на меня сильное воздействие образами Жана Кристофа в 10-томном романе и Бетховена в своих

музыковедческих статьях. Долгое время Бетховен, утверждавший: «Князей много, а Людвиг Бетховен – один», оставался моим идеалом творческой личности, героически отстаивавшей самодостаточность своего духовного мира от давления внешней действительности, олицетворяя своей судьбой кантовскую идею диалектического противоборства внутренней свободы «человека-в-себе» всенивелирующему катку объективной необходимости («Так стучится судьба в дверь человека»).

Эти отвлеченные музыковедческие образы получали конкретное слуховое воплощение на еженедельно проводимых по понедельникам симфонических концертах оркестра Молотовского оперного театра, регулярно посещаемых мною. Со временем образовался своего рода негласный «музыкальный клуб» постоянных посетителей этих концертов, знавших друг друга в лицо и приветливо здоровавшихся при случайных встречах в различных местах города. Артист филармонии Келлер, как бы переселившийся в современность со своей завитой треугольной «египетской» бородкой из какой-то далекой эпохи в прошлом, выступал с эрудированными пояснениями исполняемых произведений. Он был поклонником Рихарда Вагнера, и ему я обязан сохранившимся на все последующие годы преклонением перед автором Тангейзера. Запомнились слова Келлера о том, что Вагнер отличался наиболее сложной, после Берлиоза, оркестровкой своих сочинений и приведенное им мнение П.И.Чайковского, что гению этого немецкого композитора в большей степени отвечало бы сочинение не опер, а симфонических произведений.

Обострилась потребность общения с живой природой. Безостановочно шагая вечерами по высокому берегу Камы, я представлял себе состояние отца, лишенного элементарной человеческой возможности свободного передвижения в пространстве, подвергаемого бесконечным допросам, а, возможно, и пыткам. Возвращаясь как-то поздно вечером домой, я увидел, что какой-то мужчина заглядывает нам в окно нашего полуподвального помещения. Нахлынули опасения, что и меня ждет участь отца. И тут произошел неожиданный перелом в моем умонастроении. Я вдруг перестал бояться, ощутив себя под опекой какой-то высшей силы. Я почувствовал: что бы ни произошло со мной дальше, это имеет какой-то высший смысл. Родилось и стало ежедневно крепнуть убеждение, что человеческая жизнь представляет собой не слепую цепь случайностей, но закономерное развитие некой исходно заложенной в каждом человеке установки, и задача его состоит в осознании и последовательном достижении этой персонально порученной ему жизненной цели.

Во все дни недели, кроме воскресенья, моя учебная нагрузка в Заочной школе падала на вечерние часы. Это давало мне особое чувство свободы: накануне вечером я мог позволить себе засиживаться далеко за полночь за чтением, не беспокоясь о необходимости рано вставать следующим утром, чтобы не опоздать на работу. С эти пор у меня выработался принцип ценить свободное время как высшую жизненную ценность, сознательно ограничивая побуждения искать дополнительные источника заработка, то есть воспитывая

в себе умение довольствоваться лишь самым необходимым в материальной сфере. Одновременно я позволял себе евангельское отрешение от всяких забот о завтрашнем дне, по возможности полноценно участвуя в набирающей новые обороты и формы культурной жизни города.

В это время началась моя дружба с Агитой Паздниковой, чья мама работала в одной из районных библиотек города. Через нее я ознакомился с рядом книг, не представленных в открытом библиотечном доступе. Это были, прежде всего, два полулегальных романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», которые я детально изучил задолго до того, как они стали достоянием широкого читательского круга и, таким образом, составил о них свое индивидуальное представление, независимое от трафаретов того культового значения, которое они позднее приобрели для нашей интеллигенции. Я пытался осмыслить их содержание не в рамках каких-то общепринятых критериев, а исключительно в контексте тех субъективных проблем, которые стояли передо мной в моем внутреннем мире.

Центральный образ Остапа Бендера, «сына турецкого подданного», был сразу воспринят мною как некое чужеродное советской действительности явление, противостоящее ей, опираясь на каким-то образом приобретенные понятия философии, социологии и других аспектов мировой культуры, постоянно упоминаемые им на протяжении обоих романов. Показательна сцена, когда Остап в свойственных ему изысканно вежливых выражениях просит Балаганова осадить зарвавшегося Паниковского и «восстановить *статус-кво*». Балаганов не знал, что такое «статус-кво», но по выражению лица Остапа понял, что от него требуется, и высадил провинившегося «нарушителя конвенции» из машины. Именно эта независимость Бендера от неписаных предписаний советской действительности явилась источником того кантовского ощущения свободы в своем внутреннем мире, неподвластном никаким внешним предписаниям, которое передается читателю и препятствует реализации официальной установки на превращение личности «в точку пересечения общественных отношения». В юмористической трактовке наиболее типичных бытовых ситуаций советской действительности. (а смех – лучшее противоядие от страха) коренится привлекательность данного образа для современного читателя.

Однако эта внутренняя свобода не сопряжена, думалось мне, со сколько-нибудь достойными жизненными целями. Остап Бендер – не творчески-созидательная личность. Он ничего не создает сам, но стремится использовать свою жизненную изворотливость и находчивость для присвоения себе исходной собственности других – тещи Воробьянинова или подпольного миллионера Корейко. Таким образом, по своему жанру эти произведения могут рассматриваться как разновидности мирового «воровского романа», представляющие занятное чтение, но отнюдь не способные составить позитивный нравственный эталон для подражания. Придя к такому выводу, я нашел дополнительное обоснование своим новым

убеждениям и заранее обеспечил себе иммунитет от чрезмерного увлечения этим талантливым произведением.

Продолжая свои размышления на данную тему, я стал улавливать определенную аналогию между этими романами и таким показательным явлением, как советский анекдот, который получил в это время широкое распространение в нашем обществе. Особое впечатление на меня произвел следующий образец этого симптоматичного для эпохи жанра, с наиболее яркими примерами которого регулярно знакомил меня Володя Четвериков: «Первомайская демонстрация рабов в древнем Риме проходит под лозунгом “Да здравствует феодализм – светлое будущее человечества”». Я не переставал восхищаться глубиной и социальной остротой этого изречения, соответствующей моему тогдашнему доминантному настроению. Одна эта лаконичная фраза – «феодализм – светлое будущее человечества” – перевешивала своим ироническим смыслом все многочасовые лекции по общественным дисциплинам.

А чего стоило незабвенной памяти «Армянское Радио», за внешней наивной простотой и непритязательностью которого таилось, наподобие бесхитростным афоризмам Козьмы Пруткова («Хочешь быть счастлив? Будь им!») проникновение в сущность самых актуальных проблем современности. «Армянское Радио спрашивают: можно ли построить коммунизм в отдельно взятом городе Ереване? Отвечаем: можно. Но лучше в Тбилиси». Последняя краткая ремарка отображает подлинное отношение нашего общества к официальной утопии построения коммунизма и одновременно непростого отношения армян к соседней Грузии. Сложный логический «парадокс лысого», отображающий гносеологическую проблему того, до какого предела признание частных различий между двумя явлениями совместимо с утверждением их сущностного единства, получает сатирическое освещение в следующей анекдотической ситуации: «Нас спрашивают, правда ли, что Айваз Карапетян выиграл в спортлото машину “Волгу”? Отвечаем: *Правда*. Но только не Айваз Карапетян, а Карапет Айвазян. И не в спортлото, а в преферанс. И не “Волгу”, а десять рублей. И не выиграл, а проиграл». Как такой ход рассуждения напоминает, подумал я, некоторые наши идеологические дискуссии!

В моем представлении анекдоты были проявлением коллективного общественного сознания, реакцией на засилие социальных трафаретов в нашей жизни и выполняли в этом отношении роль психологической отдушины наподобие романов о «сыне турецкого подданного». Я невольно сопоставлял мировоззренческую многозначность и емкость подобных шедевров этого нового жанра анонимного устного народного творчества с плоским сексуально-озабоченным юмором большинства западноязычных анекдотов, видя в этом «себе-на-уме» русского общественного сознания наилучшее опровержение бытующих в Европе представлений о пассивной покорности нашего менталитета правительственному давлению. Меня поражало, кстати сказать, в годы самой крайней антизападной пропаганды отсутствие в нашем народе чувства враждебной отчужденности от западных

ценностей, что проявлялось, в частности, в феноменальной, никогда и нигде не виденной мною ранее, популярности трофейных фильмов о Тарзане. Американский народ, по моему убеждению, в гораздо большей степени, подвластен диктату социальных штампов и политическому манипулированию со стороны власть имущих, о чем наглядно свидетельствует следующий голливудский кино-эпизод. По ходу действия фильма 30-х годов «Это случилось однажды ночью», когда герою Кларка Гейбла случилось снять рубашку и выяснилось, что она одета у него прямо на голое тело, это вызвало подлинную бытовую революцию в мужской части американского общества: мужчины поголовно отказались носить нижние рубашки, что привело к определенным трудностям для американской легкой промышленности.

В конце учебного года мне довелось побывать на конференции Студенческого научного общества на докладе Юрия Филатова, старше меня на один или два года. Тема его доклада заранее заинтриговала меня – «Анекдот как элементарная ячейка словесного искусства». Филатов рассматривал анекдот как «минимальную, далее нечленимую “клеточку”» литературной формы по аналогии с понятием морфемы – «минимальной значимой единицей языка». Его аргументация показалась мне вполне убедительной, и я принял активное участие в последующем обсуждении его доклада. Так завязалось знакомство и дружба с Юрой Филатовым, сыгравшим значительную роль в моей жизни. Он был ярким представителем молотовской богемы, другом Володи Радкевича, поклонником Клода Дебюсси и Скрябина в музыке и модернистской живописи от французских импрессионистов и далее. Надо сказать, что в отличие от литературы и музыки я до тех пор не испытывал сколько-нибудь заметного интереса к визуальным искусствам. Именно здесь Юра Филатов выступил в роли первооткрывателя, «открывшего мне глаза» на это новое для меня измерение духовной жизни человечества. Я начал страстно восполнять обнаружившийся вакуум в моем образовании усиленным чтением и собиранием репродукций со знаменитых произведений мировой живописи.

Мощным катализатором этого нового моего увлечения послужило знакомство с Ирой Богоявленской, подругой Бэлы Рославлевой, поступившей после окончания средней школы в Ленинградский Институт Точной Механики и Оптики. Там ее фактически удочерила представительница родовой петербургской интеллигенции, введшая ее в круг близких ей писателей и художников, давших Ире «из первых рук» сведения о ряде новых явлений в ленинградском мире изящных искусств. В сочетании с ее близким знакомством с экспозициями Эрмитажа, Русского музея и других ленинградских сокровищниц искусства, это делало Иру бесценным собеседником для меня. С первой встречи меня привлекли в ней отсутствие какой-либо рисовки, стремления поразить меня обилием своих связей в культурном мире Ленинграда, неподдельная простота и открытость ее манеры общения. С этих пор Ленинград бесповоротно занял в моем

представлении первое место в качестве культурной столицы России и стал желанным объектом всех моих будущих устремлений.

Незадолго до летних каникул на нашу кафедру пришел представитель местного отделения «Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний». Проинформировав нас, что следующий, 1953-й год объявлен годом Алексея Максимовича Горького в связи с 85-летней годовщиной со дня его рождения, он спросил, не согласится ли кто-либо из наших старшекурсников в ближайшее воскресенье прочитать в одном из заводских клубов популярную лекцию о жизни и творчестве великого пролетарского писателя. Все молчали. Миша кивнул в мою сторону: «Давай, Юрка, спасай ситуацию!». Недолго думая, я согласился.

Наскоро подготовив материал, я явился в воскресенье вечером в актовый зал клуба. За опущенным занавесом сцены стучали молотки: готовились декорации к спектаклю «На дне». Меня встретил режиссер спектакля: «На сколько рассчитана ваша лекция?» Я принял на себя вид опытного лектора: «А сколько вам нужно? Могу варьировать от сорока минут до часа». «Нет, это слишком. Постарайтесь уложиться в полчаса». Меня объявили. Шум в зале немного поутих. Я начал каким-то не своим голосом говорить об общем значении Горького в русской и мировой литературе. Перешел к его биографии: «Детство», «В людях», «Мои университеты». Постарался обыграть тему, выигрышную по своей географической ассоциации с местными реалиями: «город на Каме, где, не знаем сами». Далее: «Макар Чудра», «Песня о Буревестнике», «Мать». Смотрю, речь уже зашла о съезде советских писателей, о теории социалистического реализма. «Кто не сдается, того уничтожают». Остановись, мгновение! Но не тут-то было. Слышу, как язык мой произносит гневное обличение врагов народа, явившихся причиной преждевременной смерти великого писателя. Повторно излагаю, в тех же словах, значение Горького в мировой литературе. Благодарю присутствующих за внимание. Жидкие аплодисменты. Смотрю на часы: от начала лекции прошло без малого десять минут.

Когда я прошел за занавес на сцену, заполненную беспорядочно снующими взад и вперед рабочими, ко мне подбежал режиссер: «Начинайте!» – «Я уже кончил!». Никогда не забуду выражения на его лице при этих моих словах. Он попытался что-то сказать, но не нашел слов и с жестом какого-то неописуемого отчаяния бросился в аварийном темпе готовить площадку к предстоящему спектаклю. Я повернулся и, ни с кем не попрощавшись, ни слова не говоря, покинул сцену моего первый-блин-комом инаугурационного лекторского испытания. К счастью, в понедельник начались каникулы, и никто из однокурсников не поинтересовался, как прошло мое лекторское боевое крещение.

На следующей неделе я принес путевку на чтение лекции в отделение Общества по распространению знаний. Мне объяснили, что по правилам в конце путевки должен быть приведен заверенный ответственным лицом отзыв с качественной оценкой проведенного мероприятия, но, учитывая что это был мой первый опыт лекторской работы и я не успел еще ознакомиться

со всеми правилами, не стали настаивать на строгом соблюдении всех деталей и выплатили мне весьма существенную по тем временам сумму денег, положенную лектору. Так началось с поистине горьковского эффекта «обманутого ожидания» мое пятилетнее сотрудничество с Обществом по распространению знаний.

5. Переоценка жизненных ориентиров. Летняя сессия далась мне легко – слишком легко, как показалось мне. Я испытывал ощущение, что за истекшие четыре года своего обучения на литературоведческом отделении в значительной степени исчерпал все, что оно могло мне дать, и стал задумываться о том, чтобы перейти на другое, языковедческое отделение, таившее в себе возможность получения каких-то качественно новых знаний.

Это означало коренное изменение моего культивируемого с детских лет *omnea mea*. До сих пор изменения моего внутреннего мира происходили путем его расширения все более широким кругом сведений из области литературы и искусства. Связь между сопоставляемыми явлениями носила здесь ассоциативный характер. Достаточным было условие, чтобы они не противоречили друг другу; и чем более отдаленными и неожиданными были эти связи, тем больший интерес они приобретали в наших дискуссиях.

На этот же раз речь шла о перестройке самих структурных оснований моего *omnea mea* за счет выдвижения на первый план не просто возможных, но *необходимых* причинно-следственных отношений между явлениями объективной действительности, то есть о выработке нового для меня более строгого, *научного* способа мышления.

В течение первых двух недель пятого курса эта мысль набирала силу и наконец вылилась в то, что я написал заявление с просьбой перевести меня на лингвистическую специальность, не подозревая, насколько симптоматичным это решение было для моей дальнейшей профессиональной карьеры. Это было первым проявлением присущей мне в дальнейшем периодической смены ведущей сферы научных интересов, впоследствии повторяющейся каждые 7 – 10 лет моей жизни.

По-видимому, я интуитивно искал компенсации причиненного мне арестом отца жизненного ущерба открытием для себя все новых источников неиссякаемого духовного пополнения. «Надо знать все о чем-то, и что-то обо всем». Вторая половина этой формулы в особой степени будоражила мое воображение в качестве недосягаемого идеала, состоящего в обретении способности компетентно судить о возможно более широком круге значимых достижений человеческого духа.

Я с жаром приступил к чтению специальной лингвистической литературы, находя в ней элементы большей логической строгости рассуждения и доказательности, чем в ставшей привычной для меня мировоззренческой широте литературоведческого подхода. С увлечением проработал «Мысль и язык» Потебни, о которой сохранил ностальгическое воспоминание со вступительной лекции Ивана Михайловича при нашем поступлении на первый курс. Но окончательное подтверждение правильности своего решения получил после прочтения «Курса общей

лингвистики» Фердинанда де Соссюра. Это было скорее эстетическое, чем интеллектуальное восприятие: рассуждения, укладывающиеся в моем сознании в столь гармоничное целое, не могли не быть истинными. Я воочию убедился в справедливости интуиции Достоевского об идентичности гармонии, красоты и истины («Красота спасет мир»).

Моей выпускной дипломной работой на тему «Стиль повести А.П.Чехова “Степь”» руководила Франциска Леонтьева Фрадкина. В литературоведческий период своей учебы моим любимым писателем был Чехов, давший в своих компактных повестях и рассказах наиболее разностороннюю и правдивую картину сложного внутреннего мира русского интеллигента. Теперь я с особым удовлетворением занялся не общим описанием достигаемого им психологического и художественного эффекта, а скрупулезным анализом используемых писателем языковых средств. Мне оказался очень по душе предложенный Франциской Леонтьевной неторопливо-тщательный метод работы, начиная с разнесения по пронумерованным карточкам каждого отдельного предложения текста с отмечаемыми на оборотной стороне карточки стилистическими и языковыми особенностями именно данного предложения. Это был мой первый опыт интенсивной, «въедливой» работы с текстовым материалом.

В практическом плане мое освоение языковой стихии проходило в рамках лекторской деятельности по линии Общества по распространению знаний. В среднем я читал лекции приблизительно один раз в месяц, иногда чаще, в отдаленных, трудно доступных поселках Молотовской области, где более маститые члены Общества показывались редко, предпочитая получать лекторские направления в пределах города или в близлежащие к нему районы. Значительно больше времени и сил уходило у меня не на сами лекции, а на преодоление, посредством железнодорожного, автобусного и иных средств транспорта, далеких расстояний до места их проведения. Я не слишком сетовал на эти трудности, поскольку они давали мне возможность пополнить мое скудное знакомство с реальной жизнью «простых» людей за пределами большого города. Особую роль в этом отношении играл «гужевой» транспорт, обычно используемый на конечном этапе длительного пути к пункту назначения. Трясясь в телеге с запряженной в нее мохнатой лошадкой, я ощущал свою непосредственную сопричастность окружающему миру. Я соприкасался с природой не через окошко автобуса или железнодорожного вагона, а напрямую, пропуская каждый ее дюйм через свое живое восприятие. До сих пор в моей памяти стоят широкие панорамные виды красочной уральской природы с ее неровной поверхностью, пересеченной пологими скатами невысоких холмов, островками хвойных рощ и отвесными гранитными скалами по берегам Чусовой и Сылвы, памятными мне еще по фильму «Волга-Волга».

Не меньшее впечатление, чем картины природы, производила на меня раскрывающаяся бесконечная вереница разнообразных человеческих характеров и отношений. Я взял себе за привычку стремиться из каждой поездки выносить какое-либо яркое наблюдение о необычном повороте

человеческой судьбы, нестандартном поступке или происшествии или о каком-либо поразившем меня обороте речи. Однажды с новым для меня чувством собирателя образцов устного народного творчества я записал в свой блокнот: «Трактор сорвал дорогу» как пример живого образного разговорного синтаксиса.

Большая часть моих лекций была посвящена Н.В.Гоголю, столетие со дня смерти которого отмечалось в 1952 году и который был значительно более созвучен мне по стилю своего творчества, чем А.М.Горький. С каждой новой лекцией, выступая в различных условиях и перед самыми разными аудиториями, я постепенно преодолевал ошибки моего первого лекционного «блина-комом» и приобретал все большую уверенность в себе. Различные виды работы с текстами все в большей мере стали составлять основное содержание моей «внутренней среды». Не давая себе в этом ясного отчета, я интуитивно готовил себя к своей предстоящей профессиональной деятельности в сфере обработки устного и письменного слова.

В конце сентября наша семья получила извещение из Казанской психобольницы о кончине отца и немногие оставшиеся после него бумаги и документы. Он умер, так и не дождавшись официального решения суда. Меня охватили противоречивые чувства щемящей личной утраты и одновременно какого-то глубинного проникновения в трагическую сущность нашего человеческого бытия (памятуя слова отца при последнем нашем свидании в Перми о большом духовном облегчении, с которым он встретил бы конец своего земного существования, принесшего ему столько страданий). «Ныне отпущаеши!» – прозвучало в моем сознании библейское изречение.

После его посмертной реабилитации мы подали прошение о возвращении оставшихся после него вещей и документов. Вернули несколько фотографий и формальных справок. Особой болью в моем сердце отозвалась фотография, по-видимому сделанная с отца сразу же после ареста, с необыкновенной ясностью отражавшая его духовное состояние несломленности выпавшим на его долю испытанием, готовности психологически противостоять в неравной борьбе всей рати ополчившегося против него враждебного мира. Остро тронули меня письменные строки, обращенные к маме и свидетельствующие о безысходном одиночестве отца в его беспросветном заточении:

Пиши, мой друг. Пиши, хотя б немного.
Пиши, мой друг. Пиши хоть что-нибудь.

Однако столь значимых для меня записей отцовских мыслей я больше никогда не увидел. Среди возвращенных бумаг не нашлось ничего из философских записей папы. В моем представлении, в этом состоит подлинный, наиболее глубинный трагизм участи отца. В последние дни до ареста (по-видимому, предощущая каким-то шестым чувством надвигавшуюся катастрофу), он неоднократно рассуждал о «жертвенности» человеческой жизни: человек погибает, но дело и мысли его остаются живыми, и в этом подлинный смысл его существования. А здесь именно

мысли, накопленные на протяжении жизни, безвозвратно канули в небытие. Интеллектуальное наследие отца разделило безотрадную судьбу столь бездарно сгинувшей типографии. Мне отныне осталось лишь полагаться на свою память о далеких беседах с ним.

Чего бы я не отдал теперь, чтобы иметь хотя бы несколько пожелтевших от времени листков с записью того, что казалось отцу наиболее существенным в его жизни! Это было бы бесконечно ценным для меня не только как память об отце, но и в качестве исходной точки уже моих собственных размышлений в попытках постичь смысл жизни и тем самым установить преемственную духовную связь не только с отцом, но и, через него, с дедом, которого я никогда не видел. И невольно задумываешься над тем, какую неизмеримую, не оправдываемую никакими мало-мальски разумными доводами, потерю в человеческих жизнях и идеях понесла наша страна в эти тяжелые годы. Для меня отец остается одним из самых необычных и самобытных, типично русских людей, с которыми мне довелось близко соприкоснуться в жизни, резко выделяющимся своей постоянной духовной устремленностью к неким высшим идеям и целям.

Быстро пролетела зимняя сессия. Незадолго до выпускных экзаменов наша группа отмечала в общежитии день рождения Люси Рубинштейн и одновременно наше прощание со студенческой жизнью. К этому дню Миша Печерский написал стихи поздравления Люсе, воспринятые как прощальное напутствие всем нам:

Желаю тебе я по жизненной ниве
Пройти не споткнувшись походкой красивой.
Да так, чтоб в потомстве молва заходила
О славной походке прабабки Людмилы.

На выпускном вечере Иван Михайлович Захаров, со свойственным ему умением найти неформальные, соответствующие переживаемому моменту, доходящие до сердца слова, сказал при улыбчивом одобрительном понимании девичьей части присутствующих: «Ну, девоньки, вы получили дипломы и решили одну задачу вашей жизни. Теперь вам надо решить вторую задачу – вить гнездо, птенцов высиживать». Таким образом, Иван Михайлович, запустивший нас пять лет назад на стезю нашей студенческой жизни, поставил к ней финальную точку, знаменующую начало качественно нового отрезка нашего существования. И хотя это его пожелание было непосредственно адресовано женскому большинству курса, оно нашло отклик в мужских сердцах наших «гоплитов», поскольку мы стояли перед той же проблемой: наладить стабильный modus vivendi с внешним миром, доселе определяемым предписываемым нам учебным календарем, но отныне подступившим к самому порогу частной жизни каждого и требующим индивидуальных решений под свою личную ответственность.

На распределении мне предложили поехать на работу в Читу. После того, как я с таким трудом пустил корни в Перми, меня пугала перспектива снова начинать жизнь с нуля в другом месте. Я решил снова обратиться к Надежде Григорьевне Конюховой с просьбой дать заявку на направление

меня в Заочную вечернюю школу, где я уже проработал около полутора лет учителем английского языка. Она охотно согласилась. К некоторому моему удивлению, дело обошлось без каких-либо существенных формальных трудностей, и через несколько дней я имел официальный штамп в паспорте о постоянном месте работы в Заочной школе на должности учителя русского языка, литературы и английского языка.

Из моих уже знакомых по последним двум студенческим годам школьных сослуживцев, с исключительной душевной теплотой принявших меня в свой круг, особенно близкие дружеские отношения сложились у меня с Николаем Захаровичем Коротковым, сохранившиеся до настоящего времени. Коля Коротков, учитель русского языка и литературы, был одним из наиболее оригинальных и самобытных людей, с которыми мне довелось повстречаться в жизни. В его внешнем облике, при всей неподдельной «русскости» его характера, был отпечаток каких-то восточных истоков, воплощавший, в моем представлении, евразийскую составляющую русского национального менталитета. Ни до, ни после в своей жизни я не встречал человека с б*о*льшим отсутствием инстинкта самоутверждения, подчинения себе окружающих людей и внешних обстоятельств. Это сочеталось с исключительным богатством и глубиной его внутреннего мира. Ключ к пониманию этой своеобразной личности виделся мне в его обостренном – я бы сказал, эстетическом – восприятии быстротекущего настоящего мгновения во всей неисчерпаемой полноте его жизненного содержания. Мне порой казалось, что он впитывал в себя ощущения от самых обыденных бытовых ситуаций с чувством, аналогичным тому, с каким я слушал свои любимые музыкальные произведения или созерцал, в последний период моего увлечения живописью, натюрморты в исполнении великих мастеров кисти:

«Цветок благоуханный и простой,
Но отчего в нем голос бога внемлю?
Он будто часть музыки неземной,
Созвучьями спустившийся на землю».

Совсем по Гёте: «Остановись, мгновенье. Ты прекрасно!».

Коля был несомненно музыкален; но музыкальность его имела основание на каком-то глубинном, нерасчлененном grund-уровне души. Он мог подолгу сидеть за фортепиано, перебирая клавиши и вслушиваясь в обертоны случайно возникающих, одному ему слышимых созвучий. Но он ни разу при мне не высказывал сожаления, что не получил специального музыкального образования, или желания обрести таковое. Он был постоянным полноценным участником всех наших общих культурологических начинаний, непременным посетителем симфонических концертов и художественных выставок и вполне закономерно завершил свою преподавательскую карьеру заведующим кафедрой эстетики Пермского Политехнического института в должности профессора, доктора философских наук, пользующегося большим уважением своих коллег и студентов. К концу моей жизни я осознал, что он был один из двух-трех людей, оказавших

решающее влияние на формирование моей личности – не столько прямым воздействием на меня, сколько самим фактом своего существования в качестве онтологического противовеса моему бытию, ежедневное соприкосновение с которым в течение ряда лет служило своего рода энергетическим «заземлением», нейтрализующим многие эмоциональные эксцессы моей натуры и тем самым способствующим ее гармонизации.

Нашему сближению способствовало то обстоятельство, что Коля Коротков был издавна знаком с Мишей Печерским, а также, как выяснилось позже, с Ирой Богоявленской. Тем самым, у нас возник новый круг общения, заменивший мой прежний, студенческий. Мы стали часто бывать на Верхней Курье, как назывался малозаселенный правый берег Камы прямо против Перми, служивший благодаря своему песчаному пляжу любимым местом летнего отдыха горожан. Там мы подружились со светлоголовым Юрой Поповым (получившим у нас прозвище «Юры Беленького»), своего рода «Всезнайкой», стремившимся показать свою осведомленность о любом предмете, о котором заходила речь. Он часто «прогуливал» кого-то из нашей компании на яхте местного спортклуба «Якорь». Однажды при неудачном вираже яхта перевернулась, и все мы оказались в воде; некоторых закрыло парусом; к счастью, это произошло в нескольких метрах от берега и никто не пострадал.

Неожиданно я встретил среди заядлых яхтсменов ту секретаршу приемной комиссии, которая чуть было не подвела меня с кембриджским аттестатом пять лет назад при поступлении в университет. Она оказалась приветливой, словоохотливой женщиной, постоянно распевавшей:

Эй, капитаны, на палубу стаканы!
Бутылок батареи, чтоб стало веселее.

Она так и вошла в общение с нами под именем «Капитан». Мы с ней быстро сошлись, как старые знакомые, хотя до этого не встречались все предыдущие годы. Она стала агитировать нас организовать путешествие на яхте вниз по Каме до Сарапула с возвращением обратно на пароходе.

В августе Капитан напомнила нам о своем предложении. В этом году на Урале стояло исключительно теплое бабье лето, и мы с Колей Коротковым быстро согласились. Миша Печерский по каким-то обстоятельствам не смог присоединиться к нам. Нам удалось сагитировать Альбину, дочь нашей школьной учительницы химии, и получить согласие ее матери под наше заверение избегать малейшего риска. Таким образом, собралась команда: Капитан, мы с Колей, Альбина; пятым членом был двенадцатилетний подросток Вовка, кандидатура Капитана, который, по ее словам, сможет, если понадобится, взлезть на мачту или выполнять другие требующие мальчишеской сноровки задания в пути.

В день отплытия, назначенного на пять часов дня, нас пришли провожать родители Альбины, не скрывающие своей неуверенности насчет правильности данного ими согласия на это рискованное предприятие, и Миша Печерский. Не знаю, как у других участников экспедиции, но у меня начало сосать под ложечкой от смутного чувства неопределенной тревоги.

Но вот мы отчалили. Через четверть часа наша яхта проплыла под мостом. Впервые я воспринимал его не с берега и далекого расстояния, а так, что мог вытянутой рукой дотронуться до его громадных каменных опорных столбов. Вода реки, с берега казавшаяся зеркально неподвижной, с журчанием и завихрениями обтекала их. Вскоре последние следы города и всякого человеческого жилья исчезли из вида, и мы почувствовали себя первопроходцами необитаемой планеты. Решили пораньше устроиться на ночлег, чтобы как можно скорее адаптироваться к новым ощущениям. Для этого надо было найти на каком-то из двух берегов удобную бухту для причала. Это оказалось не таким уж простым делом. Берега по обеим сторонам были отвесными и неприступными. Но сам поиск подходящего пристанища отвлек наши мысли в привычное утилитарное русло и снизил возникшее при отплытии напряжение, так что, когда Капитан указала на приемлемое место ночлега, мы решили плыть дальше. Время шло. Начинало смеркаться. Нашли уютную бухту. Значительно раньше привычного, часов в девять устроились на свой первый ночлег. Спали, как убитые.

Проснувшись утром, я сразу почувствовал переполнявшее меня душевное состояние, которое не мог определить иначе, как непосредственную радость бытия. Открыв глаза, я несколько минут лежал неподвижно, боясь спугнуть это ощущение. Сквозь листву деревьев на берегу пробивались веселые лучи солнца, образуя сложную чересполосицу света и тени на поверхности реки. От вчерашних противоречивых переживаний не осталось и следа. На душе все было ясно, как это светлое утро. Позавтракав, поздравив друг друга с началом первого настоящего дня нашего путешествия, мы оттолкнулись от берега. Я занял место на носу яхты, на самой передней его части, так что весь корпус нашего судна остался позади, вне поля моего зрения, и я ощутил себя несущимся по воздуху над зеркальной водной гладью, не чувствуя под собой ни малейшего колебания яхты в силу полного безветрия. Мы плыли по самому центру реки. Мимо беззвучно проплывали живописные берега с обеих сторон. Разговоры на яхте сами собой затихли.

Меня поразило какое-то особое качество тишины, опустившейся как покрывало на землю, примирившей, казалось, все противоречия жизни и знаменовавшей собой не звуковую пустоту бытия, а его предельную полноту, чреватую всеми возможностями существования. Мне представлялось в это мгновение, что мне открылся подлинный смысл древнегреческого философского понятия me-on, «не-бытия», как бесконечной и бескачественной предпосылки всякого конкретного существования. Через множество лет я познакомился с греческим же понятием «исихия», обозначающим просветленное «духовное спокойствие, внутреннюю тишину», которое наилучшим образом соответствовало моему тогдашнему состоянию.

Почувствовав потребность в музыкальном оформлении охватившего меня настроения, я попросил передать мне аккордеон, захваченный нами, чтобы как-то скрасить путешествие. Не помню, чтобы я когда-либо еще

играл с подобным одушевлением. Можно представить себе впечатление какого-нибудь стороннего наблюдателя: бескрайние безлюдные просторы, медленно плывущее по реке парусное судно и поглощаемые как губкой этой емкой пронзительной тишиной звуки народных русских песен, составлявших мой несложный репертуар. Переживаемое чувство запечатлелось в моей эмоциональной памяти как живое ощущение потока времени, несущего на себе настоящее мгновение как щепку в безбрежный океан будущего.

В стихотворной летописи своей жизни, написанной им много лет спустя, Коля отобразил свои впечатления от нашего камского плавания в своей излюбленной поэтической форме сонета:

«Не знаю больше наслажденья,
Чем в яхте Каму разрезать,
Небес высоких отраженья
Волною легкою ломать.

Наш Юра больше не оракул,
Простой матрос, я – за рулем,
И по маршруту Пермь – Сарапул
Плывем на яхте впятером.

Коль спать – на яхте есть каюта
Не для вальяжного уюта,
Но теснота для нас не враг.

А днем костер – уха и каша,
И где-то рядом яхта наша,
На мачте ленточка, как флаг.

На третий или четвертый день нашего плаванья погода резко ухудшилась. На середине реки на наше судно внезапно обрушился ураганный ветер, постоянно меняющий свое направление. Надо было срочно причалить к берегу, чтобы переждать непогоду. Но как назло не видно было подходящего причала. Мы метались по реке от одного берега к противоположному, едва успевая по команде Капитана перебросить подвижной парус от одного борта к другому, чтобы изменить направление накренившейся яхты. Трудно было представить, что произошло бы, если бы судно зачерпнуло воды и перевернулось, как это однажды уже случилось в Верхней Курье с яхтой Юры Попова. Но каким-то странным образом ни у кого не возникло ни малейшего страха от сознания грозившей всем опасности. Наконец мы благополучно пришвартовались. До конца дня ни о каком дальнейшем плавании не могло быть и речи. На следующее утро погода как ни в чем не бывало утихомирилась. Лишь вернувшись в Пермь мы узнали из газет, что в тот роковой день на Каме произошло множество несчастных случаев со смертельным исходом. Я мысленно поблагодарил судьбу, что эти сведения не дошли ни до кого из наших родных, иначе не

подлежит описанию их душевное состояние в течение нескольких дней полной неизвестности о нашей судьбе.

6. Трагедия однокурсника. В сентябре Юра Суворов поступил в аспирантуру при кафедре философии Московского Университета и на ближайшее время вышел из прямого общения с нами. Это воспринималось всеми как большая удача. Пример Суворова катализировал зародившийся у меня на пятом курсе интерес к философии, особенно в древнегреческий период ее развития. Я усердно проштудировал известный в то время учебник Г.Ф.Александрова, сдал кандидатский экзамен молодым, недавно защитившемся философам Шершунову и Новику и, ободренный их положительным напутствием, поехал при первой подвернувшейся оказии в Москву прозондировать возможности своего поступления в аспирантуру. С этой целью я посетил Юру в его университетском общежитии.

Все в высотном здании МГУ поразило меня своими широкомасштабными габаритами. Юра встретил меня приветливо и стал охотно знакомить с планировкой своего двухкомнатного номера, рассчитанного на одного человека в каждой комнате. Видно было, что он гордится непривычными для нас, провинциалов, бытовыми удобствами. С особым удовольствием он продемонстрировал душевое оборудование и подробно объяснил, как пользоваться обслуживающими его импортными приборами. Подчеркнул круглосуточное наличие горячей и холодной воды и вытекающую отсюда возможность любому из двух обитателей номера принять душ в любое время дня и ночи. Тут же предложил мне опробовать душ, чем я, уставший от длительного переезда из Перми, не преминул воспользоваться. К вечеру мы вышли на близлежащий сквер, и Юра стал вводить меня в курс современных московских порядков. Основное внимание он почему-то уделил описанию случаев нестандартного поведения, нарушения общепринятых норм приличия со стороны как многочисленных иностранцев, заполонивших, по его словам, город, так и исконных москвичей. У меня даже сложилось впечатление, что он чуть ли не признает свободное от каких-либо внешних нормативов поведение показателем причастности человека к особой «касте», живущей по своим, только ей известным предписаниям чести и морали. Это настолько не соответствовало прежде известной мне выдержке и психологической уравновешенности Юры Суворова, что теперь, казалось мне, передо мной стоит какой-то малознакомый мне человек. Я пробыл в Москве еще два дня, пытаясь безуспешно наладить какие-то контакты с философским московским миром по данным мне в Перми адресам и телефонам, и вернулся домой со смутным представлением о противостоящих друг другу двух типов ценностных критериев и жизненных стилей, «столичном» и «провинциальном», с нерешенным вопросом: какой из них ближе мне и моим нравственным установкам.

Тем временем жизнь Юры Суворова принимала все более неожиданный поворот. У него произошел конфликт с каким-то рязанским философом, который обратился к нему с просьбой дать отзыв на его статью в преддверии

кандидатской защиты. Юра почему-то не ответил на его просьбу, за что получил отрицательный отзыв обиженного коллеги на одну из своих статей. Завязалась эпистолярная полемика со взаимными обвинениями в идеологической неортодоксальности. Юра посвящал меня во все подробности противостояния. Обдумывая эту информацию «из первых уст», «изнутри ситуации», я пришел к неожиданному для меня решению не связывать свою предстоящую научную судьбу с философией, находящейся под придирчивым контролем различных общественных инстанций, оставив занятия ею «для души», и найти себе другую сферу будущей профессиональной деятельности, допускающую больший диапазон внутренней независимости. Но какую?

На ум пришло мое недавнее переключение на языковедческую специальность. Однако я еще не успел достаточно глубоко вникнуть в сущность этого нового для меня предмета, чтобы реально прочувствовать таящиеся в нем перспективы. Мне требовалось сохранение уже многолетней связи с литературоведческим кругом интересов, но на более широком, качественно новом материале. Как только я четко поставил перед собой этот вопрос, как меня осенило – мировая литература. Мое свободное владение двумя иностранными языками, английским и французским, должно было послужить мне существенным подспорьем в этом новом начинании, органически вписывающемся в основное направление моего духовного развития. Весьма существенным дополнительным фактором, укрепившим меня в этом решении, было то, что преподаватель зарубежной литературы, Екатерина Осиповна Преображенская, уже давно привлекала мое внимание и симпатии высоким уровнем чтения лекций. Через маму Агиты Паздниковой я познакомился с прежде неизвестными мне именами и творчеством писателей Андре Жидом и Фейхтвангером. Первый привил мне интерес к эволюции идей и процессу развития человеческих личностей («Классицизм ценен только как преодоление романтизма»). Фейхтвангер увлек широкими обобщениями из эпохи раннего христианства и скрупулезным анализом субъективного процесса принятия решений («Кто, если не ты, и когда, если не теперь?»). Я стал интенсивно готовиться к вступительным экзаменам в аспирантуру по специальности «зарубежная литература» и весной послал документы в приемную комиссию Ленинградского Пединститута имени Герцена.

Тем временем стали доходить тревожные слухи о замечаемых у Юры Суворова «неадекватностях» поведения. Мне самому все чаще доводилось замечать во время его приездов в Пермь «отклонения от нормы» в его словах и поступках. Ему предложили взять временный «творческий отпуск» для поправки своего здоровья. Лечение не помогло. Дело кончилось тем, что он был признан больным шизофренией. Это известие как громом поразило всех, знавших его. Самая светлая голова среди нас оказалась неизлечимо больной! Наиболее цельный и «правильный» во всех отношениях человек из нашей среды, пользовавшийся всеобщим уважением и симпатией, кончил

психобольницей! Это не укладывалось в сознании и в какое-то представление о жизненной справедливости.

Строились бесконечные предположения о причине случившегося. Я имел на этот счет свою частную гипотезу, опираясь на свой личный опыт общения с ним в те роковые дни в Москве. Я считал – и до сих пор считаю – что если не прямой причиной, то одним из основных способствующих факторов, катализировавших трагедию, послужило резкое изменение психологической среды и ценностных ориентиров его жизненного окружения после окончания университета. Юра Суворов происходил из сибирской глубинки, где был воспитан в стандартной советской семье в духе верности общепризнанным идеалам. Внезапное перемещение его в социальную сферу, подверженную начавшемуся проникновению западных оценочных критериев в советское общественное сознание, привело к крутой ломке подсознательных основ его нравственных убеждений. Таким образом, Юра Суворов, в моем представлении, явил своей личной катастрофой одну из первых жертв, предзнаменующих грядущую перестройку советского менталитета по западным образцам.

История с болезнью Юры Суворова получила драматичный финал на очередной встрече нашей группы по случаю годовщины нашего выпуска из университета. Еще во время учебы Тоня Огорельцева была предметом доброжелательных шуток по поводу ее общеизвестной симпатии к Юре Суворову. Проживая теперь, кажется, в Челябинске, она впервые приехала на встречу бывших выпускников. Кто-то невзначай упомянул о недавно пережитой всеми трагедии Юры. Это привело к поразившей всех реакции Тони. С ней случился страшный приступ истерики. Оказывается, она впервые услышала о случившемся. Мы с трудом откачали ее. Когда она несколько пришла в себя, то, глотая слезы, произнесла: «Этого не произошло бы, если бы жизнь не разлучила меня с ним и мы были бы вместе». «И если бы он не уехал в Москву», – мысленно добавил я. Насколько мне известно, Тоня Огорельцева в дальнейшем так и не вышла замуж, хотя обладала открытым и общительным характером. Так завершилась линия человеческих судеб, связанных с трагической участью Юры Суворова, знаменовавшей для меня самую тяжелую, после страдальческой кончины отца, личную утрату того времени.

7. Свет в конце туннеля. Летом я поехал в Ленинград сдавать вступительные экзамены в аспирантуру. Сдал я их, на мой взгляд, неплохо, получив пятерки по всем предметам, кроме одной четверки по специальности. Но этого оказалось недостаточно. Приняли Диму Наливайко из западной Украины, из разговоров с которым я заключил, что он был подготовлен значительно лучше, чем я. Поэтому я не был обескуражен своей неудачей, которая, напротив, настроила меня решительней добиваться своей цели, ставшей для меня еще более желанной.

Когда по возвращении в Пермь я рассказал друзьям о своих ленинградских приключениях, на меня неожиданно обрушилась с упреками Элла Даниловская, подруга Иры Богоявленской. «Чего ты все стучишься в

запертую дверь? – возбужденно спрашивала она. – Так недолго себе и лоб расшибить. Подумать только: у человека огромное преимущество перед всеми нами – даром данное ему знание иностранного языка, а он упрямо тратит силы на ветряные мельницы. Это просто какое-то донкихотство. Тебе надо не упрямо лезть туда, где тебе все равно не дадут хода, а использовать то, что само собой просится. Получай высший диплом по иностранному языку, где тебе нет равных и куда никакой контролер не сунется, и живи себе припеваючи, поплевывая на всякие проверки!».

Элла Даниловская была своеобразным человеком, с решительным характером и твердыми взглядами на жизнь, на все возникающие у человека проблемы имела однозначные решения, которые осуществляла с редкой последовательностью и упорством. Она уже тогда, в относительно раннем возрасте, дважды побывала замужем и устроилась на работу в кордебалет оперного театра. Элла была мне симпатична своей прямотой, здравым смыслом и полным отсутствием ожиданий каких-либо проявлений «мужского интереса» с моей стороны, что позволяло мне чувствовать себя на редкость свободным в общении с ней. Слова ее направили мои мысли в непривычное для них русло. Действительно, подумал я, мое шанхайское прошлое до сих пор причиняло мне одни неприятности. Не пора ли попытаться обернуть его на пользу себе и своей жизненной судьбе? Особенно убедительными показались мне слова Эллы о том, что выбор английского языка в качестве основы моей будущей профессиональной деятельности гарантирует мне б*о*льшую независимость от внешних вторжений, чем любой другой. Когда я поделился своими соображениями с Екатериной Осиповной Преображенской, она одобрила их и сказала, что она находится в давних дружеских отношениях с Борисом Александровичем Ильишом, нашим виднейшим научным авторитетом в английской филологии, работающим в институте Герцена, обещав дать мне рекомендательное письмо к нему. Действительно, через несколько дней она передала мне весьма увесистое запечатанное письмо с его адресом и личным телефоном. В результате на протяжении 1955 года во мне крепло твердое решение изменить свою жизненную стратегию, перестать «плыть против течения», но идти к цели наиболее естественным и безболезненным путем. А философские и литературоведческие мои интересы, подумал я, никуда не денутся, но просто перейдут в сферу моего *omnea mea.*

Незадолго до нашего путешествия по Каме в наш дружеский круг вошла Эмма Пономарева, студентка выпускного курса Медицинского института, и ее сокурсник Изя Гиндис. Оба были увлечены психиатрической теорией З.Фрейда и предложили познакомить нас с этим учением, начинающим входить в моду в нашей стране. Мы собрались на квартире у Коли и с интересом выслушали их сообщение, после которого как-то сама собой возникла идея собираться время от времени для обсуждения интересующих нас культурологических вопросов. Даже придумали шутливое название такого импровизированного кружка: «Зеленая Бутылочка», по аналогии с «Зеленой Лампой» пушкинских времен. Эмма сказала, что привлечет к

участию в кружке своих друзей, живших по соседству с ней в районе Запруда, Риту Баишеву и Владимира Дюкова.

Как-то естественным образом Эмма с самого начала стала выполнять функцию «хозяйки салона». Всеми особенностями своей личности она подходила для этой роли. Неизменно приветливая и доброжелательная, ровная в обращении со всеми окружающими, умеющая сглаживать возникающие разногласия, она на протяжении краткого существования нашего кружка была его связующим началом. К ней сразу же прочно пристало имя «княгиня Эмма», данное ей Колей в написанном им «Гимне “Зеленой Бутылочки”», к которому я сочинил мелодию:

Княгиня Эмма, затянем песню
И тост поднимем, все ждут давно.
Спор надоел нам, ведь интересней
Вести беседу, пить вино.

Первым тостом утвержденная
В честь искусства, дружбы и нау- ук,
Эх, Бутылочка Зеленая,
Не покидай наш кру- у- у- уг!
Эх, Бутылочка Зеленая,
Не покидай наш круг.

Мы втроем с Мишей несколько раз прорепетировали песню у меня дома и с большим воодушевлением спели ее на нашей первой встрече. У нас установился определенный распорядок дня для подобных «тусовок» приблизительно раз в месяц на дому у Коли, обладавшего наилучшим жильем из всех нас. Мы собирались часа в три, накрывали праздничный стол и отправлялись на лыжную прогулку в соседний лес. Часа через два возвращались, разгоряченные, и с особым рвением обсуждали ту или иную проблему из истории культуры. Вскоре к нам присоединились Костя Лоскутов, внушавший всеобщую симпатию своей непритязательной естественностью обращения, и Лида, сразу получившая прозвище «Помпон» из-за своей яркой шапочки с шерстяным круглым комочком на макушке. Лида была убежденной практикующей последовательницей одной из разновидностей индийской хатха-йоги, убежденно доказывающей всем материальную природу психической энергии, основанной на дыхании, «пране». И уж конечно не преминул принять самое активное участие в нашем предприятии, столь созвучное его природному коммуникабельному темпераменту, Юра Попов.

Я обычно брал на себя сообщения по древнегреческой философии. Эти камерные дискуссии сыграли существенную роль в становлении лекторского стиля тех из нас, кто был непосредственно связан с преподавательской деятельностью, то есть, в первую очередь, Коли и меня. Я сохранил привычку сочетать лыжные прогулки с последующими «интеллектуальными застольями» на все последую,щие годы. Эмма много лет спустя, сохранив отсвет нашего тогдашнего «зелено-бутылочного» духа, писала уже в пенсионном возрасте:

«Я помню, был у нас притон
Ученых и поэтов.
Немало было мне при том
Посвящено сонетов.
Бутылка тонет и всплывет,
Но не пойдет она на дно.
И снова юность оживает.
“То было недавно, то было давно”.

Значительная доля общей для всех нас ностальгической памяти об одном из наиболее ярких периодов нашего прошлого звучит в следующих ее словах:

«Все реже видим мы друзей.
Все разбрелись, кто насовсем, а кто в Европу.
Остались мы, да воробей.
Такая тишина, как при потопе.
Живем по-прежнему, то нам не в укоризну.
Бредем по миру мы, как призрак коммунизма».

1956 год застал меня на пороге становления новых глубинных жизненных установок, постепенно вызревавших во мне с момента ареста отца в апреле 1951 года. Я окончательно утвердился в решении связать свое профессиональное будущее с изучением английского языка. В личностно-мировоззренческом плане также сформировалось стабильное представление о той жизненной ситуации, в которой я нахожусь. Она приняла вид четкого противопоставления свободного внутреннего «мира-в-себе», нашедшего проявление в нашем новообразованном культурологическом кружке, внешнему «миру-необходимости». В этом смысле образ «бутылки» в качестве материальной преграды, разделяющей эти два мира, приобретал для меня символическое значение.

Что касается самого внешнего «мира-необходимости», представлявшегося до сих пор гранитно неподвижным и монолитным, то в нем начали ощущаться какие-то малозаметные колебания и изменения. Прошедший в 1956 году XX съезд КПСС, в отличие от всех предыдущих, подготовка к которым и сам процесс их проведения широко освещались в прессе, был покрыт каким-то покрывалом неясности и недосказанности, порождающих столь же неопределенные слухи. Наконец, 30 июня 1956 года было опубликовано официальное постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий», как громом поразившее советское общество. Лично для меня оно знаменовало начало изменения моего бескомпромиссно неприемлющего отношения к советской действительности.

Выявилось, что окружающий мир не противостоит лично мне в качестве единого монолита и что многие соотечественники находятся в том же положении, что и я. Это не снижало остроту понесенной утраты, но существенно меняло ее смысл. Пережитое вписывалась в общую судьбу страны. России теперь персонифицировалась как корпоративная личность со своей неповторимой судьбой, связанной со многими тяжелыми испытаниями в прошлом и настоящем, непосредственными участниками одного из

которых довелось быть нашей семье. Родилось ощущение своей причастности к многовековому национальному процессу как в его светлых, так и теневых проявлениях. Прежнее восторженное, некритическое восхищение всем советским сменилось стремлением понять русскую историю как единое целое, осознать современную действительность не столько в ее противопоставленности дореволюционному прошлому, как в качестве его закономерного продолжения и развития. В конечном счете задача стала видеться в принятии факта нашей состоявшейся истории «так, как она есть» и в увязке с ней смысла своего личного существования. Девиз «Познай самого себя» понимался теперь применительно не только к индивидуальному, но и к национальному самосознанию.

Для меня это обозначало полный переворот в моих сложившихся представлениях. Оказалось, что пережитая мною персональная утрата была не только моей личной катастрофой, но имела корпоративный характер и представляла собой лишь частный случай общей трагедии миллионов моих соотечественников. Таким образом, случившееся не только не выделяло меня из окружающих, но напротив, объединяло нас, как «товарищей по несчастью». Более того, я как никогда почувствовал себя живым участником русской тысячелетней многотрудной истории, изобиловавшей подобными трагическими перепадами. Мое личное *omnea mea*, усиленно культивировавшееся мною с ранних лет, теперь предстало передо мной не как некое уникальное, присущее только мне субъективное явление, но в качестве органической части общенационального «*omnea nostra*», служащего одновременно итогом и движущей силой нашей истории. Это был резкий скачок от крайнего индивидуализма к выстраданному горьким опытом специфически русскому чувству *соборности*, интерпретируемой мной в терминах музыкальной гармонии: подобно тому, как музыкальный аккорд состоит из качественно различных нот, образующих в своем сочетании некое единство высшего порядка, так существует абстрактное высшее единство общенационального *omnea nostra*, объединяющего бесчисленное множество внутренних «миров-в-себе» в качестве «русской идеи», являющейся одновременно итогом и движущей силой нашего корпоративного бытия.

На фоне этого духовного прозрения в следующем 1957 году я с особым одушевлением стал готовиться к вступительным экзаменам в аспирантуру при кафедре английской филологии Ленинградского педагогического института имени Герцена. В качестве вступительной письменной работы я послал анализ языка и стиля Голсуорси, написанный мною не на русском языке, как это требовалось по правилам, а на английском, чтобы попытаться продемонстрировать свое свободное владение языком.

Весной, перед моей поездкой в Ленинград, мы своей обычной компанией поехали отдохнуть в деревню Кыласово. Там Элла Даниловская как-то обратилась к нам с Колей в своем привычном назидательном стиле: «Что вы все болтаетесь летом по местным деревням? У вас уникальный двухмесячный отпуск, другой давно бы на вашем месте исколесил всю страну вдоль и поперек!». Эти слова подхлестнули нас, и мы отправились в

ОблОНО, где получили две «горящие» путевки на конец лета в Анапу. На самом деле это была одна двадцатичетырехдневная путевка, разделенная на две части, первая из которых была выписана на имя Коли, вторая на меня.

В начале лета я поехал в уже ставший родным и знакомым Ленинград, где сдал вступительные экзамены на круглые пятерки. Мне запомнился следующий эпизод. На экзамене по специальности в своем ответе по роману Дж. Мередита «Эгоист» я упомянул характеристику, которую дала главному персонажу покровительствующая ему блюстительница светских условностей высшего английского общества: «He has a leg». Борис Александрович Ильиш попросил меня разъяснить эту метафору. Выслушав мой комментарий, он, как мне показалось, одобрительно кивнул головой и вскоре прекратил мой опрос. Я намеревался через некоторое время после экзамена передать ему письмо от Екатерины Осиповны Преображенской (чтобы Ильиш не заподозрил меня в попытке как-то предрасположить его перед решающим экзаменом в мою пользу); но какое-то внутреннее чувство долго удерживало меня от этого.

Приближались сроки нашей оговоренной поездки в Анапу. Передо мной встал вопрос: дожидаться ли официального приказа о зачислении в аспирантуру, пожертвовав своей туристической путевкой, или немедленно ехать в Анапу? Я обратился с этим вопросом к председателю общеинститутской приемной комиссии. Он заверил меня, что я имею все основания считать себя зачисленным в аспирантуру по кафедре английской филологии. Заручившись этим заверением, я отправился на свой летний отдых. Здесь в очередной раз проявилась свойственная мне жизненная беспечность.

9. «От Перми до Тавриды». После замкнутости моего шанхайского жизненного пространства, поездка до Анапы восполнила уже сложившееся представление о беспредельной сибирской протяженности России от Дальнего Востока до Урала не менее впечатляющим восприятием ее необъятности в другом направлении – с севера на юг. По приезде мы отправились с Колей осваивать местный пляж. С севера дул весьма пронзительный ветер, характерный, по словам местных жителей, для Анапы в данное время года. Менее привычный, чем мой спутник, к холоду в силу своего субтропического детства, я долго не мог решиться раздеться для купания. Во мне стало вызревать подспудное желание на ближайшие полмесяца, до наступления моего срока по путевке, найти какое-нибудь другое место своего пребывания, более соответствующее моим представлениям о южном тепле. Узнав, что близлежащий порт Новороссийск связан удобными морскими маршрутами с Крымом в западном направлении и с Кавказом в восточном, я решил использовать выдавшееся свободное время для знакомства с пушкинским Югом России («Тавридой» и «Колхидой»). На следующий день я был уже в Новороссийске, где прочел в расписании морского вокзала, что ближайший пароход на Сочи отправляется лишь через двое суток, тогда как морской трамвайчик на Ялту стартует

ежедневно ранним утром. Таким образом, мой вопрос решился в пользу «Тавриды».

Поскольку на сегодняшний рейс я уже опоздал, то решил посвятить день ознакомлению с Новороссийском. Но прежде всего надо было обзавестись ночлегом на одну ночь. Оказалось, что на всем курортном черноморском побережье России, население которого в основном жило в летний сезон за счет наплыва туристов со всей страны, существует общепринятый единый тариф: один рубль за одно спальное место в сутки. Основным местом отдыха жителей Новороссийска была так называемая «Коса». Она представляла собой огромный пляж, далеко выступающий в открытое море. К моему удовлетворению, ощущался лишь легкий, освежающий ветерок. Вода, в отличие от желтовато-глинистых волн пришанхайского Чапу, была прозрачной и подлинно морского, синеватого цвета. Солнечный день, безмятежно проведенный на «Косе», запомнился мне как полное отключение ото всех бытовых забот.

Прибыв на следующее утро на морской вокзал в Ялте, я прочел о регулярном курсировании через каждые два часа морских трамвайчиков от Алушты до Фороса, то есть на протяжении всего наиболее густо заселенного туристами берега Крыма. Чтобы выбрать наиболее приглянувшееся мне место отдыха на ближайшие десять дней, я дождался прибытия из Алушты очередного пароходика и сел у самого его правого борта, чтобы обеспечить себе максимально широкий обзор берега. Я сразу обратил внимание на обилие торчащих из моря вблизи береговой линии отвесных скал различной величины и самой причудливой формы. Из всех населенных пунктов наиболее привлекательным показался мне Симеиз своим небольшим защищенным от моря заливом и высокой скалой непосредственно соединенной с берегом каменным переходом. На обратном пути пароходика я высадился на берег. Найдя себе жилье на склоне небольшой возвышенности с широким видом на море, я впервые после своего приезда в Анапу почувствовал себя «на месте», обретшим какую-то, хоть временную, но стабильную точку пребывания в непрестанно меняющемся внешнем окружении.

Было лето 1957 года. Крым был лишь недавно передан из управления РСФСР в состав Украины. Все названия городов, улиц, вокзалов, магазинов и т.д. были соответственно представлены на двух языках, украинском и русском. Я быстро усвоил украинские наименования и не испытывал никаких трудностей в общении, тем более что жители Крыма поголовно говорили по-русски. Помимо ежедневного многократного купания в море, с наступлением прохладных сумерек я любил забираться по пологой тропе у дома на вершину невысокой крымской горной гряды и сидеть там на облюбованном камне до наступления ночной темноты, чтобы затем спуститься по освещенному луной склону к своему спальному месту в небольшом открытом небу палисаднике за хозяйским домом. В наиболее жаркие часы дня, после купания я часто лежал, читая, в тени его деревьев, сохранив на

многие годы привычку читать в окружении красивой природы, видя в этом эталон настоящего отдыха.

Через десять дней я вернулся в Анапу. Первоначально я почувствовал определенное облегчение от того, что с моих плеч была снята забота обо всех материальных условиях моего существования. Ощущению блаженного благополучия способствовало почти полное прекращение холодного сквозняка с севера. Однако вскоре я испытал растущую внутреннюю неудовлетворенность строгой размеренностью распорядка дня. Коля продлил на второй срок свое пребывание в пансионате. Он обзавелся за истекшие полмесяца целым рядом друзей, с которыми перезнакомил меня, так что я оказался среди уже устоявшейся веселой компании, беззаботно проводящей время в стандартных курортных развлечениях.

Незадолго до отъезда из Анапы пришла телеграмма из Перми от мамы, поздравлявшей меня с зачислением в ленинградскую аспирантуру. Лишь много позднее я узнал, что первоначально вместо меня приняли в аспирантуру члена профсоюзного комитета института, и только по ходатайству кафедры в Министерство мне было выделено дополнительное место. Так, в который уже раз моя судьба решилась стихийным образом, без какого-либо личного моего участия.

Когда я прибыл в конце августа в Ленинград, меня поразила какая-то необычная суматоха на Дворцовой площади: с окаймлявшего ее полукругом здания Генерального штаба в суетной спешке снимались портреты многих членов Политбюро. Оказалось, что только что в Москве состоялась неудачная попытка сместить Н.С.Хрущева с поста Генерального секретаря КПСС, и все участники «заговора» во главе с В.М.Молотовым были лишены власти. Одним из последствий было официальное возвращение городу Молотову его исконного наименования «Пермь».

Этим заключительным событием завершился мой первый, почти девятилетний отрезок жизни на Родине, связанный с городом на Каме («от Перми до Тавриды»). Он характеризовался моим постепенным вживанием в новообретенную родную почву, в процессе которого были заложены мировоззренческие основы моей личности. Эти основы носили не абстрактный характер, но преломлялись через личностные особенности конкретных людей, с которыми сталкивала меня жизнь. Поэтому мысленное прощание с Пермью состояло у меня, прежде всего, в размышлениях о жизненных судьбах моих спутников по пермской жизни.

10. Конец Пермского периода. Прежде всего, я должен был осмыслить в контексте общенационального *omnea nostra* страдальческую участь моего отца. Я пытался применить к нему самому его рассуждения о единстве духовных и физических законов жизни. Необычность многих его взглядов и принимаемых решений теперь виделась мной ценой, которой приходилось ему расплачиваться за нестандартность его натуры, составлявшей причину как несомненной одаренности его личности, так и постоянно сопутствовавших ему конфликтов с окружающими, приведших в конечном счете к его трагической гибели. С другой стороны, трагический финал Юры

Суворова представлялся мне примером в противоположном смысле, в значительной степени определяемым, в отличие от отца, не повышенной мобильностью его внутреннего мира, а наоборот, чрезмерной неподвижностью усвоенных с детства убеждений, неспособностью адекватно адаптироваться, сохраняя прежние нравственные устои, к резким изменениям внешней социальной среды.

Изменения, происшедшие в биографиях других моих сотоварищей по пермской жизни, за исключением рано ушедшей из жизни Бэлы Рославлевой, носили менее драматичный характер. Владимир Лепескин долго еще проработал в органах народного образования и завершил свою карьеру директором престижной английской школы. Саша Воробьев со временем стал деканом журналистского факультета Московского университета. Лена Попова (Полякова) защитила докторскую диссертацию и некоторое время работала заместителем декана нашего филологического факультета. Миша Печерский изменил поэтическому началу своей жизни, защитил кандидатскую диссертацию и сделал успешную карьеру в сфере педагогики. Его последние годы, омраченные тяжелой болезнью, были облегчены самоотверженной заботой его жены Люси, дарованной ему милостивой судьбой.

Знаменательным представляется конец жизни Тони Огорельцевой. Лора Сивкова, бдижайшая подруга Тони, рассказывала, что в течение ряда лет в дни своего рождения получала за подписью своей студенческой подруги телеграммы с приблизительно одинаковым поздравительным текстом, но без указания обратного адреса, и у нее сложилось впечатление, что той уже давно нет в живых и что она поручила кому-то из близких людей посылать в назначенный день поздравления Лоре – и через нее всем нам – «с того света».

Мне ничего не известно о дальнейшей жизненной судьбе Володи Четверикова, о том, насколько достойно он сумел распорядиться своим поэтическим даром, наглядное представление о котором дает следующая вдохновенная лирическая элегия нашему общему студенческому прошлому, сочиненная им 13-го декабря 1959 года на одной из последних встреч наших бывших однокурсников:

Я снова старинный свой круг узнаю
И снова встречаю, волнуясь,
Студенчества славную пору свою,
Свою позабытую юность.
И снова назад убегают года.
Их ноша, как прежде, легка нам,
Как будто из сказки живая вода
Налита по нашим стаканам.
Так пусть же теснее смыкается круг
Старинных друзей и хороших подруг.
Мы молоды, вместе и те же,
Хоть встречи все реже и реже.

Третий круг. ГОРОД НА НЕВЕ

«У финских хладных скал…»

1 сентября 1957 года начался новый, трехлетний отрезок моей жизни, протекавший в Ленинграде. Я должен был освоиться с новым для меня чувством, что нынешнее мое пребывание в Ленинграде, в отличие от предыдущих моих приездов, является не быстротечным и обреченным на скорое прекращение, но составляет самую повседневную прозу жизни, с которой мне надлежит согласовать свое дальнейшее обыденное существование. Меня несколько удивило, что успешное завершение моих усилий и обретение города своих давнишних стремлений в качестве постоянной среды обитания, не породило ожидаемого радостного ликования. Каким-то подспудным ощущением я вдруг осознал, что впервые в жизни оказался совершенно одиноким перед лицом громадного мегаполиса, равнодушного к моей дальнейшей судьбе, вне оберегающего меня заслона семьи и привычного окружения, и эйфория по поводу сбывшейся мечты уступила место чувству глухой безотчетной неопределенности.

1. Невский проспект. На кафедру английской филологии, кроме меня, были зачислены три очных аспиранта – Василий Михайлович Вронский, Галина Семеновна Качкина, Лидия Петровна Семенова – и одна заочница, Вера Михайловна Аринштейн. В.М.Вронский был ветераном Великой отечественной войны с поврежденной от ранения левой рукой. Он сразу ассоциировался в моем представлении с пермским Володей Лепескиным, что способствовало нашему быстрому дружескому сближению. Имя Вронского было мне знакомо еще по вступительным экзаменам: ходили слухи, что он пришел в аспирантуру с наполовину законченной диссертацией. Г.С.Качкина, едва не лишившая меня места в аспирантуру, была членом институтского профкома, оказавшаяся очень добродушной, общительной женщиной. Л.П.Семенова была скорее замкнутым, неразговорчивым человеком. В целом мы быстро нашли общий язык и образовали сплоченную по общим научным интересам группу

Первоначально нас с Вронским временно поселили в числе семерых вновь зачисленных аспирантов различных специальностей в большом общем зале в здании, находящемся у выхода с территории Герценовского пединститута на Невский проспект прямо у полукруглой колоннады Казанского собора. Примерно через две недели, после ряда переселений мы все стали постоянными обитателями вновь отремонтированного двухэтажного аспирантского общежития по 3-4 человека в комнате. Моими соседями по комнате № 36 оказались Дмитрий Наливайко с Украины, зачисленный в аспирантуру за год до моего поступления, и Адольф (Адик) Урбан из Риги. Моего однокурсника Вронского зачислили в другую комнату.

Лишь позднее я в полной мере оценил то, что судьба подарила мне редкую привилегию в течение трех лет иметь постоянное местожительство не в каком-то отдаленном районе Ленинграда типа Невских Ворот, как это

было в мой предыдущий приезд на вступительные экзамены, а в самом его историческом средоточии, буквально в пределах пятиминутной ходьбы от его основных культурологических центров. В течение всего моего последующего пребывания я в принципе имел возможность не выходить за рамки трехквартального отрезка Невского Проспекта, от набережной реки Мойки до его перекрестка с Садовой улицей, для удовлетворения всех своих бытовых и культурных потребностей.

В последующие три года мне довелось встретиться и войти в близкие отношения с людьми, имена которых мне были задолго до того известны. Это были, прежде всего, Борис Александрович Ильиш, на монографиях которого возросло несколько поколений наших отечественных англистов, человек большого личного обаяния и эрудиции, и Ирина Владимировна Арнольд, ведущий лексиколог, по учебнику которой я готовился к вступительным экзаменам в аспирантуру. Особую роль в моей жизни сыграл мой научный руководитель, Игорь Евгеньевич Аничков.

Первые мои полтора года были безраздельно посвящены «читательскому промискуитету», как иронично называл это характерное для начинающих аспирантов явление Борис Александрович Ильиш. Публичная библиотека, в трех кварталах от аспирантского общежития, была вторым, если не основным, моим домом. Горы разнообразной литературы ежедневно выписывались из книгохранилища. Усвоение прочитанного было не столь эмоционально-личностным и не столь глубоко затрагивало и преобразовывало основы моего существа, как в период духовного кризиса шестилетней давности в Перми после ареста отца; но по объему пропущенной через себя информации трехлетний ленинградский период моей биографии заложил основы всего моего дальнейшего интеллектуального развития.

Памятуя о своем прошлогоднем крутом переходе с литературоведческого на лингвистическое отделение университета, я сделал следующий шаг в эмансипации своего *omnea mea,* признав возможность качественно различных его вариантов как проявлений какого-то еще более глубинного и постоянного начала моей личности. Наиболее адекватное обозначение этого константного личностного первоначала я нашел в английском слове «self», приблизительно соответствующем субстантивируемому местоимению «я». В моем представлении это «я» каждого человека служило постоянным носителем различных его «*omnea mea*», смена которых была возможной в ключевые моменты его жизни, служащие его «оазисами свободы».

Помню, как к концу очередного дня интенсивного чтения в «публичке» (по словам стороннего наблюдателя, в своем чтении я «походил на всадника, оседлавшего книгу как необъезженного коня»), я покидал библиотеку с чувством духовной насыщенности за четверть часа до ее закрытия и выходил на Невский Проспект, утративший к позднему часу свою обычную дневную сутолоку. В иные вечера, пользуясь практически полным отсутствием на Невском всякого транспорта и прохожих, приближаясь к Мойке, я выходил

на его проезжую часть и с особым «хозяйским» чувством неторопливо шел на возвышающуюся прямо передо мной, освещенную прожекторами Адмиралтейскую Башню, вдыхая с каждым шагом неповторимую ауру сказочного города. В такие мгновения, перемежающие явь с виртуальным прозрением, под влиянием белых ночей у меня сложился полупризрачный образ «полуночного “града Китежа” на Неве».

2. Пермское землячество в Питере. За год до моего приезда в Ленинград мой пермский друг, Юра Филатов, поступил в аспирантуру того же Герценовского пединститута на кафедру литературы. При нашей встрече он весьма равнодушно выслушал мои восторженные отзывы о крымской природе, сказав, что в России есть только два места, достойные нормального человеческого проживания – Ленинград и Москва, и выразил решимость ни на один день, ни в жару ни в холод, не покидать Ленинграда на всем протяжении своей жизни. На мой вопрос, а как же тогда быть с его излюбленными импрессионистами, писавшими пейзажи не в своих мастерских в Париже, а за его пределами, на живой природе, уверенно ответил, что различные виды природы имеют эстетическую ценность не в своем «сыром», фотографическом облике, а только в преобразованном кистью художника образе, то есть в качестве музейного экспоната.

Я узнал, что за истекший год он женился, обеспечив себе постоянную прописку и местожительство в Питере. Возможно, чтобы подчеркнуть значимость для него последних его вышеприведенных слов, через несколько дней Филатов пригласил меня посетить его в новообретенном жилье. В тот день жена его почему-то задержалась на работе, и он принял меня в присутствии своей тещи. Это была весьма странная «чайная церемония». Мы разместились по три различные стороны довольно обширного стола, я слева от Филатова и справа от его тещи. Теща была, очевидно, весьма критически настроена к своему тестю и, не стесняясь моим присутствием, резко отчитывала его за малое радение о материальном достатке семьи. Филатов с невозмутимым видом выслушивал ее очередную тираду, затем вне всякой связи с ее словами спокойно продолжал вести обсуждение со мной какой-то искусствоведческой темы. Мне оставалось лишь поворачивать голову то в одну, то в другую сторону и пытаться по возможности поддерживать эту полифоническую беседу на два фронта. К счастью, вскоре вернулась жена, мы какое-то время проговорили на общие темы; наконец, я поблагодарил за гостеприимство и попрощался.

В ближайшие дни я обнаружил наличие у себя некоторого существенного преимущества перед Филатовым и многими другим моими аспирантскими коллегами. Оно состояло в моем знании двух иностранных языков, английского и французского. У нас установился своеобразный информационный симбиоз. Я выборочно пересказывал ему наиболее интересные места из прочитанного, а он знакомил меня с новыми именами и проблемами. Так, по его подсказке я прочитал отсутствовавший тогда в русском переводе модернистский роман О.Хаксли «Контрапункт», и мы занялись сопоставлением его изощренной композиционной и образной

структуры с переведенным романом А.Жида «Фальшивомонетчики», причем я отдавал предпочтение английскому автору, он – французскому. В романе А.Жида мне надолго запомнилась сцена кораблекрушения, виденная глазами маленькой девочки, где переполнившую спасательную лодку пассажиры обрубали топором кисти рук судорожно цепляющихся за борта шлюпки утопающих, грозящих перевернуть утлое судно. Над девочкой до конца ее жизни довлело болезненное сознание необходимости безжалостно отсекать от себя тяжелые воспоминания, несовместимые с нормальным человеческим существованием. Немало времени ушло у нас на анализ книги Эрлиха «Русский формализм» («Russian formalism»), послужившей мне пропедевтическим вступлением в мало знакомый модернистский аспект русской литературы конца XIX-го – первых двух десятилетий XX-го веков.

По ходу наших обсуждений Филатов познакомил меня с Володей Альфонсовым, аспирантом кафедры литературы, уже успевшим завоевать себе авторитет одного из самых многообещающих молодых исследователей творчества А.Блока. Альфонсов был нашим общим пермским земляком, но не по университету, а по тамошнему пединституту. В отличие от нас, он неохотно распространялся о своих жизненных, в частности – научных убеждениях. Он критически относился к входящему в моду цитированию западных ученых по различным аспектам русской литературы, особенно тех, которые относились к изучаемой им эпохи. У него была аллергия к чрезмерно обобщенным, закругленным формулировкам, как бы отсекающим возможность дальнейшего обсуждения. Его излюбленной репликой в наших словопрениях было: «Мысль произнесенная есть ложь».

По мере дальнейшего общения с ним я пришел к выводу, что конечной задачей литературоведческого исследования Альфонсов считал не подведение рассматриваемого текста под какую-то абстрактную объяснительную схему, а в создании самодостаточного авторского текста, который представлял бы такой же интерес для читателя, как и исходный литературный опус. Соответственно прочитанные мною статьи Альфонсова производили впечатление некоторого автономного сочинения, относительно независимого от анализируемого им текста и в каком-то отношении «конкурирующего» с ним своей самостоятельной смысловой значимостью. Альфонсов видел истоки художественного произведения не в действии каких-то объективных законов, а в сугубо индивидуальных личностных факторах, присущих его создателю и подлежащих выявлению лишь путем скрупулезного изучения всей совокупности случайных ассоциаций, влияний и предпочтений автора. Таким образом, если Филатов еще с пермских времен виделся мне в качестве искателя элементарной ячейки словесной художественной формы (в виде анекдота), то теперь Альфонсов представлялся мне не менее последовательным поборником литературоведческой теории свободной эстетической импровизации «по поводу» некоторого литературного произведения.

Филатов и Альфонсов, имевшие жилье в городе, не проживали в общежитии, но были постоянными посетителями нашей комнаты, Филатов

через дружеские отношения со мной, Альфонсов – с Адиком Урбаном. Вскоре к числу наших «прихожан», в числе других, как-то явочным порядком присоединился общительный Миша Хейфец, городской аспирант. Думаю, что не погрешу против истины, если выскажу предположение, что благодаря им в конце пятидесятых годов шестое аспирантское общежитие герценовского пединститута и, в частности, ее тридцать шестая комната представляли один из притягательных центров интеллектуальной жизни, выходящим за локальные пределы нашего непосредственного круга общения. В вечерние часы, после того как пустели читальные залы публичной библиотеки, комната постепенно наполнялась табачным дымом и сменяющими друг друга посетителями из других комнат общежития и различных районов города. Оживленные дискуссии по различным темам зачастую смолкали лишь за полчаса до закрытия ближайшей станции метро «Невский проспект». Иногда кто-то из «прихожан» оставался ночевать на четвертой, свободной кровати комнаты. Часто проводились импровизированные голосования по определению наиболее влиятельных деятелей того или иного вида культуры некоторой эпохи, как правило – современной. Результаты одного такого голосования оказались несколько неожиданными для меня: наиболее значимыми представителями русского поэтического «Серебряного века» были признаны Блок – что не было удивительно в силу общепризнанного авторитета Володи Альфонсова, – но также Маяковский, идеологически заангажированный «поэт, революцией мобилизованный и призванный». Это определило в дальнейшем мой повышенный интерес к личности и творчеству Маяковского и понимание независимости эстетической оценки произведений искусства от политических взглядов его деятелей.

Близким к нашему кругу был Володя Жельвис, аспирант второго курса по кафелре английской филологии, неутомимый организатор широко посещаемых встреч аспирантской общественности с различными представителями ленинградской творческой интеллигенции, то есть продолжавший, в моем представлении, но только в поистине столичном масштабе, знакомую мне по Перми традицию «Зеленой бутылочки». Особое впечатление на меня, как и на многих других, произвело иллюстрированное красочными слайдами выступление двух молодых архитекторов о современном реставрационном зодчестве, творящем подлинные чудеса по реанимации архитектурных шедевров прошлого, восстановлению их нарушенных с течением времени пропорций и буквальном переносе их с места на место на весьма значительные расстояния.

Не меньшее впечатление оставила встреча с Риммой Казаковой, видной участницей восходящей плеяды молодых поэтов, соратницей Евгения Евтушенко и Роберта Рождественского, которая познакомила нас с песней, весьма созвучной моим эмигрантским воспоминаниям:

Быстро-быстро до-нельзя
Дни пройдут как часы.
Лягут синие рельсы

От Москвы до Шанси.
Заворчит-заворкует
Колесо на весу.
Лепесток поцелуя
Я с собой увезу.
… И пойдет перекличка
Паровозов и встреч.
Зазвучит непривычно
Иностранная речь.
И границу в ночи я
Перечувствую вновь,
За которой Россия,
За которой любовь.

При всей значимости одноразовых культурно-просветительных мероприятий, проводимых Володей Жельвисом, основным его достижением было каким-то образом заключенное соглашение профсоюза герценовского пединститута с музеем «Эрмитаж» о регулярном чтении лекций для наших асиирантов одной из самых блестящих сотрудниц музея, Ниной Александровной Лифшиц. Чтения проводились еженедельно по субботам прямо в залах Эрмитажа; иногда Нина Александровна уводила нас в неисчерпаемые запасники музея. Эти лекции на всю последующую жизнь придали отпечаток профессионального знания моим дилетантским увлечениям визуальными искусствами.

В этот период у меня сложилось представление о трех последовательных этапах новоевропейского культурологического развития:

1) *Классическая* культура продолжает тысячелетнюю традицию объективизма.

2) Оформившийся к концу XIX в. *модернизм* с его пафосом личного начала культивирует максимально субъективистский акцент в художественной трактовке объективной действительности.

3) Если модернизм провозглашал идею ценности “Я”, то пришедший ему на смену *постмодернизм* трактует феномен субъекта в качестве проблематичного, провозглашая идею его расщепления. П.-М.Фуко (Foucault), видный представитель данного течения, требует «принесения в жертву субъекта познания… Абсолютного субъекта не существует. Человек – это изобретение недавнее».

В XXI в. постмодернизм в различных своих ответвлениях определяет лицо западной культуры. Отрицание им объективного существования человеческого «я» как носителя моего *omnea mea* изначально определило мое критическое отношение к этой последней фазе западной культуры, проявившееся в стремлении восстановить нарушенную связь с прошлым. Вместе с тем, оно укрепило мое понимание изменчивой природы внутреннего мира человека, его подверженности не только количественному приросту знаний, но и качественному преобразованию самих его оснований. С этих пор я находил особое для себя удовлетворение в нахождении точек

зрения, ставящих привычные факты в непривычные соотношения друг к другу. Меня поразило замечание физика Фейнмана, что многие современные ученые, под влиянием революции в теоретической физике начала XX века, заняты поисками того, от чего можно было бы отказаться из наиболее фундаментальных научных представлений прошлого, чтобы сформулировать наиболее «фантастичную» новую теорию.

Под влиянием Нины Александровны я проникся уважением к эрудированному красноречию, открывшемуся мне как такое же высокое проявление творческой одаренности, как артистическое исполнительство, музыкальное или сценическое. С этих пор я с таким же увлечением, с каким посещал различные концерты и театральные постановки, выискивал и слушал лекции наиболее известных ленинградских и приезжих ученых в любой области гуманитарных знаний. Так я познакомился с индивидуальными ораторскими стилями В.М. Жирмунского, С.С.Аверинцева, В.В.Иванова, Ю.С. Маслова, А.А.Холодовича, Г.А.Бялого, Н.Д.Арутюновой, С.С.Хоружего, из более молодых – Г.П.Щедровицкого, И.А.Мельчука, Ю.Д.Апресяна. Мне довелось прослушать на английском языке лекцию известного западного философа А.Айера, представителя школы логического позитивизма, во время его посещения Советского Союза, а также выступление зарубежного православного богослова прот. И.Мейендорфа на Московском Международном Конгрессе Византинистов.

Перечисленные «высокие материи» отнюдь не составляли единственную актуальную сферу жизненных интересов нашего аспирантского сообщества. Нежданный для меня живой отклик, прежде всего у Филатова, вызвали мои шанхайские воспоминания о популярной в нашей мальчишеской среде, под влиянием американских ковбойских фильмов, технически незамысловатой, но сопряженной с психологической выдержкой и самообладанием, карточной игре в покер. Как оказалось, покер был в те годы малоизвестен в Советском Союзе, во всяком случае среди завсегдатаев нашей комнаты. Мы уточнили по Британской Энциклопедии все правила игры, в первую очередь – относительную ранговую стоимость различных карточных комбинаций. Началось повальное увлечение покером, напоминавшее мне знакомую по вестернам атмосферу питейных салунов «дикого запада». Переболевший еще в далеком детстве этим азартом, я сам принимал мало участия в игре. Филатов даже как-то упрекнул меня в чрезмерной «правильности поведения» и в отсутствии инстинкта «испытания судьбы», свойственного каждому «нормальному» человеку. Я ответил на это, что мое «испытание судьбы» происходит ежедневно не в карточной игре, а в действительной жизни, где ставкой являются реальные события и исходы моего существования. Во избежание каких-либо нездоровых инстинктов велся строгий индивидуальный учет выигрышей и проигрышей каждого игрока, и в конце месяца, в день получения стипендии, суммарный баланс месячной игры подвергался коллективному распитию.

Помимо покера, Филатов увлекался одному ему известной японской игрой в «го». По его объяснениям, один из игроков ставил в любую позицию

на игровом поле фишку, служащую центром зашищаемого им игрового пространства, а второй стремился окружить это игровое пространство замкнутым кругом своих блокирующих фишек. Таким образом, игра состояла в противоборстве двух игроков, один из которых стремился расширить заявленное им игровое пространство, другой – ограничить его и, в конечном счете, полностью изолировать от окружающего игрового поля. Сопоставляя игру «го» с шахматами, Филатов видел основное различие между ними в оборонительном характере первой, наподобие «дзю-до», сопоставительно с «дзиу-джитцу». Соответственно относительное начальное преимущество было не за первым ходом, как в игре белыми фигурами в шахматах, в за вторым. В Советском Союзе существовало всего около двух десятков энтузиастов игры в «го», и Филатов с удовлетворением рассказывал, что однажды в Москве было проведено групповое соревнование между ними, на котором он занял первое место. Так что de facto он может считаться неофициальным чемпионом Советского Союза по «го». При этом он выразил свою мечту когда-нибудь помериться силами с настоящим, японским знатоком этой замечательной игры. По ходу разговора у меня сложилось понимание того, что «игровой азарт» составляет одну из глубинных личностных черт Филатова.

Наша беседа постепенно переключилась в более абстрактное русло обсуждения возможности разработки общей «типологии игр», классифицирующей все существующие в мире игровые схемы по основным характеристикам их игрового поля, задействованных фигур, правил соотношения между ними и критериев определения успеха одной из сторон или ничейного результата.

Поведение некоторых членов нашего аспирантского сообщества порой граничило с неприкрытым озорством и откровенным эпатажем окружающих. Основным эталоном данного жанра служил Петровский, первый острослов и оригинал общежития, окончивший аспирантуру по литературе за год до моего поступления, получивший распределение в Новгородский пединститут и наезжавший время от времени по старой памяти в Ленинград. Излюбленным объектом его юмористических шаржей был известный своей самодовольной ортодоксальностью преподаватель кафедры литературы Плафонов. Первое, что я услышал из оставленного Петровским аспирантского фольклора, было цитатой из его недавнего письма, где он интересовался последними новостями на факультете и в свойственном ему ироническом стиле между прочим спрашивал: «Не получил ли Плафонов Нобелевской премии?». Но наиболее часто цитируемым из репертуара Петровского был следующий его излюбленный номер. Возвращаясь вечером в общежитие, он вставал на четвереньки в коридоре и начинал усиленно скрести в дверь комнаты. Когда ему открывали, он вбегал собакой и оглашал всех оглушительным лаем. Эта сценка могла повторяться и на людной улице. Филатов с удовольствием рассказывал, как однажды произошла их неожиданная встреча у троллейбусной остановки на Невском проспекте. К недоумению случайных прохожих Петровский на четвереньках набросился

на Филатова с лаем, а тот в притворном испуге повалился на спину с задранными вверх ногами. Миша Хейфец красочно рассказывал, как Петровский иногда неожиданно для сопровождавших его спутников выходил на проезжую часть Невского проспекта и начинал с застывшим выражением лица монотонным голосом произносить обличительный монолог против английских или французских империалистов, угнетавших какой-нибудь вымышленный им народ в Африке или Южной Америке. Когда на тротуаре начинала ска пливаться кучка народа он обрывал свою филиппику и растворялся среди прохожих.

У меня сложилось впечатление, что Адик Урбан, не наделенный по природе сколько-нибудь заметными юмористическими или артистическими данными, стремился перенять у Петровского некоторые внешние приемы его экстравагантного поведения, чтобы придать своему в целом ничем особо не примечательному облику черты модернистской исключительности. Мало приспособленный физически к усвоению значительных долей спиртного, он принял на себя роль убежденного поборника входящего в моду ремарковского идеала разочарованного интеллигента, характеризуемого обильным употреблением коньяка, ироническим недоверием к высокопарным отвлеченным словам и выдвижением на первый план конкретно осязаемых жизненных ценностей. Адик усвоил привычку в любой разговор вставлять совершенно не связанные с ним по смыслу возгласы типа «Ни в коем случае!», «Безусловно и обязательно!», «Мало ли что!». Филатов, по-видимому, замечал у Адика эти элементы искусственного создания собственного имиджа, и они раздражали его. Он несколько раз затевал перепалку по этому поводу с Альфонсовым, который защищал своего друга. Что касается меня, то я ценил выше всех этих невинных поползновений Адика разыгрывать несвойственную ему роль, в общем-то никому не приносящих реального вреда, его безусловную человечность и порядочность, неприятие сплетничества и злоязычества, его неоднократно проявленную готовность оказать помощь нуждающемуся в ней человеку. Пытаясь разгадать внутренний побудительный мотив поведения Урбана, я пришел к выводу, что он стремился в любой экстраординарной ситуации найти какой-то нестандартный способ ее разрешения. Так, когда однажды мне довелось по делам на три дня уехать в Москву и по ошибке захватить с собой ключ от запертой двери нашей комнаты, он выставил вмонтированную над дверью стеклянную раму, поставил по обе ее стороны, внутри комнаты и в коридоре, два стула и по нескольку раз в день акробатически вскарабкивался туда и обратно. По моему возвращению он не высказал мне ни малейшего упрека; мне даже показалось, что он охотно продолжил бы этот необычный способ вхождения и выхождения из комнаты, возбуждавший оживленные комментарии по всему общежитию.

Через несколько лет после окончания аспирантуры и отъезда из Ленинграда, я узнал, что Адик Урбан скоропостижно скончался от какой-то быстротекущей болезни. Это была первая смерть среди близкого мне аспирантского окружения, и я приписал ее противоречию искусственно

насаждаемого им внешнего образа жизни его подлинной человеческой сущности. У меня сразу возникла ассоциация его преждевременного ухода из жизни с судьбой Юры Суворова при всей несхожести их характеров.

Дима Наливайко, третий постоянный обитатель комнаты 36, был мне знаком еще по моей прошлогодней неудачной попытке поступления в ленинградскую аспирантуру. При более близком знакомстве с ним я оценил его солидную литературоведческую эрудированность и начитанность. В редкие периоды времени, свободные от посторонних посетителей, когда мы оставались втроем с Адиком Урбаном, нами велись обстоятельные беседы по вопросам истории культуры, представлявшим значительный интерес для меня спокойным профессионализмом обсуждения, свободного от чьих-либо претензий на аффектированную эксцентричность взглядов. Во время одной из таких бесед Наливайко рассказал нам, как в одном из своих преподавательских спецкурсов он поставил задачу дать своим студентам реально прочувствовать масштаб и композиционную сложность двадцатитомной серии романов Эмиля Золя «Ругон-Маккары», над которой писатель трудился двадцать два года. Наливайко, по его словам, дал подробный анализ основных сюжетных и психологических перипетий серии с ее 1200 образами. В другой раз при обсуждении древнегреческой трагедии мы определили симптоматическое для каждого из нас предпочтение одного из трех великих античных драматургов: Наливайко однозначно отдал пальму первенства Эсхилу, я – Софоклу, Урбан – Еврипиду.

У Наливайко была одна излюбленная тема, к которой он особенно часто возвращался: какая из двух цивилизационных идей – славянская или англосаксонская – имеет наибольшие шансы на исторический успех? У меня эта постановка вопроса ассоциировалась в памяти с шанхайскими спорами отца и есаула Н.Усачева. Сам Наливайко отстаивал преимущества славянской идеи, но с оппозиционным по отношению к России уклоном. Основным носителем славянской идеи он считал родную свою Украину, отводя России лишь побочную, производную от Украины роль в становлении киевского государства и последовавшем развитии славянского начала в мировом процессе. Филатова эта проблема мало интересовала; но в полемике с Альфонсовым она порой приводила к существенному обострению личных отношений, и только благодаря выдержке и самообладанию последнего не выливалась в открытый конфликт.

С самого начала моего пребывания в общежитии № 6 почти такой же близкой, как 36-я комната, стала женская комната, в которой обитали Наташа Телетова, Катя Липелис, Лена Бахметьева и примкнувшая к ним Инна Альми, все они – новопринятые аспирантки по кафедре литературы. Нас связывали общие гуманитарные интересы на фоне преобладающего естественнонаучного аспирантского состава общежития. Помимо этого при моей бесхозяйственности я нашел в них опору в таких прозаических бытовых делах, как пришивание оторвавшейся пуговицы или воротничка рубашки, быстрого изготовлении походного совместного утреннего завтрака или вечернего чая и т.д. Наташа Телетова была рослой девушкой крепкого

крестьянского телосложении, словоохотливая, с уверенными во всем мнениями и твердым характером, которую я сразу наделил прозищем «Брунгильда». Катя Липелис по конрасту была миниатюрного роста, уступчивая и скорее молчаливая, но как-то сразу создававшая определенный нравственный климат нашего маленького кружка. Наташа быстро взяла на себя инициативу по организации наших совместных посещений близлежащих Большого и Малого Залов филармонии и Большого Драматического Театра на Фонтанке, привив нам пиетет к тогдашним метрам культурной жизни Мравинскому и Товстоногову. Мы охотно предоставили ей полный контроль над нашими коллективными расходами на недорогие театральные билеты, убедившись в методической рациональности и эффективности ее бухгалтерских расчетов. Наташа как-то проведала, что в день концертов с участием приезжих музыкантов ровно в десять часов утра отпиралась боковая дверь в филармонию и впускались на галерею все желающие прослушать репетицию концерта. Одно из глубочайших сожалений моей ленинградской жизни до сегодняшнего дня служит мое опоздание на несколько минут по своей беспечности на такую открытую репетицию Пятого Концерта для фортепиано с оркестром Бетховена в исполнении Рихтера и Мравинского.

Наташа с большим волнением ожидала первого заседания кафедры литературы, на которой должен был решиться вопрос о ее научном руководителе. Она мечтала учиться у профессора Наума Яковлевича Берковского. Это ее желание осуществилось, и она сразу окрестила Берковского «Мой Наум». На следующем заседании кафедры с не меньшим волнением ожидалось утверждение диссертационных тем новопринятых аспирантов. Наташа вернулась с заседания какая-то непривычно молчаливая и долго не отвечала на всеобщие расспросы. Затем вымолвила: «Вы представляете, что мой Наум выкинул? На мою просьбу дать какие-то указания, как мне приступить к работе, изрек: “Надо ставить факты под углом друг к другу!” Затем в сердцах воскликнула: «Ну что прикажете мне делать с этим “углом друг к другу”? Мне же диссертацию писать надо!».

Последовало общее обсуждение ситуации, в котором я не принимал участия и от восприятия которого полностью отключился. В моем представлении возник визуальный стереоскопический образ пересекающихся зрительных перспектив одного и того же предмета с различных точек зрения, создающий эффект объемной многомерности. Если под «фактом» понимать линейное восприятие предмета в определенной перспективе, с определенной точки зрения, то Берковский по-видимому имел в виду стереоскопический метод исследования, воссоздающий свой объект не в линейном плане, а одновременно в трех его измерениях, то есть придающий ему глубину и объемность. Это предположение требовало спокойного обдумывания, и я под каким-то предлогом покинул гудящую спорящими голосами комнату. Выйдя из общежития, я привычным маршрутом прошел через Дворцовую площадь на Набережную Невы и долго ходил по ней, пытаясь упорядочить поток нахлынувших образов и ассоциаций.

Я вспомнил, что на последней своей эрмитажной лекции по кватроченто, посвященной «героическому веку» открытия итальянскими художниками законов зрительной перспективы, Нина Александровна Лифшиц образно сравнивала это их достижение с преодолением двухмерной физической непроницаемости стены или холста, служащих материальным носителем живописного изображения, с «прорубанием окна» в глубь от этой растворенной вещественной плоскости и вовлечением зрителя в иллюзорное пространство виртуального мира, творимого художником. Исчерпав в Высоком Ренессансе возможности однофокусного зрительного отображения объективной действительности, Италия уступила в 17 веке живописное лидерство Испании и Нидерландам, но обрела в лице Клаудио Монтеверди новое мировое лидерства в становлении музыкального жанра оперы. Музыка как динамический вид искусства характеризовалась сменой, в рамках одного и того же произведения, различных тональностей, каждая из которых могла рассматриваться в качестве аранжировки звукового материала в определенной «музыкальной перспективе». Таким образом, чередование музыкальных тональностей как раз представляло собой стереометрическую постановку различных перспектив музыкального изложения «под углом друг к другу».

В истории испанской живописи 17 века Н.А.Лифшиц особо выделяла роль Эль Греко, критского грека по происхождению (Доменико Теотокопули), видя в его творчестве уникальный синтез византийской (иконописной) и ренессансовской традиций живописи, проявляемый в совмещении в одном и том же полотне зрительных перспектив с различных точек зрения. Это приводило к смещению горизонтальной композиционной оси, направленной «в глубь» картины, к точке свода на заднем плане, вертикальной, ориентированной «снизу вверх». Отсюда специфическая для Эль Греко удлиненность человеческих фигур, которые как бы произрастают снизу из почвы и тянутся кверху, к невидимому небу. Я сразу уловил в словах лектора своеобразную аналогию со стереоскопическим принципом, приписываемым мною Берковскому. В результате данный принцип на многие годы пустил глубокие корни в моем сознании, давая с течением времени все новые ростки и побеги.

Особую роль в моей жизни сыграл назначенный мне научным руководителем на первом же заседании кафедры профессор Игорь Евгеньевич Аничков. Он был известен своей лингвистической концепцией идиоматики как особого раздела семантического синтаксиса, исследующего соотношения не между грамматическими словоформами, а между лексическими значениями слов в предложении. На первой же консультации Игорь Евгеньевич предложил мне весьма прозаично звучавшую диссертационную тему – «Сочетаемость непереходного глагола с существительным в роли подлежащего в английском языке». Должен признаться, что в тот момент я весьма равнодушно отнесся к предложенной проблеме, будучи с головой поглощен расширением своего общекультурологического кругозора. Лишь к концу первого года

аспирантуры я начал всерьез задумываться над темой. До меня дошло осознание того, что она представляла собой формулировку понятия простого нераспространенного, то есть самого элементарного, предложения, рассматриваемого не с грамматической точки зрения, как это было повсеместно принято в лингвистике того времени, но в смысловом плане. А предложение в семантическом понимании есть выражение *мысли*! Таким образом, речь идет о каталогизации всех элементарных когнитивных структур, обобщенно-типовых мыслей-эмбрионов, которые могут быть выражены в языке. Прежнее прохладное отношение к теме сменилось жгучей заинтересованностью, которая последовательно возрастала по мере моего более пристального знакомства с лингвистической литературой, так что я продолжаю разрабатывать данную научную проблему до сегодняшнего дня.

В конце моего второго года в аспирантуре закончился аспирантский срок Димы Наливайко, и он уехал на Украину. С тех пор я не имею о нем никаких сведений. В последние годы, в связи с драматическими событиями, происходящими на Украине, я часто задаю себе вопрос о том, как сложилась его дальнейшая судьба, каким образом довелось ему разрешить противоречие между его установкой на приоритет славянского национального начала перед англосаксонским и фактически наблюдаемым политичсеским диктатом США над Украиной.

После отъезда Наливайко третьим жильцом в нашу с Адиком комнату был поселен Юзеф Урицкий, аспирант-физик. Таким образом, было нарушено лвухлетнее единство гуманитарных интересов постоянных обитателей комнаты, что привело к утрате ею прежней роли одного из собирательных центров научных соискателей с общекультурологическими наклонностями и соответственно к более редкой ее посещаемости Филатовым и Альфонсовым. Преобладающий тон наших разговоров сместился с абстрактного обсуждения мировоззренческих вопросов культуры и психологии к слегка ироническому комментированию наших повседневных событий.

Юзик Урицкий был несколько ниже среднего роста крепкосложенным молодым человеком с развитым чувством юмора, хорошо владевшим еще мало распространенными в ту пору ритмическими западными танцами, так что мне доставляло удовольствие наблюдать за ним на танцевальных вечерах, проводимых в нашей комнате отдыха по субботним вечерам. Он имел привычку говорить парам, старомодно танцующим танго или вальс (то есть и мне в том числе): «Между вами может пройти маленький слон».

Последний мой аспирантский год был отмечен существенным сдвигом в моем психологиическом настрое. Чем ближе маячил конец ставшего привычным аспирантского бытия, тем более остро росло ощущение полной неопределенности моего будущего. Многие мои товарищи по общежитию, в отличие от меня, заблаговременно запасались договоренностями с администрацией высших учебных и научных учреждений в различных городах страны о принятии их на работу. Я же начинал предчувствовать щемящую ностальгию по неуклонно приближающемуся расставанию с моим

«градом Китежем на Неве» и всячески стремился закрепить в памяти его наиболее яркие образы.

В частности, я решил, воспользовавшись моим пребыванием «у финских хладных скал», совершить ознакомительную поездку по нашим прибалтийским республикам с их уникальным западноевропейским архитектурным наследием. С этой целью в зимние аспирантские каникулы я не поехал, как обычно, в Пермь, но, запасшись командировками от нашего Отдела аспирантуры в студенческие профкомы Тартуского, Рижского и Вильнюсского университетов с просьбами предоставить мне суточное пребывание в студенческих общежитиях этих городов, отправился в краткое турне по Прибалтике. Больше всего на меня произвели впечатление средневековые архитектурные памятники рыцарских времен древнего Таллина. Возвращаться из Вильнюса в Ленинград я решил через Москву. Проезжая через Смоленск, обратил внимание на величавый вид большого собора, возвышающегося на холме над городом.

3. Судьбоносный звонок. Вскоре по возвращении в Ленинград произошло случайное событие, сыгравшее весьма существенную роль в моей дальнейшей жизни. В это время в отдельных кинотеатрах города проводились просмотры наиболее известных западных фильмов, привлекавшие большие толпы зрителей. На одном из этих просмотров, чтобы найти предварительно занятое мною место в очереди, я взгромоздился на большую цементную тумбу, которая подвернулась подо мной и больно ударила своим тяжелым круглым краем по моей левой ступне. В больнице определили, что была переломлена кость ступни, и заковали ногу в тяжелый гипс. Я проходил с этим гипсом в течение трех месяцев, то есть до конца моего официального аспирантского срока. Я решил попытаться использовать этот «несчастный» случай в свою пользу и подал заявление о продлении на три месяца моей аспирантуры «по болезни».. К некоторому моему удивлению, это заявление не встретило никаких бюрократических препятствий, и моя просьба была удовлетворена.

В июне состоялось распределение аспирантов по местам их будущей работы в различных вузах страны. Я стремился вернуться в свою родную Пермь, с которой были связаны все человеческие отношения, все воспоминания моих первых девяти лет в Советском Союзе. Но на распределении я получил направление в Читу. Таким образом, второй раз, как и после моего окончания университета, Чита отбрасывала меня в мое дальневосточное прошлое и служила препятствием моему желанию укрепить свои жизненные связи с Пермью. Я решил попытаться получить желаемое направление непосредственно в министерстве. Днем своего приезда с этой целью в Москву я сознательно выбрал 6 июля 1960 года, загадав, что дата моего тридцатилетия не может быть несчастливой для меня. Я купил билет не на прямой поезд Ленинград – Пермь, как обычно, а с пересадкой в Москве, где сделал положенную по тогдашним железнодорожным правилам остановку на максимально допустимый срок – 10 дней. За это время должна была решиться моя дальнейшая судьба. И здесь со мной произошла история,

достойная какого-нибудь сентиментально-приключенческого романа для юношества.

В министерстве мне сообщили, что зам. министра, от которого зависело решение моего вопроса, за несколько дней до этого уехал в заграничную командировку на неопределенный срок. В течение последующих восьми дней я каждое утро наведывался в министерство и получал один и тот же ответ: «Еще не вернулся», и неизвестно, когда вернется. Наступил десятый день. Поезд отходил во второй половине дня. Утром я в последний раз постучался в ставшую привычной дверь кабинета, и оказалось, что искомое лицо на месте. Не дав мне изложить до конца мои аргументы, человек, сидящий за подавляющим просителя своим размером письменным столом, сказал, что для моего направления в Пермь необходимо иметь официальный вызов не из тамошнего университета, относящегося к иному ведомству, а из пермского пединститута. «Поезжайте в Пермь, и пришлите нам такой вызов или из пединститута, или, если удастся, из университета, и, я думаю, мы устроим ваше направление».

Такой ответ меня вполне устраивал. Не смея поверить, что вопрос решился так просто и удачно, поблагодарив чиновника и попрощавшись, я направился к двери кабинета. За спиной раздался телефонный звонок, на который, естественно, я не обратил никакого внимания. На пороге меня вдруг окликнул зам. министра. Держа в руке телефонную трубку, он сказал: «Звонит ректор Смоленского пединститута. Им как раз нужен преподаватель английского языка. Обещает ставку старшего преподавателя. Хотите поехать работать в Смоленск?» В какую-то долю секунды в моем сознании успела мелькнуть мысль, что в данное мгновение бесповоротно решается судьба всей моей дальнейшей жизни; промелькнул также зрительный образ смоленского собора на холме, недавно виденный с поезда. И я услышал, как мой голос ответил: «Я согласен». До сих пор не знаю, что побудило меня дать такой ответ. Я вышел из кабинета, имея при себе направление не в Читу, не в Пермь, а в Смоленск.

В поезде я долго размышлял о случившемся, не испытывая при этом ни малейшего сомнения относительно только что принятого мной (или за меня?) решения. Смоленск был в моем представлении одним из древнейших русских городов, ключевым звеном на «пути из варяг в греки»; однако ни малейшей, хотя бы самой отдаленной мысли о его возможной связи с моей предстоящей судьбой в моих раскладах на будущее не было. Я сознавал чистую случайность совпадения судьбоносного телефонного звонка из Смоленска с моим кратковременным присутствием в министерстве и возможность того, что у меня не произошло бы мгновенной положительной реакции на него. Тогда все пошло бы по прежде наметившемуся пути. В связи с этим мне пришло осознание того, что тогда я пережил один из текущих «настоящих моментов», составляющих темпоральный «пробел», нарушающий однозначную детерминированность будущего прошедшим. Иными словами, преходящий «настоящий момент» является тем единственным мгновением во временном континууме человека, когда он способен совершить относительно

свободный поступок, то есть внести какое-то качественное изменение в инерциальное течение своей жизни. Если условно принять длительность одного такого настоящего момента за секунду, то шестьдесят таких мгновений составляют минуту, шестьдесят минут – час и т.д.. Мне исполнилось к данному моменту двадцать два года; они составляют, если подсчитать, столько-то миллионов последовательных настоящих мгновений, когда я имел принципиальную возможность прервать установившееся течение моей жизни, придав ей какое-то новое направление. Сейчас я переживаю последствия одно из таких «настоящих мгновений».

Мое ощущение резкой отрезанности только что завершенного отрезка моей жизни от прошлого и полной неопределенности будущего живо напомнило мне чувство, с которым я отплывал в 1947 году от шанхайской пристани в неведомый Советский Союз. Мне четко вспомнился тот критический семейный совет в Шанхае, однозначно решивший поездку нашей семьи в Россию. Ведь вполне можно было представить себе, что постановление о репатриации вышло бы несколькими месяцами позже и застало бы нас на пути в Сан Франциско или уже по прибытии туда. Можно с уверенностью сказать, что в таком случае я был бы сейчас совсем другим человеком. По аналогии можно предсказать, что предстоящий мне, пока неведомый смоленский опыт внесет такие же существенные изменения в мою нынешнюю личность.

Прошлое впервые представилось в моей памяти не отдельными разрозненными воспоминаниями о конкретных людях и событиях, а в более обобщенном виде трех цельных периодов моей жизненной траектории: 1) Шанхай, 2) Пермь, 3) Ленинград. Подумалось, что моя ленинградская аспирантура и пока лишь потенциальное смоленское будущее связаны между собой таким же соотношением, как мои шанхайский и пермский жизненные циклы. Аспирантские годы представились таким же подготовительным этапом к предстоящему витку жизненной спирали, как шанхайский период относительно пермского. Таким образом, линия моей жизни приобрела в моем представлении не случайный, но мотивированный определенной внутренней последовательностью характер. Ленинградский период, как и Шанхай, предстали передо мной в виде своего рода виртуальной «игровой репетицией» предстоящего жизненного цикла, временем накопления разнообразного жизненного опыта, подлежащего решающему «обжигу» в последующей «дефинитивной» действительности. с ее непреложно необратимыми законами. В результате того, что может быть названо провиденциальным стечением обстоятельств, такая дефинитивная реализация осуществилась в прошлом в пермском варианте; в будущем же ей предстоит осуществиться в Смоленске.

По мере приближения поезда к Перми я обратил внимание на свое более отстраненное восприятие привычных названий близлежащих к городу железнодорожных станций: «Верхней Курьи», «Пролетарской», «Чайковской». Это показало мне, что Пермь и все связанное с ней, подобно Шанхаю и Ленинграду, уходила в безвозвратное прошлое, переставало быть

живой частью моего настоящего. Тут я вспомнил, что Ленинград сохранил со мной прощальную трехмесячную связь в виде продленной аспирантуры, и это сознание легло успокоительным бальзамом на мою душу.

4. «От финских хладных скал // До пламенной Колхиды». Послс нескольких дней в Перми, проведенных в атмосфере мысленного прощания с родными местами и друзьями, я вдруг почувствовал огромную усталость и желание отключится ото всех текущих бытовых забот. Мой трехлетней давности опыт путешествия по югу России показал мне, что можно странствовать по стране безо всяких официальных путевок, «диким» образом, сохраняя полную свободу действий и передвижений. Решив посетить давно манящий мое воображение Кавказ, я с трудом купил плацкартный железнодорожный билет до Адлера (летнее время отпусков!) и в течение полутора суток пекся в жарком вагоне по бескрайней южнорусской равнине. Лишь когда поезд прибыл в Туапсе на берегу Черного моря, подул свежий, прохладный ветерок, неся с собой волнующий запах морского воздуха. Картина внешнего мира радикально изменилась. Поезд дальше шел по узкой прибрежной полосе между ослепительно синим морем и постепенно все более возвышающейся горной грядой.

По прибытии в Адлер почти первое, что я увидел на вокзале, был красочный плакат: «Тот, кто Рицу не видал, на Кавказе не бывал». Об озере Рица я слыхал уже как в Ленинграде, так и в Перми, и заблаговременно включил его в число своих обязательных объектов В туристическом бюро все места на двухдневную автобусную экскурсию к озеру были распроданы на неделю вперед, но мне удалось приобрести невыкупленный кем-то билет на рейс, который должен был отправиться от городского вокзала через два дня. Чтобы не терять зря отпущенного мне времени, в том же турбюро я купил на следующий день билет на однодневную автобусную экскурсию на близлежашую гору Ахун с ее «знаменитой», как говорилось в рекламе, смотровой башней.

Путь на Ахун занял около двух часов по приморскому шоссе, служившем главной транспортной магистралью вдоль побережья, и уходящей вглубь от него извилистой дороге вверх по самой горе. Я обратил внимание на невиденный прежде тип открытого туристического автобуса чешского производства с откидывающемся в случае дождя брезентовым покрытием. На вершине горы, прослушав получасовую лекцию экскурсовода, я терпеливо выстоял длинную очередь к смотровой трубе и долго вживался в необъятную ширь открывшегося кругозора. Вечерело. Солнце садилось за горизонт, окрашивая небо в неправдоподобно красочные цветовые тона, на фоне которых все мысленные воспоминания прошлого представлялись черно-белыми репродукциями. Когда раздались слова экскурсовода, что пора подумать о возвращении, и его просьба всем занять свои мета в автобусе, я ощутил острое нежелание нарушить очарование момента и сказал, что я хочу спуститься с горы пешком и буду добираться до Адлера самостоятельно. Явно озадаченный экскурсовод, заметив, что обратный путь не близкий, рассадил всех в машину, которая скрылась в

сгущавшихся сумерках. Я остался один на опустевшей смотровой площадке, ощущая некоторый холодок в душе.

Подбадривая себя воспоминанием о только что пережитом прекрасном мгновении, я начал обратный путь. Дорога довольно круто спускалась вниз, так что мне даже пришлось несколько притормозить шаг. Со свойственной субтропическим широтам быстротой сумерки сменились ночной темнотой. К счастью появившаяся на небе луна ярко освещала дорогу, бросая длинные тени от обрамляющих ее стройных кипарисов. Глядя на их темные силуэты на фоне светлого неба, я представлял себя последним обитателем бесконечной вселенной, шагающим по ее краю. Спуск с горы занял, по моему ощущению, чуть больше часа, и я воспринял свой выход на освещенное многочисленными фонарями и автомобильными фарами прибрежное шоссе как возврат из состояния некой космической невесомости в привычное человеческое существование.

Остановив проходящее такси, я попросил водителя отвести меня в Адлер. Окинув меня многоопытным таксистским взглядом, тот сказал, что неблизкий путь станет мне в круглую копеечку, и предложил вместо Адлера довести меня до ближайшей автобусной остановки. Я с благодарностью согласился. Спать я лег в тот вечер в начале одиннадцатого, попросив хозяина разбудить меня пораньше на следующее утро, чтобы не опоздать на запланированную экскурсию на озеро Рица.

Впрочем, это оказалось излишней предосторожностью. Проспав, как убитый, я сам проснулся за полчаса до оговоренного времени, чувствуя себя вполне отдохнувшим и полным свежих сил. Наскоро перекусив в привокзальном буфете, я занял свое место в автобусе, с удовлетворением ощущая на себе опеку предусмотренного порядка туристского обслуживания. Путь на Рицу состоял из двух приблизительно равных по протяженности, но разительно противоположных по характеру местности частей. Первая пролегала по прибрежной трассе и завершалась двухчасовой остановкой в Пицунде с ее замечательной сосновой рощей, высокие, идеально прямые деревья которой еще в 16-м веке, по словам экскурсовода, шли на экспорт в Англию, где служили материалом для изготовления мачт парусного флота, одержавшего победу в морской битве при Трафальгаре. Но для меня главная примечательность Пицунды состояла в изумительной, не виданной нигде больше прозрачности морской воды: казалось, что камни, лежавшие на трехметровой глубине, можно было достать рукой, не замочив головы.

Вторая часть пути началась с поворота автобуса под прямым углом к прибрежнему шоссе, перенесшего нас в совершенно иной мир. Дорога пролегала дальше по узкому ущелью между двумя цепями скал самой причудливой формы, разделенными глубокой пропастью. На этом участке пути, требующем постоянного задирания головы во все стороны, я в полной мере оценил преимущества открытых чешских автобусов, ни в чем не ограничивающих свободу обозрения. Кремнистая дорога, едва достаточная для разъезда двух встречных автобусов, была вырублена из левой по ходу машины отвесной поверхности скалы. Экскурсовод привлек наше внимание

к застрявшему в скале железному лому, оставленному, по его словам, турецкими пленными, трудившимися еще при царе по прокладке «адской» дороги, унесшей немало человеческих жизней.

На всем извилистом пути я поражался виртуозным мастерством водителя, почти на снизавшим скорости на самых крутых поворотах и даже при разъездах со встречными автобусами, когда наша машина проходила по самому краю дороги, так что я, сидевший у правого борта, мог заглянуть до самого дна зияющей справа пропасти. Позднее, испытав захватывающий дух стиль езды других водителей, я узнал, что между ними существовало негласное соревнование по количеству выполненных за день рейсов

Когда мы часам к четырем достигли наконец искомой цели, после всей затраченной на ее достижение душевной и физической энергии, я испытал некоторое разочарование открыточно-трафаретным видом лежавшей перед нами синеватой поверхности небольшого водоема, окруженного высокими зелеными деревьями. Несравненно более сильное впечатление, чем само озеро, произвела на меня дорога к нему. Я с удовлетворением ощущал, что соприкосновение за последние два часа с незнакомым мне прежде горным романтическим ландшафтом с лихвой компенсировало мне годы шанхайского «природного голодания».

Поужинав в ресторане с непомерно завышенными ценами на блюда с экзотическими наименованиями и переночевав в туристской гостинице, на следующее утро наша группа отправилась в обратный путь. Тут меня ожидал еще один эффект «обманутого ожидания». Вчерашние красочные виды горной природы каким-то образом утратили для меня значительную долю своего романтического ореола и обрели статус того, что французы называют déjά vu («уже виденное и потому утратившее интерес»). По контрасту, воспоминания о более «прозаичных» и повседневных северных пейзажах не лишились своего прежнего очарования. К моему сожалению на обратном пути мы не остановились в Пицунде.

На следующий же день после возвращения в Адлер я рассчитался с хозяином и, захватив чемодан с незамысловатым моим походным багажом вышел на прибрежное шоссе с целью переселиться в полюбившеюся мне Пицунду. После моего возвращения с горы Ахун я понял, что на Кавказе основное средство передвижения не такси, а попутные машины. Действительно, первый же остановленный мной шофер грузовика согласился за вполне приемлемую цену довести меня до Пицунды. Я сразу отметил малозаселенность этого небольшого поселка, в основном служившего, очевидно, промежуточным остановочным пунктом на полпути ежедневно проводимых туристических экскурсий на озеро Рица. С некоторым трудом договорился с одним из местных жителей о ночлеге за двойную сравнительно с общепринятой на юге посуточную оплату. Выйдя на знакомый мне участок непривычно пустынного пляжа, я погрузился в освежающую прозрачную воду, чувствуя, как она смывает с меня усталость и напряжение последних дней. Отдохнув несколько часов, я решил закрепить только что опробованный мною способ передвижения и съездил в

близлежащие Гагры, привлекшие мое внимание нестандартным архитектурным обликом своих зданий.

Вечером я разговорился с хозяином, который оказался коренным абхазцем с обостренно развитым чувством национального самосознания. Он мне увлеченно рассказывал о том, что абхазский народ и государство ведут свою историю с 8-го века и обладают своей национальной спецификой, выделяющей абхазцев среди других кавказских народов. Я вспомнил одну из ленинградских лекций, где В. М. Жирмунский подчеркивал уникальность абхазского языка, характеризуемого рекордным преобладанием своего консонантного фонетического состава над вокальным: наличием в различных своих диалектах более 60 согласных, противопоставленных всего лишь двум гласным. Лектор оживил свое сугубо профессиональное изложение рассказом о том, как Н.С.Трубецкой, известный русский фонетолог, у которого в детстве был дядька-абхазец, обучивший его абхазскому языку, выступил на Всемирном фонетическом конгрессе с докладом об абхазской фонетической системе с таким успехом, что должен был повторить его на бис – небывалый случай в академической практике. Под конец беседы, разогретый распитой бутылкой хванчкары, мой хозяин-абхазец, едва сдерживая раздражение в голосе, стал экспрессивно распространяться о многочисленных несправедливостях и обидах, перенесенных Абхазией за время ее пребывания в составе Грузии. Неподготовленный к такому обороту разговора, противоречащему моему идеальному представлению о дружбе советских народов как об основном историческом достижении послереволюционной России, сославшись на поздний час и на якобы запланированную назавтра поездку в Новый Афон, я свел беседу на общие темы, пожелал словоохотливому хозяину спокойной ночи и удалился в свой ночлег.

Когда я стал перебирать в памяти события истекшего дня, то понял, что моя спонтанная ссылка на Новый Афон не была случайной. В последние полгода моей ленинградской жизни во мне пробудился живой интерес к русской исторической старине и ее византийским истокам. Особое впечатление на меня произвела книга «Памятники христианского искусства на Афоне» видного русского культуролога конца XIX века Никодима Павловича Кондакова, давшего глубокий анализ византийской иконописи и ее влияния на русскую иконографическую школу. Прочитанная книга навела меня на мысль о том, что «монашеская республика» на Афоне была своего рода исторической реминисценцией древнегреческого полиса. Поэтому виденное днем название «Новый Афон» на карте автобусных маршрутов в Гаграх не могло не привлечь моего внимания, хотя четкое решение посетить его оформилось лишь через несколько часов во время моего вечернего разговора с моим хозяином-абхазцем. Приняв это как «знамение судьбы», я заснул крепким сном с твердым намерением посетить заинтриговавший меня Новый Афон на следующий день.

Другим, наряду с озером Рица, заранее запланированным объектом моей кавказской поездки, был курортный город Сочи. Утром, решив не

возвращаться из Нового Афона в Пицунду, но прямо проехать в Сочи, я рассчитался с моим приветливым хозяином, пожелал ему – и в его лице всему абхазскому народу, к которому после вчерашнего откровенного разговора проникся почти родственной симпатией – счастья и удачи во всех жизненных начинаниях и вышел на ставшее привычным шоссе. Договориться с водителем попутной машины не представляло уже ни малейшего труда.

Новый Афон был расположен почти на самой южной точке абхазского морского побережья. Никуда не отвлекаясь, я прямо прошел в красивую, хорошо сохранившуюся церковь с узнаваемо православным куполом, построенную еще в давние царские времена, как гласила у ее входа чугунная плита на абхазском и русском (с дореволюционной орфографией) языках. Эта церковь была, по-видимому, основной архитектурной достопримечательностью Нового Афона, о чем свидетельствовала идеальная прибранность ее внутреннего пространства

Я долго стоял и созерцал ее свежевыглядевшие красочные фрески, как будто только вчера .еще выполненные В. М. Васнецовым и другими известными русскими художниками конца XIX века. Сразу бросилось в глаза несоответствие живописного стиля этих фресок запомнившемуся мне по книге Кондакова иконогафическому письму. В них сказывались все достижения ренессансовской живописи в области пространственной перспективы и трактовки человеческих фигур, особенно образа Мадонны-Богоматери. Более привычные и привлекательные на глаз своим соответствием современным эстетическим нормам, они, казалось, были лишены какой-то доли того непосредственного проникновенного воздействия на душу зрителя, какое было свойственно искусству Рублева и Дионисия.

Выйдя из церкви, я увидел на вершине отстоявшей на некоторое расстояние возвышенности полуразрушенные руины какой то высокой стены. Я решил взобраться на стену, чтобы оттуда полюбоваться широким видом моря и окружающей местности. Стена оказалось удобной для взбирания своими многочисленными уступами. Почти достигнув ее вершины, я ухватился обеими руками за выпиравший мне прямо на грудь ее выступ, как вдруг почувствовал, что он плавно, как по шарнирам, стал выдвигаться на меня, отделился от стены и с шумом рухнул вниз. Я едва успел обхватить правой рукой открывшийся участок стены и с трудом выкарабкался на ее обсыпающуюся цементом и осколками кирпича поверхность. Плечо сильно болело от глубоко врезавшегося в предплечье осколка. Дотянувшись головой до раны, через несколько минут я остановил языком к счастью несильное кровотечение. Немного отдышавшись, я заглянул вниз, увидел лежавший на десятиметровой глубине кусок оторвавшейся стены, представил себя, лежавшего с ним, и со всей отчетливостью осознал, что только что случайно избежал реальной угрозы гибели. Место было пустынное, и даже если бы я отделался при падении какими-то переломами конечностей, можно было только гадать о том, когда

меня обнаружили бы, живым или мертвым, местные жители. Собравшись с силами, я предпринял со всеми предосторожностями длительный спуск со стены, занявший около часа. Вопреки своему утреннему решению ехать из Нового Афона прямо в Сочи, на обратном пути я снова остановился в Пицунде. Хозяин-абхазец принял меня как старого знакомого. Через два дня, почувствовав себя окончательно оправившимся после пережитого потрясения, я отправился в Сочи.

Там я испытал определенные затруднения при поисках пристанища из-за большого наплыва туристов. Решив эту проблему и наскоро перекусив в первой попавшейся столовой, я поехал на автобусе на городской пляж. У платного входа в него я прочел большой плакат, строго запрещавший появление на улицах города в неподобающей курорту мирового значения одежде – купальниках и шортах. Вид пляжа, переполненного бултыхающимися в воде у берега и распластаных на дощатых лежаках людей, заставил с сожалением вспомнить о привольном просторе Пицунды. В вечерние часы улицы Сочи преобразились не виденным мною за всю кавказскую поездку богатством и красочным разнообразием освещения, обилием цветных реклам в витринах магазинов, напоминавшими феерический ночной вид центральных московских проспектов.

Примерно в это время в нашем обществе обсуждалось обращение Грузинской Автономной Республики к центральному правительству с предложением передать Сочи из административного управления РСФСР в состав Грузии. Данный вопрос не вызывал в нашей общественной среде особо острых дискуссий. В расхожем обывательском мнении представлялось безразличным, к какой административной структуре будет формально отнесен спорный город, поскольку в конечном счете речь идет о внешних географических перестановках в рамках одного и того же единого государства. Тем более, что за несколько лет до этого уже была осуществлена аналогичная передача Н.С.Хрущевым Крымского полуострова в состав Украины. Если бы только кто-то из власть имущих мог предугадать исторические последствия этих проектов, казавшихся столь невинными в период их обсуждения и принятия соответствующих решений!

В десятых числах августа, переполненный кавказскими впечатлениями, я вернулся в Пермь. В тот же день я отослал заказное письмо в ректорат Смоленского пединститута, уведомляя, что в силу официального продления моего аспирантского срока я смогу приступить к исполнению своих обязанностей не с первого сентября, а несколько позже, не уточняя конкретной даты моего приезда. Через две недели пришло ответное письмо, подписанное проректором Евгением Павловичем Губиным, в котором подтверждалось получение из Министерства официального документа о назначении меня на ставку старшего преподавателя английского языка в Смоленский пединститут и выражалась надежда на то, что я в скорейшем времени смогу приступить к работе.

5. Ленинградский финал. В начале сентября 1960 года я прибыл на Витебский, ставший за последние три года почти «домашним», вокзал на

трехмесячный, «утешительный» аспирантский срок, дарованный мне судьбой. Первое, что я услышал в общежитии, было трагическое известие о гибели двух наших аспиранток, отправившихся «диким» путем в поход на Алтай. Остановив автостопом на лесной дороге грузовик, они взобрались на кузов с открытым верхом. Машина была без заднего борта, и на крутом подъеме они не усидели на месте и выпали на дорогу. В этот момент грузовик забуксовал, дал задний ход и раздавил их своими колесами. Не будучи близко знаком с погибшими девушками, я часто обменивался с ними приветливыми словами в коридоре общежития. Их смерть особенно больно отозвалась во мне, поскольку я сам лишь совсем недавно избежал такой же случайной гибели в Новом Афоне.

Не знаю, по причине ли пережитого memento mori или вследствие отсутствия многих моих прежних друзей, завершивших курс своего обучения, но общежитие показалось мне полуопустевшим, хотя оно пополнилось новопринятым аспирантским поколением, на фоне которого я почувствовал себя многоопытным старожилом-ветераном. Укрепились дружеские связи с прежде уже знакомыми аспирантами, главным образом среди представителей не гуманитарных, а физических наук. Наиболее видную роль среди них играли напоминавшие Наташу Телетову своим крупным телосложением и уверенностью суждений Галя Штильштейн (любившая шутить: «Хорошего человека должно быть много!») и Тамара Аврукина, замужем за уступавшим ей в росте почти в два раза добродушным и покладистым Витей Янгарбером. Видными участниками сообщества были Алек Приц и остроумный Илья Славуцкий. Юзик Урицкий, активный член этой компании, был уже в течение года моим соседом по комнате.

Однажды ко мне в комнату постучался один из новопоступивших аспирантов, представившийся как Владимир Петрович Недялков, ученик, как и я, профессора Игоря Евгеньевича Аничкова, с которым сотрудничал в Пятигорском пединстиуте, куда тот был направлен в негласную ссылку за несоответствие своих взглядов и поведения советским стандартам. Недялков, впоследствии ставший наиболее близким другом и сотрудником в лингвистических исследованиях, поинтересовался моей диссертационной темой. Он горячо одобрил начатую мной сплошную выписку непереходных глаголов из академического английского словаря Concise Oxford Dicionary, сказав, что это первая попытка проф. Аничкова практической разработки с помощью одного их своих учеников концепции «идиоматики» как самостоятельной лингвистической дисциплины. Почувствовав, по-видимому, какое-то расположение ко мне и перейдя каким-то незаметным естественным образом на «ты», он стал с подкупающей откровенностью рассказывать о себе. Я узнал, что он был преподавателем немецкого языка и, хотя проф. Аничков, по унаследованной еще со времен Первой мировой войны некоторой подсознательной антигерманской установкой, менее интересовался немецким языком, чем английским и французским, активно участвовал в инспирированной им реформе системы преподавания иностранных языков в школе и вузе. Узнал я также, что этой весной

Недялков развелся с женой, чем вызвал неодобрение многих своих коллег. В результате возникших выяснений отношений, а также, как я понял, своего неуживчивого, вспыльчивого нрава, на последнем Ученом совете института он не был проведен по конкурсу, и теперь фактически являлся безработным. Правда, когда дело приняло столь острый оборот, его противники «одумались» и в качестве компенсации выхлопотали ему годовую командировку для завершения кандидатской диссертации. Научным руководителем его был известный профессор немецкого языка, В.Г.Адмони.

Начало шестидесятых годов в стране было временем всеобщего ожидания благих перемен. В наиболее близкой мне гуманитарной сфере эти носящиеся в воздухе ожидания отчетливо прозвучали в новых тенденциях художественной литературы и лингвистики. Публикация в 1962 году в журнале «Новый Мир» повести А.И.Солженицына *Один день из жизни Ивана Денисовича* открыла шлюз для творчества В.Г.Распутина и прозы писателей-«деревенщиков» 60-х – 70-х годов. В поэзии Е.Евтушенко героизировал образ русского поэта, продолжая традиционное для нашего общественного сознания понимание писателя как «учителя жизни», «инженера человеческих душ»: «Поэт в России – больше, чем поэт». Этот образ получил развитие через подчеркивание жертвенности поэтического ремесла: «Смерть поэта – выход в свет» (М. Жванецкий).

В смежной идеологической области новое поколение «младолингвистов» (Ю.Д.Апресян, И.А.Мельчук, Ю.К.Лекомцев и др.) положило конец методологическому изоляционизму нашего отечественного языкознания, прорубив «окно в Европу» (и в мировую лингвистику). Одним из знаковых показателей эпохи была инициированная В.А.Звегинцевым в 1960 году непериодическая серия публикаций под общим названием «Новое в лингвистике» (переименованная позднее в «Новое в зарубежной лингвистике»), ставившая целью, по словам составителя и редактора, «более мобильным и быстрым образом давать советским языковедам интересующую их информацию». Я интенсивно использовал этот издательский бум для приобретения в Доме Книги и других книжных магазинах Ленинграда новейшей научной литературы по самым различным разделам гуманитарного знания. Кроме того, во мне усилилась прежняя библиофильская одержимость поисками в букинистических магазинах изданий прошлых лет и художественных репродукций. В соседнем магазине я купил три сколоченных из досок ящика и, поставив их друг на друга в виде импровизированного научного шкафа, начал укладывать в него приобретенную литературу.

Из старшего поколения советских лингвистов поистине юношескую живость и открытость ума к новым идеям проявил Александр Алексеевич Холодович, видный специалист по японскому языку, известный всему академическому миру Ленинграда своим ироническим остроумием. Один из первых в России, он обратил внимание на нашумевшую на Западе вербоцентрическую теорию французского лингвиста Люсьена Теньера и оценил ее потенциальные возможности для построения оригинальной теории

синтаксиса. Увлекшись этой перспективой, он обратился к руководству Ленинградского отделения Института Языкознания с предложением организовать под своим руководством лингвистическую группу на основании строгого единоначалия, в противовес принципу «коня и трепетной лани», господствовавшему в нашем современном языкознании. По убеждению проф. Холодовича такое единоначалие являлось необходимым условием успешной разработки одной из наиболее перспективных современных синтаксических концепций, требующей полной согласованности работы всех участников группы по плану, представленному им руководству Института Языкознания.

Симптоматично для данного переходного времени, что подобные новаторские проекты часто получали официальную апробацию. Так было и со смелым проектом Холодовича. По рекомендации В. Г. Адмони, наряду с некоторыми другими молодыми лингвистами (В. С. Храковским, И. Б. Долининой, Л. З. Совой, Е. Е. Корди) в состав «группы Холодовича» был зачислен и В. П. Недялков. Через него и я стал участником первых заседаний новообразованного научного коллектива. Кроме меня, сразу возник круг постоянных участников нового начинания, заинтриговавшего многих. В группе царила подлинно демократическая, дружеская и доброжелательная атмосфера. Все участники были приблизительно одинакового возраста, не имели ученых степеней и чувствовали себя равными друг другу. Не было никакого различия между официально принятыми членами группы и «свободно приходящими». Все пользовались одинаковым правом голоса и одинаковой свободой выражения своих мнений по обсуждаемым вопросам. Холодович быстро завоевал общее уважение и симптатию своей терпимостью к чужим мнениям, сопряженной с остротой критических замечаний, порой граничащих с язвительностью.

По ходу наших дискуссий я мысленно проникался во все тонкости теории Л. Теньера, выдвигавшего глагол как синтаксическое «ядро» предложения и трактующий подлежащее как специфический подтип его «дополнения в именительном падеже». Этот вербоцентризм хорощо соответствовал моей продолжающейся выписке полного словарного списка английских непереходных глаголов. Но мне особенно импонировало рассмотрение Теньером глагола в качестве своего рода «сценария» типовой «ситуации», задаваемой ее глагольным ядром. Так, например, глагол ‘купить’ потенциально имплицировал семантические позиции ‘продавца’, ‘покупателя’, ‘товара’, ‘цены’ и других элементов обозначаемой ситуации. Иными словами, семантическая классификация глаголов некоторого языка фактически определяла список типовых ситуаций, которые могут быть выражены на данном языке. Устанавливались соотношения между понятиями глагольного ядра, предложения и обозначаемой предложением ситуации. Таким образом, сугубо специальная диссертационная тема, предложенная мне Игорем Евгеньевичем, начинала обрастать многообразными смысловыми связями не только с различными понятиями лингвистики, но и с заимствованными из других наук (например, одно из

ключевых для теории Теньера понятий «валентности» было перенесено им в синтаксис из химии).

Вспомнился тезис Берковского о необходимости ставить факты «под углом друг к другу». Я подумал, что совокупность глаголов, каждый из которых моделирует специфическую ситуацию, как раз и представляет собой такую семантическую серию конкретных отображений объективной действительности во всем многообразии ее перспектив, то есть сделанных с различных точек зрения ее срезов (ситуаций), противопоставленных под постоянно меняющимся углом друг другу. Таким образом, установка Берковского, в сочетании с концепцией Теньера, хорошо укладывались в мою диссертационную тему, что значительно повышало мою увлеченность ею.

Тем временем медленно, но неумолимо приближался конец моего «утешительного» трехмесячного аспирантского срока и неотвратимый отъезд из Ленинграда. Я решил ехать в Смоленск не поездом, а межгородским автобусом, чтобы в непосредственно осязаемой форме воспринять прощальным взглядом полюбившийся северо-западный край. С этой целью я заблаговременно купил себе место у правого окна в первом ряду. В суете упаковки багажа и его отправки поездом в Смоленск существенную помощь мне оказал практичный и дружески услужливый Витя Янгарбер. Наконец настало 6 декабря 1960 года, день моего отъезда. Автобусный вокзал удручал меня своей прозаической повседневностью, не соответствующей моему эмоциональному настрою. Острота предстоящей разлуки с городом на Неве утрировалась отсутствием хотя бы единого знакомого лица среди провожающих.

Автобус тронулся. На память пришло наблюдение Льва Толстого, что в первую половину далекого путешествия человек обычно думает о покидаемом мире, во вторую – о предстоящем. Сопоставляя два значимые для меня переезда за последние полгода, я убедился в обоснованности первой части этого наблюдения. Так, нынешний мой переезд из Ленинграда в Смоленск был окрашен элегическим настроением по поводу завершившейся аспирантской жизни, подобно тому как предыдущий переезд из Москвы в Пермь после получения направления в Смоленск, закрывавшего перспективы моего возврата в город своей студенческой юности, аналогичным образом был сопряжен с грустными размышлениями об уходящем в прошлое отрезке моей жизни, связанном с городом на Каме. Что же касается второй части толстовского высказывания, относящейся к предстоящему будущему, то во время первого переезда это будущее представлялось в весьма неопределенных и туманных очертаниях, тогда как в настоящий момент оно предстояло в процессе своего реального осуществления и под ритмический шум колес стучалось настойчивой судьбой в мои двери.

Круг четвертый. ГОРОД НА ВЕРШИНЕ ХОЛМА

1. Пристань на Днепре. В Смоленск автобус прибыл около четырех часов дня на рыночную площадь, которая, как и во многих городах Советского Союза, называлась «Колхозной». Присев несколько раз на корточки, чтобы размять затекшие от долгого сидения ноги, я огляделся по сторонам, чтобы получить первое впечатление от своего нового града обитания. Слева на высоком холме возвышался уже виденный мной однажды с поезда величавый собор, окутанный легкой дымкой и как бы парящий в эфире над сутолокой запруженной людьми площади. Я спросил у какого-то прохожего, где здесь находится педагогический институт, и тот указал рукой на здание у самой кромки возвышенности, находящейся на расстоянии около полукилометра от Колхозной площади и отчетливо различимое с того места, где я находился. Привыкший к огромным расстояниям Ленинграда, я отметил про себя такую подтвердившуюся в дальнейшем черту Смоленска, как его компактность и близкое соседство друг к другу его основных культурологических центров.

Я тут же убедился в этом, сев на трамвай, идущий в гору сразу за мостом через реку Днепр мимо собора и едва не пропустив указанную мне улицу. Выйдя всего лишь через одну остановку на закрытую для транспорта улицу Ленина, я прошел по ней до центральной площади города с монументальным гранитным памятником В.И.Ленину и внушительным правительственным зданием Обкома, обойдя который оказался на улице Пржевальского, прямо перед четырехэтажным корпусом Смоленского Пединститута имени Карла Маркса, местом моей предстоящей работы.

Прочтя на одной из дверей в конце коридора на нижнем этаже табличку с уже знакомой мне фамилией «Е. П. Губин», я постучался и представился сидящему за письменным столом человеку, предъявив свое министерское направление на работу. Проректор Губин приветливо поздоровался со мной и провел меня в соседний кабинет к ректору института. Это был Александр Дмитриевич Дунаев, высокий мужчина с равномерными вальяжными манерами екатерининского времени. «Товарищ Фифенков?», – обратился он ко мне. Е. П. Губин со слегка сконфуженным видом поправил его: «Георгий Георгиевич **Сильницкий**». После дежурных фраз о том, как я доехал до Смоленска и успел ли познакомиться с достопримечательностями города, ректор позвонил проректору по хозяйственной части и попросил его зайти в свой кабинет. Тот доложил, что мне давно уже выделена комната в общежитии по улице Дзержинского и что он тут же поручит сестре-хозяйке выделить спальное белье, полотенце и вообще привести комнату в жилой вид.

После его ухода ректор позвонил какой-то женщине и пригласил ее спуститься вниз в ректорский кабинет. Через пять минут вошла дама средних лет, представленная А.Д.Дунаевым как Зоя Дмитриевна Агеева, заведующая кафедрой английского и французского языков. «Как хорошо, что вы наконец

приехали, товарищ Фифенков, – обратилась она ко мне. – Мы уже с самого сентября замещаем вас на занятиях». Строго посмотрев на своего заместителя, ректор подчеркнуто членораздельно произнес: «Георгий Георгиевич Силь-ниц-кий сейчас пойдет устраиваться в общежитии. Я думаю, мы дадим ему возможность отдохнуть с дороги, а завтра с утра вы встретитесь и обсудите все детали его работы».

Явно не ожидавшая этой поправки, растерянно взглянув на Губина, Зоя Дмитриевна смущенно попрощалась и вышла. Позже я узнал, что Е. П. Губин каким-то образом умудрился запомнить мою фамилию как «Фифенков», и я все это время фигурировал в институте под данным псевдонимом, который даже стал нарицательным именем для обозначения долго не являющегося по министерскому направлению преподавателя. Так, на соседнем с нами факультете истории говорили о своем «историческом Фифенкове» (который в конечном счете так и не объявился в Смоленске).

Я задержался на несколько минут в кабинете, когда раздался стук в дверь и вошел высокий, почти двухметрового роста мужчина с крупными скульптурными чертами лица породистого русского барина-аристократа. Ректор представил его как Евгения Федоровича Воронова, приехавшего как и я в Россию из Китая, «так что вам нетрудно будет найти, о чем поговорить». Е.Ф.Воронов охотно взялся показать мне дорогу в общежитие и вообще познакомить с новой для меня обстановкой.

Между холмами, на которых расположился Смоленск, были многочисленные глубокие овраги, что составляло значительнее проблемы для городского транспорта. При всей вышеотмеченной пространственной компактности городского центра Смоленска, чтобы попасть из одного его пункта в другой, даже близко расположенного к нему по прямой линии, зачастую приходилось совершать весьма длительные обходные перемещения, если следовать плановому расположению улиц. Так, уличный путь из пединститута к назначенному мне общежитию пролегал через два больших квартала улиц Октябрьской Революции и Дзержинской, почти перпендикулярных друг другу. Е.Ф.Воронов провел меня вдвое, если не втрое более коротким прямым путем через промежуточный Лопатинский Сад. Я постарался запомнить дорогу для своих предстоящих ежедневных переходов от общежития к месту работы и обратно.

Моя квадратная пятнадцатиметровая комнатка на втором этаже общежития, чуть больше привычной ленинградской 36-й комнаты, была уже готова к приему своего нового жильца. Поскольку она была рассчитана на меня одного, комната вполне удовлетворила меня. Постель была аккуратно заправлена; на спинке кровати висели два чистых полотенца. В моей жизни это было первое единолично мне предназначенное жилье.

Воронов предложил познакомить меня со своим другом, также эмигрантом, но приехавшим в Россию не из Китая, а из Франции, Николаем Дмитриевичем Трегубовым, и отметить мой приезд в ресторане недавно построенной городской гостинице Центральная. Я охотно согласился. Мы вернулись в пединститут окольным путем, так как Воронов непременно

хотел показать мне «памятник “с орлами” – один из лучших памятников не только Смоленска, но и всей России». К этому времени я уже начал ощущать некоторую утомленность от впечатлений дня, и в душе скептически отнесся к «провинциальному патриотизму» моего нового знакомого. Однако вид представшей передо мной монументальной скульптурной композиции тотчас смыл с меня всякие начатки возникавшей душевной усталости. Памятник сразу поразил меня своим общим впечатлением нигде не виданного мною ранее динамизма. Это была в подлинном смысле слова «скульптура в живом действии». Я дал себе зарок в ближайшее время придти сюда одному, чтобы не торопясь изучить его во всех деталях.

Институт к вечеру он был уже почти пустым. Воронов провел меня на четвертый этаж, на котором факультет иностранных языков занимал все левое от лестницы крыло. Все аудитории и кабинеты были заперты; лишь в кабинете французского языка горел свет. В нем сидел за столом человек лет сорока, читая книгу. Это был Николай Дмитриевич Трегубов, который был извещен о моем приезде и дожидался нас, очевидно, зная характер своего друга и предугадывая дальнейший ход событий. Обменявшись приветствиями, мы спустились вниз. Дежурный вахтер выпустил нас через запертую входную дверь в институт, и мы отправились в находящуюся почти рядом Центральную гостиницу. В ресторане официантки приветливо встретили моих спутников как добрых старых знакомых. Обменявшись с ними рядом шутливых замечаний, они сели со мной за, по-видимому, свой привычный стол. Подошедшей официантке Воронов бросил: «Как обычно». Она выжидающе посмотрела на меня. «Ему то же самое. Сегодня ужин за нами», – добавил он мне. Вскоре нам принесли фирменное «жаркое по-смоленски», закуски и бутылку вина.

Быстро перейдя на ты со своими собеседниками, я познакомил их с основными фактами своей шанхайской и пермской жизни, не утаив об аресте отца. Мне не нужно было, как прежде при каждом новом знакомстве, испытывать чувство неловкости из-за несоответствия своего досоветского прошлого общепринятым стандартам социального «ком-иль-фо. Н. Д. Трегубов рассказал о своей непродолжительной учебе в Сорбонне, например, о студенческом клубе юридического факультета (“Maison de Droit” – «Дом Права»), где вся обстановка, от стульев до вилок и ножей, была краденой, причем особым «шиком» считалось, чтобы ворованная вещь была помечена именем учреждения (ресторана, кафе, магазина), откуда она была изъята. Гордостью коллекции была металлическая пластинка с названием станции метро, со стены которой она была каким-то образом отвинчена будущими блюстителями закона и общественного порядка. Рассказал он также о том, что его отец работал в одной малярной мастерской со знаменитым «батькой Махно». (Признаюсь, тогда я отнесся к этому рассказу с некоторой долей недоверия; однако позднее узнал, что известный наш анархист действительно провел последние годы своей жизни в парижской эмиграции, где зарабатывал себе на хлеб физическим трудом).

Воронов в свою очередь поведал, что его детские годы прошли в Харбине, где его отец занимал какой-то ответственный пост в КВЖД («Китайско-восточной железной дороге»); оттуда он эмигрировал в Челябинск, где какое-то время преподавал английский язык в пединституте. Из Челябинска он вынужден был по неуточняемой им причине переехать в смоленский районный центр Рудню. Смоленское областное начальство вскоре прослышало о его свободном владении английским языком и перевело его на преподавательскую работу в пединституте.

Мы долго делились воспоминаниями о различных, преимущественно юмористических эпизодах из столь особого для каждого, и одновременно сходного у всех прошлого. После второй, заказанной уже мной бутылки вина мы завершили наше застолье первоначально приглушенным, но с постепенно нарастающим crescendo пением знакомого с детства марша с лихим припевом:

Ор-р-ружьем на солнце сверкая,
Под звуки лихих трубачей,
По улице пыль поднимая,
Проходил полк гусар-усачей.
Марш вперед! Друзья, в поход!
Черные гусары!
Звук лихой, зовет нас в бой.
Подымайте чары!

Песня произвела впечатление. Сбежались все официантки. Даже из раздевалки появился пожилой гардеробщик и с явным удовольствием на лице слушал наш хоровой экспромт.

Так в конце первого же дня в Смоленске я неожиданно оказался в новой для меня и в то же время знакомой по многим реминисценциям среде бывших эмигрантов, как будто и не уезжал из русского Шанхая.

2. Эмигрантский Смоленск. После трехлетнего пребывания в Ленинграде с его библиотеками, музеями, театрами, концертными залами и обширными человеческими контактами, предстоящий переезд в «провинциальный» Смоленск поначалу предвиделся мне сопряженным с неизбежным понижением общего жизненного тонуса. Однако впечатления первого дня на новом месте показали неисчерпаемые возможности жизни к самообновлению.

Хотя в 60-е годы в стране наметилось некоторое послабление в идеологическом противостоянии с капиталистическим Западом и собственным дореволюционным прошлым, еще весьма сильно было отношение подозрительности и недоверия к «чуждым» элементам, так или иначе связанным с заграницей. Правда, мое эмигрантское прошлое не помешало мне получить высшее образование и поступить в престижную ленинградскую аспирантуру, но меня все эти годы, даже в Ленинграде, не покидало ощущение некоторого «особого отношения» к моей особе со стороны официальных инстанций разного уровня в виде ряда мелких, но

неприятных для личного самолюбия проявлений определенной отчужденности.

Здесь же я оказался в небольшой, но социально однородной среде, снижающей это чувство своей индивидуальной обособленности от окружающих ее равномерным распределением между всеми членами нашего эмигрантского сообщества, к тому же вскоре обнаружившего тенденцию к расширению. В последующие несколько лет оно пополнилось Борисом Михайловичем Масисом (из недавно присоединенной к стране Молдовы, преподавателем французского языка) и Густавом Анжеловичем Гальпериным, получившим образование в Венском университете и преподававшим немецкий язык. Все перечисленные лица свободно владели не одним западноевропейским языком и соответствующим культурологическим наследием. Наверное, в середине 60-х годов в Советском Союзе немного нашлось бы провинциальных вузов, где одновременно работало бы такое количество бывших эмигрантов с разных концов света, преподававших английский, французский и немецкий языки на специальном факультете. Наиболее близкие, дружеские отношения сложились у меня, с того памятного первого моего дня в Смоленске, с Е. Ф. Вороновым и Н. Д. Трегубовым, которые относятся к числу наиболее ярких, своеобразных в своей цельности и, я бы сказал, завершенной «художественно-эстетической» очерченности своей личности, с которыми мне доводилось когда-либо встретиться.

Самой яркой фигурой нашего «эмигрантского землячества» был Е. Ф. Воронов. Это вообще была «знаковая личность» Смоленска, более всего напоминавшая мне тургеневского Рудина. Ходивший зимой и летом с непокрытой головой и развевающейся пышной шевелюрой, с зычным, умело модулируемым баритоном, Евгений Федорович был кумиром доброй половины женского населения Смоленска. Его популярность доходила до крайних пределов: стайки юных девушек на всем протяжении дня по пятам неотступно следовали за ним, куда бы он ни пошел. Ссылкой на него постоянно пользовались для получения билетов на разного рода «дефицитные» мероприятия: спектакли приезжих знаменитостей, концерты, кинофильмы.

Производимое им впечатление отнюдь не оставалось неведомым для самого Евгения Федоровича, который относился к нему как к чему-то похожему на профессиональное удовлетворение. Это была артистическая в своей основе натура. Можно не сомневаться, что он сделал бы незаурядную карьеру в качестве киноактера. Евгений Федорович становился естественным образом центром внимания любой компании. Его коронный номер, неизменно пользовавшийся бурным успехом, назывался «мышкой». Завязав несколько узелков на носовом платке, Евгений Федорович какими-то незаметными движениями заставлял его прыжками передвигаться на своем плече, создавая иллюзию живой мыши. Можно представить впечатление, производимое этим цирковым трюком на присутствовавших женщин.

Виртуозно владея английским (как и русским) языком, он говорил спонтанно, не имея четкого, заранее обдуманного плана своего предстоящего выступления. Выйдя на трибуну, он на ходу импровизировал свою речь, зачастую заканчивая ее выводами, плохо согласующимися с ее исходными положениями, но при этом на всем протяжении выступления безраздельно владея вниманием слушателей. Не раз доводилось наблюдать, как, остановив где-нибудь на углу улицы группу знакомых ему студенток, Воронов начинал по всем правилам риторического искусства вести с ними диалог – точнее, монолог – на английском языке. Прохожие оглядывались, иные ненадолго останавливались, чтобы подивиться необычным зрелищем. Не обращая никакого внимания на случайных зрителей, Евгений Федорович продолжал свою вдохновенную речь.

Масштабный размах человеческой натуры Е.Ф.Воронова сказывался во всех проявлениях его неординарной личности. Скромный преподавательский заработок расходовался им в первую же неделю или полторы после получения очередной зарплаты – но с какой широтой и щедростью! В ресторане он заказывал чуть ли не все блюда, имеющиеся на тот день меню, так что весь стол был заставлен тарелками, и дежурившие официантки собирались поодаль посмотреть, как все это поглощалось. «Я большой, мне много надо!» пояснял Евгений Федорович, смачно обмакивая рубленый бифштекс в яичный желток. Последние трудные дни перед следующей зарплатой Евгений Федорович почти исключительно питался рисом, с необыкновенным искусством (рисинка к рисинке) сваренным по привезенному из Китая рецепту. Из последних денег Евгений Федорович готов был дать в долг просящему, не слишком беспокоясь о его возврате; впрочем, он и сам не отличался особой тщательностью в исполнении своих долговых обязательств.

Николай Дмитриевич Трегубов во многих отношениях представлял по своему характеру прямую противоположность Е.Ф.Воронову (что не мешало их многолетней дружбе). Столь же свободно владея французским языком, как тот английским, он был наделен прирожденным педагогическим талантом и был самым авторитетным и почитаемым студентами преподавателем французского отделения. Не обладая столь картинным внешним обликом, Николай Дмитриевич отличался редким человеческим обаянием, с первой же встречи внушающим любому новому знакомому чувство доверия и душевного расположения. Само его присутствие обладало свойством снимать напряжение, чувство неуверенности и неловкости с окружающих, дать им почувствовать себя «в своей тарелке», «на своем месте», придавать любому событию атмосферу естественности и непринужденности.

Личность Н.Д.Трегубова совмещала в себе, казалось бы, весьма несхожие черты. Полноценный участник дружеских застолий, умеющий ценить жизнь в различных ее проявлениях, он одновременно относился с исключительным чувством ответственности к своим профессиональным и социальным обязательствам. За все десятилетия совместной работы я не

помню ни единого случая пропуска им, или хотя бы опоздания по неуважительной причине на занятие или какое-нибудь общественное мероприятие, несвоевременное исполнение какого-либо общественного поручения или задержку с подачей требуемого по службе документа. Н.Д.Трегубов долгое время с большим тактом и весьма эффективно заведовал кафедрой французского языка, которая неоднократно признавалась по итогам социалистического соревнования лучшей в институте.

Возможно, этими не слишком свойственными нашему национальному темпераменту качествами Николай Дмитриевич был обязан влиянию своей супруги, Ванде Михайловне, немке польского происхождения, преподававшей немецкий язык, лояльно делившей с мужем все бытовые трудности тогдашнего времени и снискавшей к себе всеобщую любовь и уважение коллег своей доброжелательностью и готовностью помочь ближнему в трудной ситуации. Именно с ее легкой руки Евгений Федорович Воронов получил в нашем дружеском общении прозвище на манер немецкого «Ойген».

В целом Н. Д. Трегубов оказывал позитивное влияние на жизнь факультета, являясь одним из основных стабилизирующих факторов в его порой непростой истории. Весьма показательно, что свое последнее занятие в студенческой группе Николай Дмитриевич провел чуть ли не накануне своей кончины от сердечной недостаточности.

О Борисе Михайловиче Масисе у меня сохранились лишь отрывочные воспоминания как о человеке нестандартного образа мысли и поведения. Из множества его афоризмов запомнился следующий: «Заочно изучить иностранный язык – то же самое, что заочно пообедать». В совершенстве владея французским языком, он принципиально общался только на нем как со своими коллегами по кафедре, так и со студентами.

Самые близкие отношения с нашим «эмигрантским землячеством» сложились у Георгия Ивановича Граве – потомка, по слухам, дореволюционной дворянской фамилии. Ни до, ни после знакомства с ним мне не доводилось встречать человека, личность которого сочетала бы столь широкий и разнообразный круг научных интересов с полным отсутствием какой-либо амбициозности, стремления сделать научную карьеру, продвинуться по служебной лестнице. Многолетние углубленные занятия лингвистикой, историей, искусствоведением, древнегреческим языком, математической теорией чисел и другими научными проблемами проводились Георгием Ивановичем ради них самих, ради чувства глубокого внутреннего удовлетворения, порождаемого процессом познания, как таковым, безотносительно к его внешней реализации в виде опубликованных статей и монографий, защищенных диссертаций и т.п.

В результате личность Георгия Ивановича Граве характеризовалась уникальной самодостаточностью его внутреннего мира, высокой степенью его неподвластности внешним невзгодам и треволнениям. Полноценно участвуя во всех перипетиях нашей общей институтской жизни, он одновременно находился как бы «над» текущими событиями, оценивая их с

точки зрения каких-то особых, одному ему ведомых критериев. И невольно задаешься вопросом: не в этой ли способности Георгия Ивановича хранить цельность своего душевного состояния в самых различных обстоятельствах кроется секрет отмечаемой многими его коллегами, общавшимися с ним в последние годы его долголетней жизни, удивительной сохранности его интеллектуального и духовного строя, не поколебленного никакими перипетиями пережитого житейского опыта?

3. Худграф – «нарушитель общественного спокойствия». Мой приезд в Смоленск совпал с появлением художественно-графического факультета в составе нашего пединститута. Из ленинградского периода я вынес увлечение историей живописи, и возможность непосредственно соприкоснуться с миром мастерских, выставок, пленеров и прочих аксессуаров повседневной профессиональной жизни художников, прежде известнной лишь по теоретическим руководствам и репродукциям, определила мое стремление поближе познакомиться с командой молодых выпускников худграфа Московского пединститута им. Ленина, прибывших в Смоленск с целью учреждения нового факультета.

Это был действительно новый факультет, а не просто еще одно учебное подразделение института. Сама его структура и организация учебного процесса ломала многие привычные представления о стандартном факультете. Прежде всего, требовалась значительно более обширная и затратная материальная база с ее мастерскими, наглядными пособиями, холстами, красками, кистями и т.д. Но главное новшество было связано с человеческим фактором.

Полные энтузиазма и молодого задора первопроходцы новорожденного факультета (А. Сергеев, В. и Л. Ельчаниновы, В. Ласкин, Н. Агеева, В. и В. Самарины, В. Марышев) постоянно будоражили общественное мнение новыми начинаниями и инициативами. Валерий Ласкин организовал кукольный театр с выразительными, талантливо выполненными куклами, разыгрывавшими весьма острые по содержанию скетчи и сценки на злободневные темы местной жизни. Эти сценки далеко не всегда встречали сочувственное понимание городских властей и преподавателей института, вследствие чего кукольный театр просуществовал недолго. На бытовом уровне преподавателей, проживающих в общежитии, не могли не раздражать мероприятия типа лыжных гонок в коридоре на принесенном с улицы снегу.

Показательным представляется следующий эпизод. Однажды к концу рабочего дня на лестничной площадке третьего этажа ныне «старого» корпуса была установлена в качестве наглядного пособия недавно приобретенная большая гипсовая статуя Аполлона. На следующее утро мне случилось подниматься по лестнице с Верой Юрьевной Цареградской, заведующей кафедрой немецкого языка, на четвертый этаж, где был расположен наш «иняз», факультет иностранных языков. (Вера Юрьевна представляла собой еще одну знаменательную фигуру нашего факультета, выделявшуюся твердым характером и решительным образом действия).

Спокойно беседуя о текущих учебных делах, мы стали подниматься по последнему лестничному пролету перед третьим этажом, когда вдруг как из-под земли перед нами стала вырастать статуя греческого бога «во всей мужской красе безо всяких прикрас». Оборвав фразу на полуслове, Вера Юрьевна окаменела. Но немая сцена продолжалась лишь несколько секунд. Резким движением поставив сумочку на ступеньку лестницы, почтенная дама бросилась к статуе и стала пытаться сдвинуть ее с места. Безуспешно: статуя была слишком тяжела. К тому же это не имело смысла: Аполлон со всех точек зрения выглядел одинаково неприкрыто. На мои попытки отговорить ее от задуманного, Вера Юрьевна как ножом отрезала: «Георгий, у нас девушки учатся!», и, забыв сумочку (которую я отнес в деканат), решительным шагом направилась в партком. В тот же день статую переместили в более укромное место, и лестничная площадка третьего этажа была восстановлена в ее первоначальной девственной чистоте.

При всех этих «накладках», появление худграфа существенно оживило обстановку в институте, внеся свежую струю как в общественные, так и в межличностные отношения. Одним из новшеств этого столь богатого переменами времени было открытие городского клуба интеллигенции «Арлекин», которому суждено было сыграть весьма существенную роль в общественной жизни Смоленска. Это учащение пульса жизни послужило вторым фактором, наряду с вышеупомянутым эмигрантским сообществом, оттеснившим ностальгические воспоминания о Ленинграде на второй план. Начался период спонтанно, чуть ли не ежедневно возникавших коллективных встреч, диспутов и иных форм человеческого общения. Использовался любой повод для интенсификации человеческих контактов, импровизаций, проявлений творческой выдумки, отмеченных непосредственностью и неподдельным весельем. Именно в этот период сложились многие дружеские связи, сохранившиеся до настоящего времени.

Унаследованный мною от Ленинграда культурологический багаж требовал своего практического воплощения. Моя профессиональная деятельность в институте соответственно осуществлялась по двум линиям, учебной и воспитательно-просветительной. Второй вид педагогической деятельности – организация кружков по различным видам искусства, дискуссионных клубов, творческих встреч с городскими писателями, художниками, музыкантами; чтение лекций по культурологической тематике; проведение вечеров памяти известных деятелей науки и культуры, – едва ли не казался мне наиболее значимым делом моей жизни.

Значительное подспорье в этом отношении оказал мне богатый набор репродукций произведений мировой живописи и скульптуры, накопленный за предыдущие годы. С помощью трех-четырех студентов-энтузиастов наиболее яркие образцы были расклеены на большие листы ватманской бумаги и развешаны по стенам и шкафам английского кабинета. Студенты первоначально смущенно поёживались, настороженно оглядываясь по сторонам, но вскоре освоились и как ни в чем не бывало спрягали английские правильные и неправильные глаголы под присмотром обнаженных Афродит

и Аполлонов. Памятуя о недавнем выяснении отношений между Верой Юрьевной и Аполлоном, я с некоторой тревогой ожидал реакции декана и факультетского партбюро на мою культурологическую инициативу, но все обошлось благополучно, и я даже получил положительную оценку на очередном производственном собрании факультета за «работу по эстетическому воспитанию студентов». С большим энтузиазмом я стал читать учебный курс лекций по истории мировой культуры на худграфе.

Летом 1962 года Зоя Дмитриевна Агеева, по заранее оговоренному согласию с ректоратом, вернулась в свою родную Москву. Решено было разделить руководимую ею двухязычную кафедру на две части: кафедры французского и английского языков. Французской кафедрой должен был руководить Н.Д.Трегубов; английской предложили заведовать мне, как единственному ее члену с законченной аспирантурой и перспективами на ближайшую защиту диссертации.

Тем же летом 1962 г. вышло постановление правительства о перестройке системы преподавания иностранных языков в школе и вузе, инициированное моим научным руководителем, И.Е.Аничковым, активным помощником которого в этом начинании был мой новоявленный друг, В.П.Недялков. Значительные трудности методического порядка, связанные с этим переходом, усугублялись организационными. Реформа предусматривала не только коренное переключение с прежнего «переводного» (с русского на английский) метода на «прямой», ориентирующий студента на непосредственный, живой контакт с изучаемым иностранным языком. Поскольку эти изменения вводились в обязательном порядке во всех специальных факультетах и школах страны, в ближайшие годы надлежало решать двойственную задачу качественной, методической переквалификации преподавателей иностранного языка и двойное увеличение количества преподавателей английского языка. Второе новшество неизбежно порождало дефицит квалифицированных преподавателей английского языка по всей стране. В результате в течение трех или четырех последующих лет мы не начинали ни одного учебного года с полностью укомплектованным кафедральным штатом преподавателей. Приходилось принимать на работу людей с недостаточным уровнем профессиональной подготовки, от которых впоследствии стоило немалых трудов отказаться Таким образом, едва успев приступить к руководству кафедрой, я должен был включиться в коренную реорганизацию ее структуры и учебной деятельности.

Эти объективно обусловленные проблемы дополнялись рядом трудностей субъективного порядка, связанных прежде всего с Е. Ф. Вороновым. Нестандартным образом, как и все, связанное с Евгением Федоровичем, сложилась его преподавательская деятельность. Виртуозно владея английским (как и русским) языком, он говорил спонтанно, не имея четкого, заранее обдуманного плана своего предстоящего выступления. Он на ходу импровизировал свою речь, зачастую заканчивая ее выводами, плохо

согласующимися с ее исходными положениями, но при этом на всем протяжении выступления безраздельно владея вниманием слушателей.

Это органическое тяготение к импровизации сказывалось на преподавательском стиле Евгения Федоровича. Ему казалось «скучным» систематически готовиться к занятиям, разрабатывать учебные программы и планы. В результате любой случайный поворот обсуждаемой на занятии темы мог послужить поводом к длительному отступлению, занимательному самому по себе, но не имеющему отношения к содержанию прорабатываемого вопроса. Студенты первоначально зачарованно слушали его, но по мере приближения очередной сессии начинали проявлять возрастающее беспокойство вследствие неясности, что же им конкретно надлежало отвечать на предстоящем экзамене. Это был хрестоматийный пример рассогласования высокого знания преподавателем своего предмета и методического неумения донести это знание до студенческой аудитории.

Возникали определенные затруднения, которые мне как недавно назначенному заведующему кафедрой приходилось разбирать. Я находился в раздвоенном душевном состоянии. Сознавая, с одной стороны, уникальные возможности Е.Ф.Воронова в плане свободного владения преподаваемым английским языком и испытывая дружеские чувства к нему как к незаурядной личности, я в то же время понимал необходимость внесения каких-то коррективов в его преподавательский стиль. Не найдя другого выхода из сложившейся ситуации, я попробовал распределить годовую учебную нагрузку Евгения Федоровича по четырем или пяти студенческим группам, в каждой из которых он вел бы, в паре с другим преподавателем, сравнительно небольшую часть практических занятий, с предоставлением ему полной свободы действий. «Говори о чем хочешь и как хочешь. Пусть студенты послушают классическую английскую речь. Это в какой-то степени заменит им поездку в страну изучаемого языка». Наличие в группе второго преподавателя должно было обеспечить необходимую степень подготовленности студентов к стандартным требованиям учебного плана.

Все эти затруднения методического порядка и поиски выхода из них неожиданным образом имели положительные для кафедры и всего учебного процесса последствия. Если до этого на факультете все занятия по иностранному языку в каждой студенческой группе вел один и тот же преподаватель, то после вынужденного разделения группы между двумя преподавателями, чтобы дать возможность Евгению Федоровичу в полной мере проявить свои положительные способности, мне стали очевидны дидактические и организационные преимущества так называемой «аспектизации», то есть распределения учебной нагрузки в группе между несколькими преподавателями, каждый из которых специализировался бы на каком-то одном аспекте языковой подготовки (анализе текста, домашнем чтении, разговорной практике и т.д.). Это побудило меня в следующем же учебном году ввести на кафедре соответствующие изменения, так что Евгений Федорович Воронов косвенным образом способствовал реорганизации учебного процесса на английском отделении, последствия

которой сохраняют свою значимость до настоящего времени. Так наша кафедра одна из первых в стране ввела аспектизацию учебных занятий на старших курсах, начиная с третьего, где по учебному плану вводилось чтение специальных теоретических курсов, тогда как на двух младших курсах сохранялось прежнее методическое единоначалие одного единственного преподавателя в группе. Дополнительным доводом в пользу данного решения послужило то, что именно на младшие курсы ложилась основная нагрузка по переключению переводного метода преподавания на прямой.

После переезда Евгения Федоровича в Москву несколькими десятилетиями позже наши жизненные пути разошлись, и мы фактически потеряли контакт друг с другом. Но я до сих пор сохраняю благодарность судьбе за то, что она дала мне возможность близко узнать столь яркий, щедро одаренный образец человеческой природы, какой представлял собой Евгений Федорович Воронов.

Конец декабря 1962 года знаменовался значимым событием в моей жизни – женитьбой на своей студентке-пятикурснице, Гале Мироненко, что вызвало подлинный переполох на факультете и в институте в целом. Вскоре после женитьбы у нас с молодой женой состоялся разговор, сыгравший решающую роль в наших дальнейших взаимоотношениях. Обсуждение с ней фильма «Оптимистическая трагедия» по пьесе В. В. Вишневского, отмеченной в 1950 г. государственной премией, неожиданно вылилось в весьма острую дискуссию, выявившую существенное расхождение в наших жизненных оценках. Под влиянием воспоминания об аресте отца и своего близкого знакомства с западным образом жизни с его провозглашаемыми либеральными ценностями, я выносил весьма нелицеприятные оценки многим отрицательным сторонам советской действительности. Галя осознавала эти негативные явления не менее остро, чем я; но мои филиппики противоречили ее глубинному чувству справедливости и вызывали ее нескрываемое неодобрение. На мои исполненные праведного гнева разоблачения несправедливостей и насилий, чинимых нашими солдатами к концу войны на оккупированной территории Германии, она отвечала, что как женщина она не может не осуждать любое насилие одного человека над другим; однако объективное чувство реальности требует не забывать, что не мы напали на Германию, а она на нас. То огромное насилие, выходящее за рамки любых нормальных человеческих представлений, которое в течение четырех лет войны приходилось выносить нашему народу, не могло не ожесточить его. Удивляться надо не тому, что люди, у которых немцы, возможно, убили всех родных, ответили другим немцам насилием значительно меньшего масштаба, а тому, что эта ответная реакция не была более широкой и повсеместной. Галя вспомнила рассказ своего отца о вернувшемся из побежденной Германии солдате, отдавшем из своего пайка краюшку черного хлеба голодному немецкому ребенку со словами: «На, ешь! Может быть, это твой батька убил моих детей в Вязьме».

Я слушал эти рассуждения Гали, младшей меня на одиннадцать лет (ей только что исполнился 21 год) и дивился в душе: откуда у нее эта нравственная зрелость суждений? Я вынужден был признать правоту органичной цельности ее видения мира перед моей философской изощренностью. Этот разговор поставил последнюю точку, завершившую процесс внутреннего мировоззренческого переключения, вызванного XX-м съездом КПСС, с общеисторической его интерпретации в более субъективно-личностное. Чувство нерасторжимой вовлеченности конкретных реалий моего повседневного существования в процесс русской истории стало отныне постоянным элементом моего мироощущения.

Это первое в нашей семейной жизни успешно преодоленное разногласие прочно скрепило нашу духовную связь и чувство нераздельности наших судеб. Отныне мы с полуслова понимали друг друга, неоднократно отмечая совпадения наших оценок и реакций, при всех различиях наших эмоциональных темпераментов, на все существенные происшествия жизни. Моя спонтанная импульсивность не раз толкала меня на необдуманные решения, от потенциальных последствий которых Галя предохраняла меня спокойной рассудительностью своего трезвого аналитического ума и незыблемостью своих нравственных установок.

Женитьба и назначение меня заведующим кафедрой внесли существенные изменения в мое жизневосприятие. Если в предыдущей моей жизни доминировала сознательно культивируемая установка на личностную самодостаточность, определенную дистанцированность от окружающего мира, то сейчас на первый план вышло чувство ответственности перед семьей и свои коллегами по кафедре.

Течение моей жизни начало входить в стабильное русло. Полет Ю.А.Гагарина в космос 12 апреля 1961 года представлялся добрым предзнаменованием преодоления нашей страной ошибок прошлого и ее вхождения в новую эру духовного и материального процветания. Особенно значимыми, по контрасту с моими шанхайскими воспоминаниями, представлялись подлинно товарищеские отношения между различными нациями, лишенные какого-либо чувства этнического превосходства или неполноценности. Казалось, что в нашей стране проходит историческую «обкатку» и апробацию новый тип межнациональных взаимоотношений, которому суждено в будущем стать общечеловеческой нормой.

В начале 1963 года мною была завершена работа над кандидатской диссертацией, и я прибыл с женой на ее защиту в Ленинградском университете. (По действовавшему в то время правилу, позднее отмененному, защита диссертаций не могла иметь место на той же кафедре, где она была написана). Чувствуя себя старожилом северной столицы, я без устали знакомил молодую жену, впервые посетившую Ленинград, с наиболее любимыми мной его достопримечательностями. Я переживал необыкновенный подъем духа, который в частности проявлялся в активном участии во всех научных мероприятиях, проводимых на кафедре английской филологии Герценовского института и в новообразованной «группе

Холодовича» при Ленинградском отделении Института Языкознания. Таким образом, я оказался тесно связанным со всеми тремя основными лингвистическими центрами Ленинграда. Главным стимулом в моей научной работе была установка на то, чтобы найти какой-то новый подход при обсуждении любой лингвистической проблемы. После выступления на одном из кафедральных семинаров на мой счет была получена реплика Б. А. Ильиша: «Смелость мысли, граничащая с авантюризмом». Я интерпретировал ее в положительном для себя смысле, сделав основное ударение на «смелости мысли» и не уделив особого внимания той доле критики, которая содержалась в ссылке на «авантюризм». С особым увлечением я включился в жаркие дискуссии, почти ежедневно проводимые в «группе Холодовича» (или «типологической группе», как она все чаще стала именоваться) с многочисленными нештатными участниками..

4. Испытание. Перечисленные проблемы настолько поглотили мое внимание, что порой оттесняли на второй план мысли о предстоящей защите диссертации. Подсознательно я уповал на появившуюся в последнее время спонтанную легкость находить по ходу дискуссии четкое выражение аргументации в защиту своих взглядов. Но проснувшись утром в назначенный день защиты я вдруг с тревогой осознал, что у меня нет ясного представления о логической последовательности и дословного текста своего выступления на Ученом Совете, служащего гарантом от неизбежного волнения и различных неожиданностей, могущих возникнуть в незнакомой мне обстановке.

Защита была назначена на одиннадцать часов утра. К счастью, моя зашита была не первой, а второй, что давало мне еще около двух с половиной часов свободного времени перед ее началом. Наскоро позавтракав, в десять утра я был в университете, договорился с одним знакомым аспирантом, что я буду находиться в читальном зале университета и, попросив его сообщить мне о конце первой защиты, я удалился туда и попытался сосредоточиться на подготовке своего выступления. Сказывалось нарастающее волнение, отвлекали входящее и выходящие из читального зала люди и приглушенные переговоры библиотекаря с обслуживаемыми им читателями. Письменный текст выступления складывался менее спонтанно и легко, чем ожидалось. Прошло около трех часов, когда вошел мой знакомый и сообщил, что первая защита прошла успешно и закончилась единогласным голосованием в пользу соискателя. Я прошел в зал заседаний Ученого Совета.

Вел заседание профессор Юрий Сергеевич Маслов, председатель Ученого Совета. Моим первым оппонентом был академик Борис Александрович Ларин, известный филолог широкого научного профиля, видный специалист по общему языкознанию, славянским языкам и санскриту. Из членов моей родной герценовской кафедры присутствовал один лишь Игорь Евгеньевич Аничков. Отзыв Б. А. Ларина был в целом выдержан в положительном тоне. Основное его критическое замечание состояло в указании недостаточно четкого противопоставлении в моей диссертации понятий «словосочетания» и «предложения», первое из которых

выполняет номинативную функцию, второе – коммуникативную. Это его замечание определило основное течение последовавшего научного обсуждения. Выступающие единодушно подчеркивали б*о*льшую лексико-семантическую природу словосочетания и грамматическую предложения. Весьма резкие возражения вызвал самый заголовок моей статьи «*Семантические* типы предложения», представленной первым номером в моем списке публикаций. Дискуссия осязаемо принимала все более острый характер. Кто-то спросил, как соотносится модная на Западе теория Теньера, имя которого я упомянул в своем выступлении, с известной работой А. М. Пешковского «Русский синтаксис в научном освещении». Из моего ответа выявилось мое недостаточное знакомство с этим произведением, а также с фактом посещения Л. Теньером России в начале XX в. и влияния, оказанного на него русской языковедческой школой. Не знал я также о том, что первое упоминание в нашей науке центрального для Теньера термина «валентность» применительно к языковому синтаксису было сделано еще в 1940-х годах нашим ленинградским лингвистом профессором Соломоном Давыдовичем Кацнельсоным, присутствующим на заседании Совета.

Наконец, обсуждение диссертации завершилось; была избрана счетная комиссия, которая удалилась для подсчета голосов, долженствовавшего решить мою научную судьбу. После весьма долгого отсутствия, начавшего вызывать некоторое беспокойство в зале, вошла председательница комиссии и стала что-то обсуждать с Ю. С. Масловым. Тот подозвал Б. А. Ларина и они продолжили обсуждение втроем. Зал притих и выжидательно наблюдал за ними. Наконец Ю. С. Маслов прокашлялся и сообщил, что в урне после тщательного подсчета оказалось одним отрицательным голосом больше, чем положено по штату, чтобы считать защиту диссертации успешной. Сразу после него взял слово Б. А. Ларин и сказал, что защита диссертации, посвященной весьма актуальной лингвистической проблеме, в целом прошла на достаточно высоком научном уровне, и ее отрицательный исход, по-видимому, определяется недостаточной осведомленностью диссертанта о некоторых частных фактологических особенностях научной жизни Ленинграда и страны. Поэтому он предлагает включить в принимаемое Советом решение пункт о предоставлении диссертанту возможности переработать свое исследование и представить его, с учетом результатов прошедшего обсуждения, на повторную защиту на ту же тему. С. Д. Кацнельсон предложил включить в данный пункт ссылку на сравнительно недавний приезд в Советский Союз диссертанта, не успевшего войти в полной степени во все подробности нашей научной жизни; но остальные члены Совета сочли это дополнение излишним и предложенную Б. А. Лариным оговорку вполне достаточной. В этой редакции постановление Ученого Совета было принято единогласно.

После закрытия заседания я обменялся несколькими словами с Игорем Евгеньевичем, пытаясь сохранить бодрый вид при владевшем мною душевном смятении. Мы договорились о встрече у него дома на следующий день для обсуждения сложившейся ситуации.

5. Самоопределение. Вопреки моим опасениям, наше возвращение в Смоленск не было столь драматичным, как ожидалось. Ни на ректорате, ни среди моих сослуживцев на факультете моя поездка в Ленинград не вызвала особых комментариев, будучи, очевидно, интерпретирована, благодаря спасительной для меня оговорки Б. А. Ларина, как итоговая апробация диссертации по месту ее будущей защиты. Для меня начался процесс критического переосмысления моих научных установок.

Определяющим ориентиром в этом процессе послужило замечание Б. А. Ильиша о «смелости мысли, граничащей с авантюризмом». Для меня все более очевидным становилось, что то, что Ильиш называл «авантюризом», состояло в недостаточном методологическом обосновании изложения. Это составляло основную мою слабость, уже приведшую к неудачной защите диссертации и грозящую погубить на корню всю мою научную карьеру. Поэтому самым настоятельным для меня в данный момент представлялось не стремление поразить воображение слушателей неожиданными сопоставлениями и ассоциациями, то есть «постановкой фактов под необычным углом друг к другу», а кропотливый умственный труд над усилением последовательности и научной обоснованности своего рассуждения.

Так началось мое продолжающееся многие годы углубленное чтение современных трудов по философской дисциплине, исследующей общие вопросы технологии научного исследования, именуемой у нас «Методологией науки», по-английски – «The philosophy of science». Моя личная библиотека стала непрестанно пополняться книгами Е. Нагеля, К Р. Поппера, Х. Райхенбаха, А. Койре, Г. П. Щедровицкого, Ю. Д. Апресяна, испещренными обильным подчеркиванием в тексте и заметками на краях. (В этот период я усвоил привычку в конце книги составлять своего рода индекс ее содержания с указанием страниц, что позволяло мне по прошествии многих лет быстро просматривать интересующие меня темы и находить нужную цитату).

Самым значимым для меня общим выводом, вытекающим из рассуждений основных авторитетов в сфере методологии научного исследования, состоял в том, что следует различать два уровня любой научной модели – *эмпирический* и *когнитивный*. Первый из них определяется конкретными сенсорно воспринимаемыми показателями исследуемого участка объективной действительности, второй представлен абстрактной логической структурой отвлеченных понятий, служащей объяснением первой, эмпирической структуры. Обоснование этой двухуровневой научной модели я нашел в коллективном двухтомном сборнике под изданием P. A. Schilpp, посвященном А. Эйнштейну. По словам этого высшего мирового научного авторитета, один из наиболее распространенных в научном мире предрассудков «состоит в вере, что факты, взятые сами по себе, могут и должны порождать научное знание независимо от какого-либо свободного концептуального конструирования… На самом же деле все понятия, даже те, которые наиболее тесно связаны с опытом, являются с

логической точки зрения свободно выбранными конвенциями». При этом Эйнштейн делает следующую оговорку: «На практике мир объективных явлений однозначно определяет теоретическую систему, несмотря на тот факт, что не существует логического моста между феноменами и их теоретическими принципами». Таким образом, Эйнштейн утверждает, что в конечном счете именно отображение объективного мира определяет процесс познания, но делает это не путем прямого извлечения абстрактных понятий из наблюдаемых фактов, но посредством свободного конструирования логических интерпретаций сенсорных данных.

В советской лингвистике начала 60-х годов интенсивно обсуждался вопрос о соотношении формального и смыслового уровней языка. Была выдвинута гипотеза «изоморфизма» этих двух языковых планов, то есть предположение о соответствии друг другу отношений эмпирического и когнитивного уровней. Вопрос стоял о применимости вышеприведенной двухуровневой научной модели, с ее принципом отсутствия прямой выводимости объяснительного уровня понятий из сенсорно воспринимаемых данных, к структуре языка. Решающим для меня аргументом в этом вопросе послужило замечание, высказанное И.А.Мельчуком о соотношении между каузативной и некаузативной формами русского глагола: некаузативный глагол («открыться») характеризуется более сложной формальной структурой (наличием морфемы «-ся») и более простой семантикой (отсутствием семы каузации), чем его каузативный коррелят («открыть»), определяемый обратным соотношением сопоставляемых признаков (более простой формальной структурой и более сложным значением). Таким образом, здесь наблюдается прямое несоответствие между формальной и смысловой структурами глагола. Не знаю, под влиянием ли этого конкретного наблюдения Мельчука, но Холодович привлек его к самому тесному сотрудничеству в разработке валентностной теории залога, одним из основополагающих принципов которой послужил тезис о взаимонезависимости формальной и семантической структур предложения.

Грамматическая категория залога служила наглядным показателем отсутствия обязательного соответствия этих двух планов в языке: действительная и страдательная структуры предложения, маркируемые различными формальными (морфологическими и синтаксическими) признаками, служили для выражения одной и той же ситуации на содержательном уровне. Предложение в одном и том же действительном залоге могло выражать как каузативную, так и некаузативную ситуацию (ср. ‘Он открыл окно’ – ‘Он едет в Москву’). Один и тот же смысловой признак (например, «место») может иметь выражение посредством различных формально-синтаксических единица (ср. ‘Он вышел *из комнаты’* – ‘Он покинул *комнату*’).

Таким образом, наметилась связь между двухуровневой когнитивной моделью процесса научного познания современной «философии науки», подкрепленной авторитетом Эйнштейна, и разрабатываемой А. А. Холодовичем и его школой синтаксической моделью предложения,

служащей языковым средством выражения результата этого процесса познания в виде предложения. Каждая из двух сопоставляемых моделей характеризовалась относительной самодостаточностью и взаимной независимостью ее двух уровней. Эти две изоморфные друг другу модели стали рассматриваться мной как частные проявления единой, более обобщенной двусторонней *информационной* модели, играющей связующую роль между субъектом и внешним миром и состоящей из двух уровней, которые представлялось возможным назвать, используя популярную в те годы теорию Н.Хомского, *поверхностным* и *глубинным.* Поверхностный, во-вне обращенный уровень служит проводником сенсорно воспринимаемой информации о внешнем мире, перерабатываемой когнитивными механизмами глубинного уровня в интерпретацию наблюдаемого объективного участка («ситуации»). Глубинный уровень задает *содержательный, смысловой* аспект соответствующей модели, поверхностный – ее *формальный* аспект выражения. Изоморфизм этих двух моделей определялся центральным для обеих постулатом об отсутствии полного одно-однозначного соответствия между поверхностной и глубинной структурами и их элементами, то есть о возможности различных интерпретаций одной и той же поверхностной структуры и о различных способах формального выражения одной и той же глубинной структуры.

Дальнейшие мои размышления об этой обобщенной двухсторонней модели привели меня к заключению, что она применима к описанию не только когнитивных структур (научных, философских, языковых), но также произведений художественной литературы и других видов искусства. Иными словами, она отображает внутреннюю структуру любого культурологического явления, то есть *культуры* как таковой во всех ее проявлениях, от элементарной ее «клеточки» в виде отдельно взятого предложения до сложных образований типа научных теорий и художественных текстов.

Согласно постулату Эйнштейна, соотношение между поверхностной и глубинной структурами когнитивной модели не является симметричным. Возможен прямой путь от глубинного уровня к поверхностному, но не в обратном направлении «Теория может быть проверена опытом, однако не существует прямого пути от опыта к установлению теории». Эти рассуждения могут свидетельствовать о приоритетной роли когнитивного уровня в любой культурологической модели, определяющего ее структуру и способ реализации.

Применительно к моей собственной научной теме это означало выделение понятия *семантического типа предложения* в качестве ключевого для моего исследования. В ленинградской группе Холодовича интенсивно дискутировалась теньеровская «валентностная» теория залога. Доминировала точка зрения, что различие между транзитивным глаголом (‘Он *открыл* дверь’) и интранзитивным (‘Дверь *открылась*’) носило формально синтаксический характер, определяемый наличием или отсутствием позиции прямого дополнения у ядерного глагола. Я отстаивал мнение, что это

различие имело в своей основе не формальный, а *смысловой* фактор – наличие или отсутствие в семантической структуре глагола особого *каузативного* значения («семы») ‘причинения’ некоторого следствия (за что получил у Холодовича шутливое прозвище «наш семантик из Смоленска»).

В соответствии с пониманием И. Е. Аничковым «идиоматики» как дисциплины, исследующей соотношения не между грамматическими формами, а между лексическими значениями слов, то есть в качестве раздела семантического синтаксиса, в 1961-м году свою первую публикацию в смоленских Ученых записках я озаглавил «Семантические типы предложения», выделив типы «Действия», «Процесса» и «Движения», в чем получил горячую поддержку Вдадимира Недялкова, убежденного сторонника Игоря Евгеньевича во всех его начинаниях. Сочетание исследовательских установок «идиоматики» И.Е.Аничкова и «вербоцентрической» концепции Теньера-Холодовича, в свою очередь, определяло ведущую роль глагольного «ядра» предложения в моделировании его структуры. Таким образом, проблема установления семантических типов предложений изучаемого языка фактически сводилась к семантической классификации полного словарного списка его глаголов в личной форме. Это и стало основной целью моих исследовательских усилий в ближайшие полтора года. С благодарностью хочу отметить неоценимую помощь, оказанную мне в этом отношении мамой, которая собственноручно (при полном отсутствии в то время компьютеров и иных вспомогательных средств) переписала из словаря *Concise Oxford Dictionary* полный список непереходных английских глаголов в сочетании с их наиболее обобщенными типовыми подлежащими. Итог работы состоял в формулировке трех вышепредставленных семантических классов английских непереходных глаголов и моделируемых ими простых нераспространенных предложений.

Осенью 1964 г. в Институте Языкознания АН СССР состоялась IV научная сессия по германскому языкознанию, посвященная проблеме структурно-типологического описания современных германских языков. Это был наиболее авторитетный в нашей стране научный форум для обсуждения вопросов, непосредственно связанных с основным направлением моих научных поисков, и я решился подать заявку на свое участие в нем. Заявка была принята. Наученный опытом неудавшейся защиты своей диссертации, я уделил тщательнейшее внимание методологическому обоснованию каждого последовательного шага в предлагаемой аргументации и его эксплицитной формулировке в заранее заготовленном тексте выступления.

Все эти предосторожности не оказались излишними. Мне еще никогда не приходилось выступать на столь обширном и подавляющем своей авторитетностью научном собрании, включающем значительную часть наиболее известных в лингвистике ученых нашей страны. Лишь твердая опора готового текста позволила мне справиться с волнением и довести свое выступление без сбоя до конца. По завершении заседания ко мне подошел один из присутствовавших, на вид старше меня на несколько лет, и стал убежденно рассуждать о необходимости разработки семантической

типологии языков, параллельной с фонологической. Лишь через несколько минут я понял, что я говорю со слепым человеком. К нам подошли еще несколько молодых ученых, и мы отправились среди других участников сессии в ведомственную столовую Института языкознания.

С. М. Шур оказался душой и центром группы молодых энтузиастов фонологической теории, и хотя я сам все более утверждался в своей увлеченности глагольной семантикой и имел лишь самые общие представления о фонеме, приобретавшей статус одного из основных объектов передовых лингвистических исследований, мне были чрезвычайно интересны их жаркие диспуты о различных проблемах этой относительно новой для меня лингвистической сферы. Участвуя в их спорах, я близко познакомился с М. В. Раевским, В. Я. Плоткиным, А. А. Либерманом, Е. Л. Гинсбургом. Особо значимым для меня был интенсивно обсуждаемый, основополагающий тезис о наличии у фонемы лишь смысло*различительной*, но не смысло*выразительной* функции: способность фонемы служить показателем лишь несовпадения между различными значениями, но не выражать их непосредственно, хорошо укладывалось в мое представление об отсутствии обязательного прямого соответствия между поверхностной и глубинной структурами любой культурологической модели, начиная с элементарного предложения.

В 1964 году Борис Александрович Ларин, с которым у меня сложились особо доверительные отношения при посредничестве глубоко почитавшей его научного секретаря со знаменательной для меня фамилией «Смолян», скончался от тяжелой болезни. Володя Недялков рекомендовал меня своему научному руководителю, В. Г. Адмони, который согласился выступить моим первым официальны оппонентом на защите, состоявшейся в 1965 г. Защита прошла спокойно и завершилась удачно. Интенсификация в последующие несколько лет диспутов в ленинградской группе Холодовича о синтаксической структуре предложения фактически положила конец моему активному сближению с московской группой неофонологов.

В 1969 г. вышла первая коллективная монография «Типология каузативных конструкций» группы «структурно-типологического изучения языков», как стала официально именоваться исследовательская группа Холодовича. Все многообразие вариативных отношений между различными подтипами каузативных значений и морфологическими способами их формального выражения было рассмотрено в 15 специальных статьях, написанных на материале древнекитайского, абхазского, арабского, бацбийского, венгерского, грузинского, индонезийского, ительменского, нивхского, таджикского, финского, чувашского, чукотского, японского языков и суахили. Кроме того, отдельные аспекты соотношения смыслового и формального уровней каузативных ситуаций были рассмотрены в различной степени подробности во вступительной обзорной статье на материале более 70 разноструктурных языков, простой перечень которых дает наглядное представление о тщательной обоснованности тезиса о широком многообразии формальных средств выражения данной

семантической категории. Были рассмотрены аварский, адыгейский, аймара, айнский, албанский, армянский, бамбара, башкирский, блэкфут, бирманский, бурятский, вийот, готский, гуарани, туника, дакота, древнеисландский, зулу, кабардинский, кечуа, кламат, коми, корейский, кроу, курдский, кус, кхмерский, латинский, лезгинский, малаялам, мансийский, маньчжурский, марийский, мивок, монгольский, моха, нанайский, немецкий, осетинский, пиро, пушту, санскрит, сиуслав, такельма, татский, телугу, тубатулабал, турецкий, узбекский, французский, хантыйский, хауса, шошоне, эвенкийский, эскимосский, эстонский, юкагирский, якутский. Таким образом, на примере каузативных значений было дано фактологическое подтверждение реально имеющего место многообразия соотношений глубинного и поверхностного языковых уровней, отсутствия одно-однозначных, фиксированных корреляций между семантическим и формальным планами языка на рассматриваемом его участке.

Первая попытка осмысления этой первичной индуктивной классификации в более широкой системе абстрактных общетеоретических понятий была предпринята в марте 1970 г. на научной конференции «Категория залога» при Ленинградском отделении Института Языкознания. Центральную роль на данной конференции играло понятие «*диатезы*», получившее определение как «схема соответствия между единицами синтаксического уровня и семантического уровня» (А. А. Холодович). Таким образом, система отношений между поверхностной и глубинной структурами предложения была эксплицитно выделена в качестве самостоятельного объекта исследования. Категория залога соответственно определялась как «регулярное обозначение в глаголе соответствия между единицами синтаксического уровня и единицами семантического уровня. Короче, залог – это грамматически маркированная в глаголе диатеза». Было показано, что специфика межуровневых отношений диатезы состоит в том, что они носят не константный, раз навсегда заданный характер, а переменный: один и тот же элемент синтаксического уровня может, сохраняя свою идентичность, выражать различные элементы семантического уровня, и наоборот, один и тот же элемент семантического уровня может иметь выражение в различных элементах синтаксического уровня. Говорящий свободен менять соотношение элементов двух уровней в зависимости от конкретных целей коммуникации в соответствии с правилами данного языка, подлежащих формально-логическому исчислению.

Вариативность межуровневой диатезы может быть сопряжена с различными степенями изменяемости ее семантической структуры, начиная с почти полной смысловой идентичности активной формы предложения с пассивной, характеризуемой лишь некоторым семантическим ослаблением субъекта в факультативной позиции синтаксического косвенного дополнения, до его полной элиминации в декаузативной конструкции (*Он открыл дверь → Дверь открылась*). В последующие годы система понятий, апробированная на конференции 1970 г., была применена, по аналогии с категорией каузативности, к целому ряду других категорий и связанных с

ними диатез: «Типология пассивных конструкций. Диатезы и залоги» (1974; ред. А. А. Холодович), «Проблемы теории грамматического залога» (1978; ред. В. С. Храковский), «Типология результативных конструкций» (1983; ред. В. П. Недялков), «Типология конструкций с предикатными актантами» (1985; ред. В. С. Храковский), «Типология таксисных конструкций» (2009; ред. В. С. Храковский) и др.

Каждая из диатез этого далеко не полного списка представляет собой уникальную парадигму по составу своих синтаксических и семантических признаков и структуре соотношений между ними. Данная парадигма имеет существование только как факт человеческого сознания, объективируемый в процессе речи, и поэтому может служить предметом исследования лишь гуманитарных, но не естественных наук. Поскольку речевой процесс является интенциональным, человек как субъект речи характеризуется свободой варьирования элементами своего «диатетического», полифонического сознания, способностью перестановки единиц двух его взаимонезависимых уровней в новые сочетания, то есть менять структуру культурологической диатезы в большем или меньшем ее масштабе. В такой постановке элементов поверхностного, сенсорно определяемого уровня в новые соотношения с единицами независимой от него системы глубинных абстрактных понятий стала видеться мне сущность мышления и любого человеческого творческого процесса. Эти рассуждения послужили основанием для понимания моей многолетней потребности всемерно увеличивать круг моих теоретических представлений о мире в качестве проявления не праздной любознательности, а интуитивно осознаваемого стремления расширить интерпретационные возможности моей мировоззренческой диатезы относительно постоянно поступающей из внешнего мира информации о происходящих в нем изменениях. Достигнутое таким образом равновесное психическое состояние, разрешившее многие противоречия моего предыдущего существования, определило стабильность данного периода моей жизни в обеих ее ипостасях, смоленской и ленинградской.

В Смоленске я обрел постоянный «ближний круг» в лице переселившихся в наш город одновременно со мной молодых художников из Москвы, столь же мало обремененных, как и я, прошлыми связями в своем новом жизненном окружении и соответственно открытых для установления новых контактов и человеческих отношений. Эта константная, не зависящая от преходящих обстоятельств «общая компания» полностью удовлетворяла мою потребность в дружеском общении и нейтрализовало порой возникавшее в прошлом, особенно в последние полтора года пермского периода, чувство социальной обособленности с его стремлением выйти за узкие пределы давно установившихся, привычных человеческих отношений, не несущих в себе возможности возникновения чего-то качественно нового, ранее не испытанного. Это был период повышенной жизненной вовлеченности, многолюдного празднования всех официальных красных дат календаря, как и почти ежедневно спонтанно возникавших частных поводов

для коллективного веселья. Еженедельно по субботам в библиотеке института проводились танцевальные вечера отдыха, усердно посещавшиеся молодым поколением преподавателей обоих полов, вступавших в непринужденное, лишенное формальной дистанцированности общение как между собой, так и со студентами. На английском, позже немецком и французском отделениях нашего факультета начали действовать студенческие «клубы» с программами и обязательным общением на соответствующих иностранных языках, с пением средневекового студенческого гимна *Gaudeamus igitur,* многочисленными конкурсами и юмористическими сценками из местной институтской и городской общественной жизни.

На факультете иностранных языков новые веяния 60-х годов получили симптоматичную реализацию в виде студенческого «Театра эстрадных миниатюр» («ТЭМ'а»), созданного по инициативе Елены Ивановны Дунаевой, супруги ректора института, Александра Дмитриевича Дунаева (последним обстоятельством, по-видимому, определяется значительно б*о*льшая продолжительность существования данного начинания, чем худграфовского кукольного театра).

Елена Ивановна Дунаева, читавшая курс педагогики на нашем факультете, достойна занять видное место в галерее знаковых фигур Смоленского пединститута описываемого периода. Женщина сильной воли, живого ума и твердых нравственных убеждений, она пользовалась большим уважением у преподавателей и студентов и оказывала существенное влияние на общественную жизнь факультета. С ее подачи и при ее постоянной поддержке был создан творческий коллектив, объединявший ряд преподавателей, анонимных авторов юмористических сценических зарисовок, и студентов-исполнителей, среди которых видную роль играли Римма Гуревич и Людмила Дунаева, в последовавшие годы работавшие преподавателями на факультете.

ТЭМ-овские выступления пользовались огромным успехом не только на факультете, но и в масштабе институтской и общегородской аудиторий. Запомнилась сценка, изображавшая итоговое заседание приемной комиссии, долженствовавшей отобрать ограниченное число принятых студентов из значительно большего количества абитуриентов, успешно сдавших вступительные экзамены. После длительных обсуждений на последнее свободное место осталось два кандидата, набравших одинаковое количество баллов. Комиссия пребывала в полной нерешительности, кому отдать предпочтение. Кто-то из ее членов задумчиво произносит: «Один брюнетик, другой блондинчик». Председательница решительно заявляет: «Долой блондинчика. У нас вуз, а не оперетта!». Эта фраза – «У нас вуз, а не оперетта!» – стала расхожей в нашем преподавательском кругу и часто повторялась по различным поводам, никак не связанным с ее исходным контекстом.

Некоторые миниатюры имели весьма острый критический подтекст. В инсценировке комсомольского собрания Аркаша Болейко, простодушная

наивность которого завоевала ему симпатию зрителей, долго перечислял всевозможные недостатки на факультете. На вопрос из зала о его конкретных предложениях по исправлению этих недостатков, после умело сыгранной заминки, выпрямившись во весь рост и высоко подняв голову, Аркаша внушительным тоном произносил: «Я предлагаю… организовать хор!». Данная реплика неизменно сопровождалась радостными всепонимающими аплодисментами зрителей и подспудно сопровождала в виде неслышимого аккомпанемента многие наши производственные собрания.

Большой резонанс на факультете имела любительская постановка на английском языке по инициативе преподавателей Э.Г.Скобликовой и И.Д.Копытовой пьесы О.Уайльда «The importance of being Earnest», где мне по иронии судьбы досталась роль прожигателя женских сердец, тогда как более соответствовавший этому сценическому амплуа Е.Ф.Воронов воплощал образ безупречно «правильного» во всех отношениях мужчины. Еще долго потом участники постановки по различным поводам обменивались в кафедральном обиходе отдельными репликами из пьесы.

Не менее драматично складывался мой преподавательский стиль. Вскоре после начала моей преподавательской деятельности, я понял, что чтение лекций в большей степени отвечает моим внутренним склонностям, чем ведение практических занятий по английскому языку. Поэтому я использовал начавшуюся кафедральную реорганизацию для увеличения доли лекционной нагрузки в моем индивидуальном учебном плане, тем более что именно в сфере обеспечения теоретических курсов кафедра испытывала основные трудности при охватившем всю страну кадровом дефиците квалифицированных преподавателей английского языка. Кончилось тем, что в моей учебной нагрузке вообще не осталось места для практических занятий по языку, и я с тех пор полностью переключился на разработку и чтение лекционных курсов практически по всем специальным лингвистическим дисциплинам учебного плана, кроме методики преподавания английского языка, которую в течение уже многих лет вела Э.Г.Скобликова. При этом, учитывая слабое владение студентами специальной лингвистической терминологией на английском языке, приблизительно на протяжении первых двух третей каждой лекции я по-русски излагал основное содержание очередной темы, а в заключительной ее части давал подробный синоптический обзор этого содержания на английском языке с обстоятельным разъяснением ключевых понятий. Студенты постоянно предупреждались, что на семинарских занятиях они могут изъясняться на любом из двух языков, а на зачетах и экзаменах – только на английском. Результаты экзаменов показали, что данная дидактическая методика является достаточно эффективной.

Сложившаяся привычка суммарно излагать любую тему во внутренней смысловой последовательности ее развития, легко укладывающейся на синоптический пересказ на другой язык, имела тот результат, что она не менее четко укладывалась в моей памяти. Через некоторое время я обнаружил, что, не пользуясь никакими предварительными записями, я могу

по памяти воспроизводить и по ходу изложения вносить изменения в длительные цепочки рассуждений и целые разделы читаемого курса. Через два-три учебных года я уже свободно владел основной логической структурой главных из читаемых мною лекционных курсов и испытывал необходимость обращения к письменным записям только для иллюстративных примеров. В результате в течение нескольких последующих десятилетий я читал значительную часть своих теоретических курсов, не имея при себе ни единого клочка бумаги с какими-либо записями. Это порой приводило к весьма комичным результатам. Запомнились несколько случаев, когда я начинал лекцию и вдруг ощущал какое-то странное беспокойство у своих слушателей. Я прерывал лекцию и с некоторым раздражением осведомлялся у аудитории, что у нас не так. Выяснялось, что я читаю не тот курс, который представлен в расписании. Стремясь превратить эпизод в шутку, я с мнимой, никого не обманывавшей серьезностью утверждал, что просто хотел проверить бдительность своих студентов, насколько сознательно они относятся к моим лекциям. Затем следовала моя стандартная фраза: «Так на чем мы остановились в прошлый раз?». Кто-то из близ сидящих слушателей зачитывал последнее предложение предыдущей лекции. Выдержав мимолетную паузу для сосредоточения мысли, я как ни в чем не бывало продолжал прерванное на прошлой неделе изложение.

За свою жизнь в Смоленске нам с Галей трижды довелось осваивать новое местожительство, переезжая на новые квартиры. После третьего переезда мы поселились в нескольких десятках метров от «памятника с орлами», произведшего на меня столь сильное впечатление в первый мой день в Смоленске. Став чем-то вроде постоянного элемента моего домашнего окружения, он постепенно приобрел для меня более широкое, общечеловеческое значение не только как отображение одного из конкретных, хотя и ключевых событий войны с Наполеоном, но в качестве символа человечества, неудержимо стремящегося ввысь к недосягаемому идеалу.

Не менее насыщенно и полноценно, чем на Смоленщне, складывалась моя жизнь в Ленинграде. Эти две параллельные друг другу сферы существования, не перекрещивавшиеся в круге своих действующих лиц, ассоциировались в моем представлении с двумя самостоятельными планами моей экзистенциальной диатезы, смоленским ее уровнем, как более тесно связанным с материальными условиями бытия, и ленинградским, более абстрактным и независимым от этих условий.

С Володей Недялковым у меня сложились весьма своеобразные дружеские отношения. Он горячо сочувствовал моим научным начинаниям, всячески помогая мне в подготовке к повторной защите. С другой стороны, я, как и все сколько-нибудь близкие к нему люди, испытал на себе критическую нетерпимость во всех мелочах бытовой жизни. Меня всегда поражало в нем сочетание тиранической безапелляционности в суждениях, касающихся повседневного жизненного распорядка, и какой-то трогательной неуверенности в своих научных писаниях, проявляемой в постоянных

поисках чужого одобрения. Недялков непрестанно одолевал окружающих просьбами дать критическую оценку своих рукописей и обижался, если их отзывы не носили достаточно подробный характер с указанием конкретных ошибок и предлагаемых исправлений. В виде заслона, оберегавшего мой внутренний мир от его постоянных указаний на несоответствия моих жизненных реакций каким-то одному ему ведомым нормам, я сразу выработал особый юмористический стиль общении с ним, часто разряжавший возникавшие напряжения приступами безудержного смеха с его стороны. Вместе с тем, вследствие сознания его большей опытности в практических делах и искреннего чувство благодарности за оказываемую мне разнообразную бескорыстную помощь – прежде всего, за привлечение к научной деятельности группы Холодовича – я безотказно помогал ему по мере своих сил в научной формулировке его статей. В результате я оказался одним из немногих людей, с которыми у Володи сохранились близкие, ничем не омраченные дружеские отношения до конца его дней.

Весь ленинградский период конца шестидесятых годов запечатлелся в моей памяти в образе весенней, залитой солнцем университетской набережной Васильевского острова, где на четвертом, чердачном этаже здания было выделено помещение, выходящее в глубокий внутренний двор и насквозь прогреваемое солнцем, в котором проводились заседания нашей типологической группы. В этих заседаниях постоянно участвовал, среди почти ежедневно сменявших друг друга привходящих «варягов», Сергей Евгеньевич Яхонтов, один из сильнейших в нашей стране китаистов. Он был старше всех нас на семь-восемь лет, пользовался общепризнанным признанием как типолог дальневосточных языков, но при этом держался со всеми дружественно скромно и непритязательно. О нем ходил рассказ, что на недавней всесоюзной конференции типологов на одной из ее дискуссий он поразил ее участников способностью идентифицировать любой дальневосточный язык на примере произвольно взятых трех его слов, если будут указаны их значения. На неоднократные предложения различных научных учреждений страны представить к защите докторскую диссертацию по типологии он неизменно отвечал отказом, мотивируя его тем, что он вполне удовлетворен своим научным званием доцента и считает его адекватным реальному уровню его профессиональных знаний.

С.Е.Яхонтов не любил давать письменные отзывы на опубликованные работы, поскольку здесь его замечания уже не могли как-то полезно влиять на содержание и итоги исследования. Однако он безотказно участвовал в устных обсуждениях рукописей на предварительной стадии их подготовки к печати, в течение которых щедро делился с автором своими поправками и предложениями (вследствие чего он был любимым рецензентом у В. Недялкова). Я всегда с большим интересом слушал его разборки и тщательно размышлял над его анализами моих собственных выступлений и рукописных текстов, пытаясь вникнуть в их внутреннее логическое построение. Начиная с констатации некоторых общих принципов рассуждения, связанных с обсуждаемой проблемой, он давал четкую

формулировку исходных презумпций авторской ее трактовки. Зачастую обсуждение завершалось на данной стадии, поскольку выяснялось, что автор либо не придерживается приписываемой ему Яхонтовым трактовки исходных положений, либо вообще не имеет о них ясного представления. В случае успешного преодоления данного предварительного этапа дискурса, Яхонтов с порой удручающей дотошностью вел дальнейшее обсуждение в двух основных направлениях, в плане проверки логического соответствия последующих этапов авторского изложения его же собственным исходным положениям и их подтверждаемости эмпирическими фактами. При этом привлекались обширные типологические данные разноструктурных языков. По моим наблюдениям, мало кому, не исключая меня, удавалось с первого раза выдержать это критическое испытание.

С самого начала моего сотрудничества с типологической группой Ленинграда, я оценил громадные преимущества, которые оно давало мне в моем научном становлении. Непосредственное участие фактически во всех научных мероприятиях, проводимых в Ленинградском отделении Института Языкознания – обсуждениях, конференциях, публикациях не только в престижных ленинградских изданиях, но и в переводах, помещаемых в зарубежных специальных лингвистических журналах – сыграли поистине ключевую роль в моей научной жизни, которая была бы невозможной, если бы я пребывал в замкнутости своей смоленской глубинки.

Наряду с интенсивным интеллектуальным трудом, другой доминантной ленинградского периода второй половины 60-х годов было увлечение историей и теорией мирового киноискусства, реанимировавшее мою прежнюю подверженность влиянию волшебного экрана еще с шанхайских времен. Я стал усердно посещать ленинградский «Клуб любителей кино», испытывая, помимо удовлетворения от получения новой информации, ностальгию по поводу многих знакомых в отдаленном детстве именам актеров и режиссеров. Это ощущение живой связи времен получило подкрепление в случайно обнаруженном в одном рекламном объявлении сведении о специализированном кинозале «Иллюзион» при Дворце Культуры им. Кирова, регулярно демонстрирующем без дубляжа на русский язык лучшие зарубежные фильмы прошлого. Заручившись рядом абонементов, приуроченных к запланированным мероприятиям Института Языкознания и других лингвистических учреждений города, а также рассчитывая на спонтанное приобретение свободного билета у входа перед началом сеанса, я повторно просмотрел в новой, более зрелой интерпретации многие уже виденные в детстве фильмы, как и целый ряд новых.

Однажды в библиотеке я неожиданно встретился с Юрой Филатовым. Мы не виделись несколько лет, и я сразу отметил некоторые изменения в его внешнем облике. Черты его похудевшего лица обострились, придавая ему поразившее меня сходство с портретом Гегеля в нашем философском кабинете. Голос его усилился, манера речи приобрела некоторую нарочитость, привлекавшую внимание окружающих. Он сразу сообщил мне, что, не завершив прежнюю аспирантуру, поступил в новую при Эрмитаже и

сейчас работает над диссертацией, посвященной Паулю Клее, которого считает наиболее ярким представителем модернизма в европейской живописи. Я выслушал длительный монолог о современных попытках преодоления строгого разграничения статических и динамических видов искусства, введенного Лессингом, и о поисках синтеза живописного и музыкального методов отображения действительности, осуществляемого Паулем Клее с опорой на зрительное восприятие и Клодом Дебюсси с опорой на музыкальный слух.

К концу встречи Филатов как нечто само собой разумеющееся поведал, что развелся с прежней женой и женился вторично, пригласив посетить его в его новом местожительстве. Начав объяснять мне весьма запутанный маршрут к своему дому, он в конце концов махнул рукой и сказал, что лучше сам покажет мне дорогу. Действительно, путь оказался не простым – две трамвайных пересадки и минут пятнадцать пешком (станции метро в данном районе не было). По дороге мы зашли в продуктовый магазин, где я купил бутылку вина («за встречу»), он – хлеба, сыру и ветчины на закуску. Его жены дома не было. Однокомнатная квартира показалась мне беднее обставленной, чем та, в которой я побывал несколько лет назад. После нескольких дежурных тостов, Филатов, не проявив значительного интереса к обстоятельствам моей жизни за последнее время, подвел меня к библиотечной картотеке с несколькими рядами выдвижных ящиков, показ которой, по-видимому, составлял основную цель его приглашения меня к себе домой. Она была заполнена многими десятками, если не сотнями карточек, густо испещренных записями о различных настольных играх во всех уголках земного шара. Я вспомнил наш давнишний разговор о «теории игр» и поразился тем обильным его всходам, которые были наглядно представлены в стоящей передо мной картотеке. На мой вопрос о конечных результатах этой внушительной подготовительной работы, Филатов ответил, что в данный момент он завершает сбор и первичное описание фактов и приступает к их теоретическому осмыслению. Конечная же его цель – разработка «типологии настольных игр». Не знаю, насколько Филатов преуспел в осуществлении этой цели. Больше нам не приводилось встречаться в жизни, и я не имею никаких сведений о его дальнейшей судьбе.

Осенью 1966 г. Галя поступила в очную аспирантуру на ту же кафедру английской филологии при Герценовском институте. Аспирантское общежитие № 6 было к тому времени расформировано, и она получила место в другом общежитии, но на той же основной территории института в историческом центре Ленинграда. Наши встречи участились: фактически ежемесячно либо я приезжал в Ленинград, либо она в Смоленск, благо на проходящий прямой Мариупольский поезд туда и обратно всегда можно было купить свободные билеты непосредственно перед отправлением поезда. Таким образом, наряду с моим обновленным переживанием моего далекого шанхайского кино-прошлого, мне довелось, обсуждая с Галей текущие события на герценовской кафедре филологии, в основном сохранившейся в прежнем, знакомом мне составе преподавателей, заново пережить свои

недавние аспирантские годы. Галя быстро вошла в круг моих ленинградских друзей. Я, со своей стороны, близко познакомился с ее новым аспирантским окружением. Таким образом, все, связанное с Ленинградом, начало складываться в наше общее семейное предание, к которому мы часто мысленно возвращались в последующие годы.

Конечной точкой, закрепившей становление этого общесемейного ленинградского предания, послужило следующее событие. Еще за несколько лет до этого мама в Перми получила отдельную комнату в коммунальной квартире на проспекте К. Маркса. Ей удалось каким-то образом установить связь со своими удаленными родственниками по по ярковской линии в Казани. Кроме того, Казань была местом последнего земного пребывания отца; там же где-то располагалась его могила. Поэтому когда неожиданно подвернулась возможность поменять свою жилплощадь на казанскую, мама согласилась, даже не посоветовавшись письменно со мной, поскольку это, по ее словам, заняло бы слишком много времени. Обмен произошел быстро и безо всяких осложнений, и мама благополучно переехала в Казань.

Дальше последовала цепочка событий, совершенно невероятная с какой-либо здравой точки зрения. Вскоре после переезда, едва успев как-то обустроиться на новом месте, мама прочла объявление какой-то татарской женщины из Ленинграда, желавшей вернуться на свою родину и предлагавшей обмен жилплощади с Ленинграда на Казань.

Ленинград был заветной мечтой мамы. В мои аспирантские годы она дважды посещала меня там и, возможно под влиянием моего восторженного отношения к городу, прониклась глубокой любовью к нему. Она подала документы на обмен. Но тут возникли препятствия, казавшиеся непреодолимыми. В те годы переезд в Москву и Ленинград обставлялся всевозможными трудностями и требовал особого разрешения высоких городских властей. Отчаявшись в благополучном исходе дела, мама смирилась и, чтобы использовать последнее, как казалось ей, мое пребывание в северной столице, решила еще раз посетить меня и бросить прощальный взгляд на полюбившийся ею город. Не знаю, под влиянием какого подсознательного наития я посоветовал ей написать заявление на имя директора Ленинградского Отделения Института Языкознание о том, что я, ее сын, являюсь многолетним сотрудником одного из отделов Института, в связи с чем она ходатайствует о разрешении произвести указанный в начале заявления обмен жилой площади, чтобы дать мне возможность более постоянно участвовать в работе Института.

Я, конечно, отдавал себе отчет о формальной юридической зыбкости приведенной аргументации и поэтому не надеялся на успех. Проводив маму до входа в Институт и объяснив ей, куда и к кому следует обратиться, я присел на скамейку во дворе и настроился на терпеливое ожидание. Ждать, действительно, пришлось весьма долго. Был уже последний час перед закрытием Института, и он был, по рассказу мамы, почти пустым. Растерявшись, она забыла о моих напутствиях, и постучалась в первую дверь, за которой горел свет. Это была комната секретариата. Мама спросила, где ей

найти директора Института. Секретарша в ответ осведомилась, по какому делу он ей нужен. Мама стала сбивчиво излагать свой вопрос. Завязался разговор. Выяснив суть дела, секретарша, по-видимому, прониклась симпатией к маме и провела в конец коридора до двери в кабинет директора. В эти дни постоянный директор Института был в отпуске, и его замещал Соломон Давыдович Кацнельсон, «калиф на час», как он сам шутливо представлял себя своим сослуживцам.

Далее привожу впечатление одного из сотрудников Института, случайно оказавшегося в эту минуту в кабинете. Не успела мама начать говорить, как дверь внезапно распахнулась и в кабинет буквально влетела секретарша, ставшая горячо убеждать Соломона Давыдовича, что он должен обязательно подписать мамино прошение, приводя скороговоркой целый ряд аргументов. Несколько ошарашенный таким решительным штурмом, С. Д. Кацнельсон задал несколько дежурных вопросов и подписал мамино заявление. Закрепленное в секретариате круглой печатью Института, оно обрело статус официального документа, в качестве какового на удивление гладко прошло все последующие юридические процедуры, завершившиеся положительным решением. Так мы обрели вполне законное, юридически оформленное постоянное пристанище в Ленинграде.

Оно представляло собой небольшую одиннадцатиметровую комнатку в двухкомнатной коммунальной квартире на проспекте Смирнова, расположенного на стыке Петроградской Стороны с Васильевским Островом. Район, один из наиболее благоустроенных в Ленинграде, был расположен на расстоянии трех станций метро от Невского Проспекта, то есть совсем недалеко от центра. В зону нашего нового местопребывания входила прямолинейная последовательность четырех широких кварталов с троллейбусным движением, с обилием продуктовых и всяких иных магазинов. На расстоянии одного квартала параллельно проспекту шла трамвайная линия, соединявшая район с близлежащей станцией метро «Черная Речка» (место последней дуэли Пушкина). Проходящий практически через весь город трамвай № 40 часто служил мне дополнительным средством связи как с Институтом Языкознания, так и с Дворцом Культуры им. Кирова в дальнем конце Васильевского Острова. Как раз в это время буквально рядом с нашим домом открылся заново построенный привилегированный кинотеатр «Комсомольский», специализировавшийся на показе современных западноевропейских фильмов. В целом по обилию и разнообразию новых положительных впечатлений, в сочетании с новоприобретенным чувством стабильной оседлости, проспект Смирнова был связан с одной из самых светлых страниц нашего семейного ленинградского предания.

В начале 70-х годов молодой режиссер Алексей Владимирович Бородин, только что окончивший Московский Институт Театрального Искусства (ГИТИС), в настоящее время один их наиболее известных театральных деятелей страны, народный артист РФ, обладатель пяти премий, с 1992 г. руководитель Российского Академического Молодежного Театра приехал в Смоленск для постановки в Смоленском Драматическом Театре своего

первого спектакля по повести Войновича «Два товарища». Спектакль отличался свежим замыслом и пользовался успехом у зрителей, но характеризовался рядом оригинальных режиссерских приемов, не встретивших одобрение смоленского Обкома партии. Было решено провести в клубе «Арлекин» показательное общегородское обсуждение спектакля с осуждением ошибок начинающего режиссера. Однако с самого начала собрание пошло по незапланированному сценарию. Целый ряд выступающих, прежде всего, из нашего пединститута, высказались в защиту права режиссера на использование нестандартных постановочных методов, отвечающих его творческому замыслу. Особо активную роль среди выступающих в поддержку Бородина играли М.Е.Стеклов, Л.И.Никольская и я. Событие имело широкий общественный резонанс и было расценено властями как акт открытого неповиновения смоленской интеллигенции партийному единоначалию. Было принято решение о неудовлетворительной идейно-просветительной работе в педагогическом институте среди преподавательского состава. Последовали бесконечные разборки на открытых и закрытых партийных собраниях различных уровней. М. Е. Стеклов был уволен с работы, уехал в Ленинград, но через несколько лет был восстангвлен. Местный поэт Бушко вынужден был покинуть город. Был смещен секретарь институтского партийного комитета, и на его место «для укрепления воспитательной работы в институте» был привлечен откуда-то из района некто Винокуров, рьяно взявшийся за исправление идеологического положения.

Что касается нас с Л.И. Никольской, то, по-видимому, наличие у нас ученых степеней, что представляло сравнительно редкое явление в те годы, предохранило нас от немедленной административной расправы. В течение нескольких последующих месяцев мы пребывали в подвешенном состоянии неопределенности относительно нашей дальнейшей судьбы, будучи дежурными объектами партийной критики на всех институтских и факультетских собраниях. Винокуров обнаружил еще один (помимо эмигрантского прошлого и наличия родственников за границей) инкриминирующий меня факт – публикацию в 1970 г. в Испании (Pamplona) статьи по баскскому языку, одному из наиболее типологически своеобразных в Европе. Игнорируя то, что я заблаговременно позаботился об официальном разрешении министерства на публикацию статьи в зарубежном издании, Винокуров обратил против меня факт, обычно котировавшийся как положительное достижение автора. Он устроил на очередном общеинститутском собрании настоящее *аутодафе*, обвинив меня в эгоистичном преследовании своих личных, престижных интересов в ущерб государственным.

В ответ на это я испытал импульсивное поползновение подать в ректорат заявление о своем отказе от занимаемой должности и даже начал предварительную переписку с Новосибирском и Киевом о принятии меня на работу в какой-то из тамошних университетов. Гале пришлось затратить значительные усилия, чтобы удержать меня от этого необдуманного шага. –

«Давай вернемся к этому вопросу в конце учебного года,» – убеждала она меня.

Мое положение несколько облегчало то, что я был хотя и основным, но далеко не единственным объектом нападок Винокурова, который восстановил против себя своей мелочной и несправедливой придирчивостью значительную часть преподавательского коллектива. Нарастающее раздражение против него и его диктаторских замашек наконец прорвалось в стихийном всплеске общественного негодования, лишившем его на бурном собрании поста партийного секретаря. С таким единогласным проявлением коллективного недоверия вынуждены были считаться покровители Винокурова в Обкоме, и его отставка была утверждена.

Почувствовав облегчение от снятия многомесячного пресса психологического давления, я подал заявление о предоставлении мне двухгодичного творческого отпуска для написания докторской диссертации на тему семантической классификации английских каузативных глаголов. Я воспринял предоставленный мне отпуск как продолжение моего аспирантского жития и, воспользовавшись наличием маминой комнаты, с головой ушел в привычный, по выражению Б. А. Ильиша, «читательский промискуитет». Когда завершился первый год творческого отпуска без осязаемого продвижения в работе над диссертацией, Галя забила тревогу и решительно настояла на завершение работы в срок. «Защити докторскую, а дальше занимайся, чем хочешь». Работа была успешно завершена и защищена в 1975г. Официальными оппонентами выступили Соломон Давыдович Кацнельсон, Ирина Владимировна Арнольд и Полина Аркадьевна Соболева.

После защиты Галя выполнила поставленное ею условие, не препятствуя мне в многочисленных моих начинаниях, побочных относительно основного направления моих научных исследований («Семантика глагола»), типа попытки разработать основы общеславянского языка, который мог бы служить средством межславянского общения («Интерслав»), организации Смоленской Ассоциации Ученых, учреждения (в сотрудничестве с О.В.Молотковым) Смоленского Земского Движения и др. Вообще я должен с благодарностью отметить, что за всю нашу совместную жизнь я не слышал от Гали ни одной жалобы на материальные трудности семьи, не испытал ни единого давления с ее стороны, побуждающего меня искать дополнительные заработки в ущерб моим научным интересам для пополнения нашего жестко ограниченного семейного бюджета. Даже в самые трудные годы она находила возможности для отправки меня в заграничные командировки на различные научные конференции за свой счет.

Особое внимание в своей диссертации я уделил сочетаниям интенциональных каузативных глаголов с одушевленным личным субъектом, которые служили для обозначения различных способов целенаправленного воздействия человека на внешний и внутренний мир. Упорядочение во времени всех таких действий индивидуального конкретного субъекта на протяжении его существования фактически означало описание его

жизненной линии. Таким образом у меня сложилась концепция «*биографики*» как особой научной дисциплины о человеческих жизнеописаниях, находящейся на стыке лингвистической семантики, психологии и культурологи, предметом которой была систематизация, классификация и выявление закономерностей человеческих биографий, рассматриваемых как результат взаимодействия соответствующих личностей с заданными историческими условиями, т.е. оказывающих определенное воздействие на окружающую социальную среду и испытывающих обратное воздействие с ее стороны.

Данное расширение специально лингвистической проблематики моих интересов до общекультурологической имело то следствие, что мною был организован и в течение нескольких лет работал городской дискуссионный клуб смоленской интеллигенции «Логос», на котором в среднем ежемесячно проводились обсуждения актуальных научных и идеологических вопросов с участием видных представителей местного ученого мира и с периодическим привлечением лекторов из других городов. Одним из наиболее значимых мероприятий «Логоса» было проведение в 1988 г. научной конференции, посвященной 1000-летию принятия христианства на Руси, рассматриваемого как кардинальная смена культурологической парадигмы, в основном определившая дальнейшее историческое развитие нашей страны.

6. Кирилл «Златоуст», Святитель Смоленский. Во второй половине 80-х годов в нашем смоленском обществе все чаще доводилось слышать имя архиепископа Кирилла, переведенного в январе 1985 г. из Ленинграда в Смоленскую епархию – по слухам, за определенные разногласия со светскими властями. С самого своего приезда новоприбывший церковный иерарх сумел завоевать уважение и расположение всех людей, с которыми приходил в соприкосновение. Даже в устах представителей официальной власти его имя звучало, в отличие от обычно сопровождавшего любое упоминание священнослужителя подспудного оттенка официозного неодобрения, с невольно проявляемым почтением. Доводилось слышать, что местные чиновники относились к архиепископу едва ли не с б*о*льшим доверием, чем друг к другу, и порой прибегали к нему как к негласному третейскому судье при возникновении спорных вопросов, касающихся непрестанно меняющейся роли Церкви в общественной жизни.

Архиепископ Кирилл всячески подчеркивал приоритет внутриличностной жизни человека перед внешними обстоятельствами его существования: «Стратегическая задача Церкви видится в том, чтобы православная вера стала определяющей в мотивации поступков современного человека, была основой его личной системы ценностей и мерилом его деяний». Подобные его высказывания сыграли большую роль в становлении моего понимания христианства не столько в качестве абстрактного философского отображения внешней, объективной действительности, сколько в первую очередь как могучий фактор, побуждающий человека к духовному преобразованию своего внутреннего мира.

В отличие от значительной части нашей светской интеллигенции, мои детские воспоминания – искренняя религиозность моих родителей и многих наших знакомых, соблюдение основных православных праздников, образ шанхайского епископа Иоанна, еще при жизни почитавшегося в русской эмиграции в качестве святого – служили мне заслоном от засилия тогдашней атеистической идеологии. Вследствие этого мне не пришлось преодолевать никакого внутреннего психологического сопротивления при начавшемся религиозном воскрешении России.

Участившиеся встречи Владыки Кирилла с различными кругами светского общества выявили его открытость для человеческого общения. Присущее ему высочайшее искусство речи производило, в сочетании со всем его обликом человека высшей духовной пробы, неколебимо верящего в непреложную истинность каждого произносимого им слова, неотразимо воздействовало на его слушателей. За все последующие годы мне не запомнилось ни единого случая неправильного употребления им какого-либо слова или неудачно построенного предложения. Вспоминая свои аспирантские годы, когда я не пропускал случая прослушать лекции самых известных мастеров слова Ленинграда, и последующие многочисленные научные конференции с участием видных ученых страны, я пришел к однозначному заключению, что Владыка Кирилл отличался наиболее высоким уровнем красноречия и безупречного владения литературным русским языком, с которым мне когда-либо доводилось встречаться в моей жизни. Слушая его еженедельные телевизионные передачи «Слово Пастыря», сыгравшие огромную роль в духовном воспитании нашего общества, я испытывал гордость за то, что при всех политических репрессиях, которым подвергалась Церковь в прошедшие десятилетия, она была способна выдвигать иерархов такого интеллектуального и общекультурологического масштаба.

Эти размышления подтолкнули меня к тому, что я стал изучать историю христианской Церкви и богословия, видя в своем почти полном невежестве в этой сфере большую лакуну в моем образовании. Из всех христианских духовных деятелей прошлого наибольшая близость к владыке Кириллу виделась мне в Иоанне Златоусте, заслужившем это почетное наименование за глубину его многочисленных проповедей («гомилий»), одинаково доступных, подобно «Словам Пастыря» Владыки, пониманию как самых простых сердцем и неискушенных мирской мудростью слушателей, так и наиболее просвещенных. Имя «Златоуст» стало прочно ассоциироваться в моем представлении с обликом Владыки.

Под влиянием этих чувств я решился письменно обратиться к Владыке Кириллу с вопросом о том, почему Русская Православная Церковь, в отличие от католических и протестантских духовных властей, так мало использует в изменившихся условиях своего исторического существования средства духовного просветительского воздействия на общество. Примерно через двухнедельный срок я получил ответ от Владыки, в котором мне особенно запомнилось его высказывание о том, что одна из основных проблем,

стоящих перед Православной Церковью сегодня, состоит в острой нехватке священнослужителей, способных общаться с мирской аудиторией на языке, соответствующем представлениям современного просвещенного человека.

Поскольку, по моему убеждению, сам архиепископ Кирилл представлял собой наилучший образец именно такого священнослужителя, я обратился к нему с просьбой выступить по актуальным вопросам соотношения Церкви и светского общества перед преподавателями нашего университета.

По договоренности с Владыкой было вывешено на официальном стенде нашего вуза соответствующее объявление. Местом встречи был обозначен городской клуб интеллигенции «Арлекин». Выступление Владыки продолжалось около часа. Ни малейшее нарушение тишины в напряженно слушающем зале не прерывало его изложение. По его окончании последовал ряд вопросов от аудитории. Спокойный, уравновешенный тон ответов быстро снял изначально возникшую напряженность среди слушателей, которые облегченно почувствовали Владыку «своим». Один из слушателей осведомился, как относится Церковь к демократическому принципу свободного волеизъявления каждого члена общества. Владыка пояснил, что в христианстве понятие свободы диалектически подчинено более глубинному понятию соборности, согласно которому подлинная свобода человека коренится не в противопоставлении своей личности другим людям по принципу «разделяй и властвуй», а в «гармоничном сочетании общественного единства и личной свободы через любовь к Богу и ближнему».

С ведома Владыки, его выступление было записано на магнитофонную пленку. После ее расшифровки, мне удалось опубликовать отредактированный Владыкой текст на средства гранта РГНФ «Основы биографики» в виде отдельной брошюры под заглавием «Соборность и демократия» (Приложение 1). Через пару месяцев я попросил Владыку Кирилла заполнить разработанную по этому гранту биографическую анкету и получил его разрешение написать на ее основе его краткую биографию. Когда жизнеописание было готово, я передал ему текст, попросив дать необходимые поправки и исправления. Через несколько дней я получил обратно текст без каких-либо пометок. У меня сложилось впечатления, что Владыка сознательно воздержался от комментариев, чтобы не оказывать какого-либо невольного влияния на мою свободную трактовку описываемых фактов. Биографический очерк «Святитель Смоленский» был опубликован в местной газете (Приложение 2).

Архиепископ Кирилл обладал удивительной способностью находить преданных помощников в своих многочисленных начинаниях по возрождению духовной жизни на Смоленщине среди не только священнослужителей, но и самых широких кругов мирского населения. Постоянно укрепляющиеся связи Владыки со светским обществом вылились в регулярно проводимые им в дни Пасхи и Рождества, после богослужения в Свято-Успенском кафедральном соборе, встречи представителей церковных и светских кругов Смоленска и области в помещении малого Богоявленского

собора. Эти многолюдные, торжественно обставленные собрания, с участием высших носителей государственной власти в лице губернатора или его заместителей, представителей местного делового мира и творческой интеллигенции, играли существенную роль в восстановлении нарушенных за последние годы интеграционных связей в нашем обществе. По словам Владыки, после пережитых страной катаклизмов Православная Церковь являла собой единственную силу в русском обществе, не скомпрометированную своим прошлым и сохранившую способность выполнять функцию восстановления государственного и духовного начала, неоднократно осуществлявшуюся ею в предыдущей истории России.

Постоянными посетителями этих собраний были мы с профессором медакадемии Олегом Владимировичем Молотковым, сблизившиеся в последние годы в процессе нашей совместной деятельности по восстановлению Земского движения на Смоленщине. Как и от многих других моих современников, мне неоднократно доводилось слышать от О. В. Молоткова, что он, будучи продуктом советского воспитания, не испытывал до встречи с Владыкой Кириллом никакого особого интереса к религии, но теперь под влиянием его проповедей был одним из самых убежденных его сторонников. Владыка Кирилл даже назначил его своим заместителем по Смоленскому филиалу организованного им Всемирного Русского Национального Собора.

Другими постоянными участниками встреч на Соборном Холме были Николай Евгеньевич Мажар с супругой, Ларисой Юрьевной. Н.Е.Мажар был основателем негосударственного «Гуманитарного университета» в Смоленске. Он устроил на территории университета небольшую часовню и часто приглашал Владыку Кирилла выступить перед студентами и преподавателями.

Одной из самых ярких личностей на культурологическом небосклоне Смоленска был в те годы главный режиссер театра Петр Дмитриевич Шумейко, как и Владыка – исконный петербуржец, недавно переехавший в Смоленск вместе со своим многолетним товарищем по работе, директором театра Юрием Никаноровичем Бабиным. Наделенный прекрасно поставленным голосом и незаурядными актерскими данными, проникновенный исполнитель народных песен и русских романсов, П.Д.Шумейко добился переименования Смоленского театра в «Экспериментальный» и придал свежий импульс его существованию через обновление репертуара и укрепление живой связи со смоленским интеллигентным зрителем. П.Д.Шумейко активно сотрудничал с Владыкой, устраивая многочисленные благотворительные детские спектакли.

Все эти лица, подобно многим другим, находились под «духовным окормлением» Владыки Кирилла. Сознание исходящего от него благотворного влияния, связывающего всех нас между собой, служило признаваемым всеми основанием и опорой того уникального чувства просветленного единства в общем деле, составлявшего основную примету навсегда запомнившегося «золотого века» нашей смоленской общественной

жизни. Тем более трагично была воспринята в обществе многочисленными поклонниками П.Д.Шумейко его внезапная преждевременная смерть. Петр Шумейко не щадил жизненных сил в осуществлении своих бесчисленных проектов и буквально сжег себя на своем земном поприще.

Архиепископ Кирилл нашел единственный, доступный лишь ему как правящему архиерею, достойный ответ поразившему общественное сознание уходу П.Шумейко из жизни. Он наглядно показал смоленскому обществу, что только Церковь может дать трагическому феномену смерти, неотвратимо завершающему любое человеческое существование, не поверхностное расхожее толкование типа «все там будем», а глубинное осмысление, соответствующее извечному вопрошанию человека о смысле его земной жизни и смерти. Он устроил Петру Шумейко торжественные похороны в Драматическом театре по полному православному чину погребения, используя все духовные и людские ресурсы епархии. Величественный в своей красоте православный заупокойный обряд с проникновенным поминальным словом архиерея к усопшему, с пением кафедрального хора и чтением глубоких по смыслу библейских текстов произвели глубокое впечатление на присутствующих, многие из которых впервые соприкоснулись с таким масштабным проявлением нашей национальной духовной традиции. В эти мгновения я почувствовал глубокую благодарность судьбе, что из всех епархий нашей страны именно Смоленщине выпал жребий в течение целой четверти века быть местом пребывания и церковного и общественного служения митрополита Кирилла, будущего Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В последние годы мое внимание привлекло известие об одном открытии канадского нейрофизиолога В.Пенфилда (W.Penfield). Как известно, мозг, к которому стекаются сенсорные ощущения со всего организма, сам по себе лишен какой-либо чувствительности к боли. Поэтому хирургические операции, производимые на мозге при раскрытой черепной коробке, могут проводиться без применения наркоза, то есть без отключения сознания пациента, который сохраняет способность речевого общения с хирургом. Пенфилд обнаружил, что случайное прикосновение его скальпеля к определенной зоне височной (речевой) доле левого полушария вызывало у оперируемого непроизвольные зрительные и слуховые образы из его прошлой жизни. Данный научный факт, неоднократно экспериментально подтвержденный Пенфилдом и другими учеными, свидетельствовал о наличии в височной доле человека нейрофизиологического механизма, фиксирующего, подобно скрытой камере наблюдения, различные происшествия его жизни. Эта мозговая структура могла рассматриваться как нейрофизиологическая запись omnea mea данного конкретного человека в ее объективно представленной событийной основе.

Этот тайный «внутренный архив», неведомый самому его носителю, ведущий скрытую летопись всех событий, происходящих на его веку с его уникально личной, неповторимой точки зрения, не мог являться, по моему представлению, чем-то случайным. По образному выражению поэта, «если на небе каждый вечер загораются звезды, значит это кому-то нужно?». Кому? Какая сверхчеловеческая сила занимается расшифровкой мириадов этих подсознательных личностных записей? Такие вопросы порождали представления о некоем грандиозном вселенском эксперименте с вовлечением несметных количеств пробных человеческих существований, разведывающих бесконечные возможности бытия. На память пришла одна из гипотез фантастики прошлых лет о существовании «мирового мозга», отдельными составными «нейронами» которого выступают мозговые структуры конкретных людей, а «проводящими путями» между ними – коммуникативные пути человеческой культуры.

Обуздывая свою склонность к построению абстрактных схем, я постарался перевести свои размышления в более конкретное личностное русло. Какое значение имеет открытие Пенфилда, приобретшее статус неоспоримого научного факта, для моего индивидуального мироощущения? Мне представлялось, что это открытие показало непреложную онтологическую значимость каждой конкретной человеческой «линии жизни» (lifeline) как отображения уникального жизненного опыта. Оно учит

нас терпимому отношению к чужой оригинальности, непохожести на нас самих. Более того, чем самобытнее личность другого, тем она поучительней и интереснее для меня именно этой своей новизной – но при условии наличия у нее такой же терпимости к другим людям. Нетерпимость терпима только применительно к чужой нетерпимости. Ибо духовная близость между людьми остается высшим благом на земле.

Как показали эксперименты Пенфилда, внутримозговая запись жизненных событий человека носит чисто внешний, формально протокольный характер, лишенный какого-либо внутреннего осмысления. Я проникся чувством, что задача человека – восполнить это поверхностно-«фотографическое» описание более осмысленным, и стал строить в своем воображении хронологическую последовательность ключевых, в моем представлении, событий своей жизни. У Льва Николаевича Толстого есть такое наблюдение. Какое-то событие, казавшееся в момент его происшествия ничем не обусловленным, то есть чисто случайным, в дальнейшем течении жизни, по мере своего обрастания все новыми следствиями и связями, начинает видеться человеку в качестве глубоко обоснованного и необходимого. Если применить это рассуждение не к отдельному событию, а ко всей совокупности происшествий, составляющей жизненный путь человека, то задача осмысления пенфилдовской протокольной записи в мозгу предстает в виде установки на выявление меры неслучайности связи биографических фактов данного конкретного человека между собой.

Стоило мне эксплицитно осознать эту задачу, как в моей памяти всплыли несколько случаев, когда стечения обстоятельств, воспринимаемые как случайные, резко меняли основное направление моей жизни. Наиболее очевидным, бросающимся в глаза примером такого deus ex machina был прозвучавший судьбоносный телефонный звонок из Смоленска в Министерство в критический момент моего краковременного присутствия там, в считанные доли секунды в корне переориентировавший все мое дальнейшее существование. Менее драматичными, но не менее судьбоносными были другие события: «случайный» выход во время прогулки на Пермскую Заочную Вечернюю Школу Взрослых и встреча с Надеждой Григорьевной Конюховой; «случайное» назначение моим научным руководителем Игоря Евгеньевича Аничкова, не только давшего мне научную тему, над которой я продолжаю работать до сегодняшнего дня, но также приобщившего меня к основам русской духовной, православной традиции; «случайный» перелом ступни, продливший на три месяца мое пребывание в ленинградской аспирантуре и давший мне возможность встретиться и подружиться с Володей Нелялковым, введшим меня в группу Холодовича; наконец, «случайный» перевод владыки Кирилла именно в Смоленскую епархию, давший мне, как и всем жителям Смоленщины, редкую привилегию общения с этим выдающимся духовным деятелем современной России.

Однако я не мог представить себе свое прошлое как детерминированное какими-то не связанными между собой случайными обстоятельствами.

Слишком живо было во мне чувство значимой роли во многих поворотах моей жизненной траектории некоего высшего руководящего начала. Большим подспорьем мне в этих размышлениях была постоянно подчеркиваемая митрополитом Кириллом мысль о том, что одним из основных источников бедствий, наблюдаемых в современном обществе, является распространение, вместе с успехами науки и цивилизации, убеждения в самоопределяемости человека в качестве единственного конечного носителя критериев добра и зла. Оборотной стороной этого убеждения было отрицание какого-либо стоящего над человеком вселенского нравственного закона, эсхатологически определяющего как его личную судьбу, так и судьбу всего мира. Я воспринимал эти утверждения как относящиеся лично ко мне с моим культом самодостаточного *omnea mea*. Ведь если разобраться, то эта усиленно разрабатываемая мною идея как раз и составляла внутреннее ядро той богоборческой самодостаточности человека, против которой столь убедительно ратовал Владыка Кирилл в его борьбе за духовное возрождение новой России.

Эти соображения шли в русле моей критической переоценки своего любимого с детства идеала. Его коренному переосмыслению способствовали мои давнишние, оттесненные на дно памяти философские размышления о сущности настоящего момента времени в темпоральном континууме человеческой жизни. Настоящий быстротекущий момент был единственным во всей временной шкале, который был «всегда со мной» и был относительно свободным, то есть не полностью определялся предыдущим положением вещей. В этом отношении человек характеризовался своей неотъемлемой способностью в каждый настоящий момент своей жизненной линии «совершить поступок», относительно свободный на фоне предыдущего стечения обстоятельств, то есть произвести интенциональное изменение во внешнем или внутреннем мире. В частности, он мог изменить свое прошлое *omnea mea*, весь строй своей внутренней жизни. Иными словами, я понял, что мое подлинное *omnea mea* состоит в моей неотъемлемой способности в любой настоящий момент внести определенные изменения в свое прежнее omnea mea, как это уже неоднократно случалось в моей жизни.

Таким образом, подлинное осмысление моей, как и любой другой, человеческой жизни могло быть осуществлено только при учете противоречивого взаимодействия необходимости и свободы. Поэтому когда я неожиданно получил приглашение от Бориса Вадимовича Кондакова, декана филологического факультета Пермского университета, который я закончил в далеком 1953 г., прислать к столетнему юбилею университета и факультета мои воспоминания, это было воспринято мною, как знак судьбы. Воплощение, по мере своих сил и умения, основного течения моей жизни в тексте должно было превратить ее в предмет объективного размышления о соотношении в любом ее настоящем моменте свободной человеческой воли с двумя типами ее внешней обусловленности – эмпирической причинно-следственной необходимости и телеологической предопределенности, определяющих человеческое существование.

Ибо *если по-настоящему вдуматься, то на свете нет ничего удивительней, чем самая обычная человеческая жизнь.*

Итак, все началось с того, что **«мои родители, Сильницкий Георгий Антонович и Пояркова Галина Владимировна, родом из различных мест охваченной гражданской войной России, были вынесены волной революционных событий во Владивосток, откуда в начале 20-х годов в подростковом возрасте они эмигрировали, независимо друг от друга, в китайский город Шанхай… ... ».**

ПРИЛОЖЕННИЕ 1.
МИТРОПОЛИТ СМОЛЕНСКИЙ И КАЛИНИНГРАДСКИЙ К И Р И Л Л, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОТДЕЛА ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА: СОБОРНОСТЬ И ДЕМОКРАТИЯ

Демократия – многомерное понятие, имеющее политическое, социальное, экономическое и аксиологическое измерения. На мировоззренческом уровне можно было бы назвать демократию организующим принципом социально-политического бытия человека, совмещающим принцип общественного единства и личной свободы. Сегодня приходится констатировать, что для многих граждан России это понятие остается чем-то внешним, привнесенным извне, хотя и не совсем чуждым. Это происходит по одной простой причине: концепция демократии не является обобщением позитивного опыта собственного социально-политического развития России. Демократия является принципом, выработанным на Западе, в странах евро-атлантического региона.

По этой причине любой демократ в России вынужден априори обращаться с понятием демократии как с шаблоном, сравнивая российскую общественно-политическую жизнь с западным эталоном. В результате он запрограммирован на две разновидности выводов: находить сходства, либо расхождения российской действительности и демократической модели. Но это лишь есть знакомый всем принцип прокрустова ложа. Во-первых, этот метод ведет к интеллектуальной ограниченности и идеологической зашоренности. Во-вторых, происходит отрицание самобытности национальной жизни, поскольку ее многие положительные черты оказываются невостребованными. От этого рождается чувство, что западная модель демократии не в состоянии вместить всего положительного национального опыта и правильно учесть отрицательный.

Поэтому перед всяким патриотом России встает задача выявить самобытный принцип организации ее общественно-политического бытия. Одновременно этот принцип должен отвечать тем же интеллектуальным и социальным масштабам, что и понятие демократии для Запада. Только после этого продуктивно сравнивать западный опыт общественной жизни и российский, который был бы уже оформлен в виде серьезной концепции, а не представлял бы из себя «сырой материал».

О самобытном русском принципе организации общественного бытия впервые осознано заговорили русские религиозные мыслители в конце первой половины XIX века. Это было время религиозного и философского пробуждения России, с которого началась ценная традиция осмысления российского опыта общественного развития на интеллектуальном уровне, не уступавшем уровню западной мысли. Выдающиеся философы России: И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, В. С. Соловьев, отец Сергий Булгаков, отец Павел Флоренский, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк и другие определяли самобытный русский принцип общественной жизни как соборность. В XX веке «соборность» без перевода стала фигурировать во всех западных

энциклопедиях и политологических работах. Малоразработанность данного понятия в настоящее время и недостаточное внимание к нему можно объяснить лишь долгим господством в нашей стране коммунистической идеологии, затмившей предшествующий общественный и интеллектуальный опыт России.

В работах русских мыслителей соборность исследуется как многомерное понятие, тождественное по охвату жизненно важных категорий западному понятию демократии. Соборность не равночестна парламентаризму, потому что последний является только технологией принятия решений в условиях демократии. Она не сводится к коллективизму, потому что коллективизм описывает только поверхностные проявления межличностных отношений. Соборность не является специфически религиозным явлением, но охватывает и социальную, и политическую жизнь. Одним словом, понятие «соборность» включает всю совокупность принципов социального устройства, механизмов принятия решений и духовных основ общества.

Многие русские философы приходили к выводу, что соборность является матрицей организации общественного бытия в России.

Именно ее критерии межличностных отношений стали мерилом общественного развития, даже если они не ассоциировались в сознании некоторых представителей страны с самим понятием соборности. Русские славянофилы, первые указавшие на соборность, указали и ее источник. Согласно В. И. Киреевскому и А. К. Хомякову соборность, способная пронизывать все уровни общественного бытия, рождается и исходит из лона Христианской Церкви. Алексей Степанович Хомяков говорил о ней, как о явлении, по своей природе принадлежащем Православной Церкви. Для него «соборность есть свободное единство членов Церкви в совместном постижении истины и в совместном спасении, опирающееся на общую любовь их ко Христу и к правде Божией». Соборность, таким образом, гармонизирует принцип общественного единства и личной свободы через любовь к Богу и ближнему.

Внутри Церкви соборность представляется некой идеальной моделью отношений между Богом и человеком, человеком и человеком, человеком и Церковью. В русской традиции эта модель становится ориентиром для строительства и общественной жизни. Даже если русский человек отходит от веры в Бога, он все равно предъявляет к общественной жизни те же требования, которые характерны для церковного идеала. Об этом явлении в русском сознании ярко написал Н.А.Бердяев в работе «Истоки и смысл русского коммунизма».

Церковный идеал, охватывающий вертикальные отношения человека с Богом и горизонтальные отношения человека с другими людьми, является одним из тех новшеств, которые принесло в мир христианство. Надо сказать, что еще в античной мысли поднималась серьезная проблема совместимости единства общества и индивидуальной дифференциации. Эта проблема возникает во все времена, потому что стремление отдельного человека к счастью нередко входит в противоречие с общественным благом, если индивид предпочитает действовать безнравственно, то есть причиняя зло или совершая обман в отношении других членов общества. Варианты решения этого сложного вопроса античной мыслью простираются от утопичных проектов создания тоталитарного общества до анархических проектов презрения всякого общественного порядка. Поразительно, что все эти

интеллектуальные химеры не остались принадлежностью античного прошлого, но еще совсем недавно наводили ужас на человечество, и видимо, будут угрожать ему и в будущем. Однако главная интуиция языческих мыслителей, пытавшихся примирить общественное и иидивидуальное начало, состояла в прозрении того, что гармонии между индивидуальной мотивацией и социальными требованиями невозможно добиться политическими средствами, например, ликвидацией частной собственности, как в платоновском государстве. Ее можно достичь только через обращение к религиозной идеи благого Бога, которая в состоянии представить общественную жизнь как важную и интегральную часть внутренней жизни личности, а также соединить справедливость и счастье. Все же до появления христианства эта интуиция остается лишь интеллектуальным построением, малоспособным влить живительные токи в общественный организм.

Христианство приносит в мир совершенно иное видение устройства человеческого общества, фундаментом которого становится личная вера и общение с Богом. Но новая община – это не просто объединение верующих людей, это Союз (Завет) Бога и людей, другими словами – богочеловеческое объединение. Христианское учение уделяет немалое внимание начертанию образа этого нового объединения в исторической и эсхатологической перспективе. В книгах Нового Завета богочеловеческое объединение, которое существует в вечности, называется Царствием Небесным (Мф.) или Царствием Божием (Мк.). В богословской мысли оно получает и другие названия, как например, в известной работе блаженного Августина, епископа Гиппонийского «О граде Божием». Царство Небесное, Град Божий понимается как некая таинственная реальность, в которой нет власти греха и сатаны. В нее может войти всякий, кто уверует в Господа Иисуса Христа и кто сможет исполнить две главные заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим... и ...возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф.22, 37-39). В эсхатологической перспективе именно это Царство прейдет на смену всем существующим человеческим сообществам.

В историческом плане Царство Небесное также присутствует на земле, поскольку набор его граждан осуществляется в процессе истории человечества. Он производится через жизнь внутри Церкви, основанной для этой цели Самим Господом Иисусом Христом: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19-20).

В условиях падшего мира Церковь призвана по мере сил осуществлять заповеданный Иисусом Христом идеал отношений Бога и человека, человека с другими людьми. Для осуществления своей миссии в мире Церкви вручены Богом различные духовные дары, которые являются свидетельством ее живой связи с Царством Небесным и наполняют жизнь уверовавших людей благодатными энергиями. Однако об одном даре для Церкви Господь Иисус Христос молился особо на Тайной вечери – даре, который будет являться одним из мощных факторов воздействия Церкви на мир – о даре единства Церкви: «Не о них (апостолах) же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17, 20-21). Таким образом, христианство утверждает, что подлинное единство людей

при сохранении их индивидуальности возможно только на основе веры в Бога. Лишь она является источником и питателем тесных межличностных связей между людьми.

Из Деяний Святых Апостолов мы узнаем, что единство веры первых христиан перерастало в единство того, что мы сейчас назвали бы социальной жизнью. У них было общее имущество, общее питание, совместная молитва (Деян. 4, 32-37). Все эти признаки первохристианской общины можно наблюдать и сегодня в организации православных монастырей, братств, сестричеств.

В то же время постепенно развивалась трехчинная иерархия внутри Церкви: архиерейство, священство, диаконство. Каждой степени преподавалась особая благодать для совершения четко очерченных обязанностей. Подобная сложная организация церковной жизни, сочетавшая общинность и иерархичность, требовала устройства особых механизмов для решения возникающих проблем. Церковь, как сообщество, основанное на новых принципах (любви, свободы и единства), породило и новую форму принятия решения, которой не знал языческий мир. В 51 году нашей эры в Иерусалиме прошел первый Собор апостолов (Деян. 15). Он был вызван необходимостью разрешить вопрос об условиях принятия в Церковь обращенных язычников. Одни христиане считали, что новообращенные должны соблюдать Моисеев закон, в частности, обряд обрезания. Другие считали, что жизнь согласно вере в Иисуса Христа является достаточным условием вхождения уверовавших неиудеев в церковную общину. Апостольский Собор пришел к единому мнению, что Богу неугодно обременять неиудеев обрядовыми требованиями Ветхозаветного Закона. Благодаря этому решению христианство распространилось на огромные территории.

Удивительно, что две противостоящие в начале заседания Апостольского Собора друг другу партии объединяются и в конце принимают единодушное решение. Слово «собор», по-гречески «синод», по-латински «консилиум» означает путь, по которому вместе приходят к одной цели. Этот путь заключается в поиске каждым участником Собора согласия с волей Божией. Истинность согласия с волей Божией проявляется в том, что все остальные участники приходят к такому же решению. Выражением конечного результата этого пути стала вербальная формула Апостольского Собора, – «Изволися Духу Святому и нам», – которая использовалась всеми последующими Соборами. Церковный Собор стал новой процедурой выявления единства, соборности как свойства, онтологически присущего Церкви.

Но то, что делает соборность реальной, лежало не столько в новых механизмах принятия решений, а в той силе, которая превозмогала человеческие разногласия и разделения. В этой связи важное значение имеет православное учение о Богочеловеческой природе Церкви. В жизни Церкви действуют не только человеческие существа, но и Сам Бог. Он способен исправить греховные стороны человека, направить его на путь мира и согласия, а также любви к ближнему. Но Бог действует в Церкви не механически, а в зависимости от свободного желания и призывания человеком действия Божия в молитве и церковных Таинствах. Таким образом, «эффективность» выявления соборности напрямую зависит от веры людей, составляющих Церковь.

После первого Апостольского Собора соборное управление было принято всеми христианскими общинами на местном, региональном и вселенском уровнях. Укрепилась традиция собрания епископов и других священнослужителей для решения важных вопросов вероучения, религиозно-нравственной жизни, церковной дисциплины и церковной деятельности. Их решения были обязательны для тех церковных общин, представителей которых они собирали. В истории Церкви известны Поместные Соборы, нормы которых были приняты всем остальным христианским миром: Анкирский 314-315 годов, Неокесарийский 315 года, Карфагенский 318 года, Гангрский 340 года, Антиохийский 341 года, Лаодикийский 364 года, Сардикийский 347 года, Константинопольские 394, 864, 879 годов.

Для решения вопросов, затрагивающих весь христианский мир, в первую очередь вероучительных, стали созываться Вселенские Соборы. Первый Вселенский Собор был созван святым Константином Великим в 325 году. Православная Церковь насчитывает семь Вселенских Соборов, проходивших в период с IV века по VIII век. На Вселенских Соборах главным образом было рассмотрено учение Церкви о Господе Иисусе Христе и связанные с ним другие верования Церкви: почитание Пресвятой Богородицы, иконопочитание, а также правила церковного управления и дисциплины.

Соборы не были никогда внешним, самодовлеющим авторитетом. Их почитание в Православной Церкви связано с тем, что они подлинно выявляли согласие, которое существовало во всей Церкви относительно тех или иных предметов. Это было свидетельством действия Святого Духа в организме Церкви. А.С.Хомяков по этому поводу замечает: «Бывали соборы еретические, каковы например те, на которых составлен был полуарианский символ. Почему же отвергнуты эти соборы, не представляющие никаких наружных отличий от соборов вселенских? Потому единственно, что их решения не были признаны за голос Церкви всем церковным народом». При этом Хомяков повторяет аргументацию, выдвинутую в послании восточных патриархов к папе Пию IX: «Непоколебимая твердость, незыблемая истина христианского догмата не зависит от сословия иерархов; она хранится всею полнотою, всею совокупностью народа, составляющего Церковь, который и есть тело Христово».

С принятием христианства в X веке Русская земля начала труды по строительству национальной церковной общины. Произошел полный пересмотр уклада национальной жизни, и соборный дух не замедлил проявиться в принятии и активном использовании на Руси соборной формы управления церковной жизнью. По примеру древних христианских Церквей на Руси созывались Поместные Соборы. Владимиро-Суздальский Собор 1274 года, на котором были устранены неисправности в богослужении и религиозной жизни, открывает вереницу церковных Соборов, проходивших на протяжении XIV-XV веков и решавших различные вопросы церковной жизни. Также известны Московские Соборы 1488-1490 годов и 1504 года, выносившие решения вероучительного характера, в частности, по поводу ереси жидовствующих. На Соборах 1547-1549 годов были канонизированы многие русские святые. В 1551 году прошел знаменитый Стоглавый Собор, посвященный исправлению церковной и религиозной жизни Руси. В XVII веке проходит ряд Соборов, посвященных решению вопросов богослужебной практики: принятие инославных в православие, церковного пения, исправления богослужебных книг. С упразднением патриаршества и

введением синодального управления при Петре Первом в России начался период, когда Церковные Соборы не созывались.

Вновь созыв Поместного Собора стал возможен только в начале XX века. Собор 1917-18 годов восстановил патриаршество, вынес решения о многих вопросах церковной жизни и деятельности. Однако при советской власти соборная форма управления Церковью сталкивается со множеством препятствий. Она возрождается только после Великой Отечественной войны и в основном используется для избрания нового патриарха. В новейшей истории Русской Православной Церкви уже несколько раз собирались Архиерейские Соборы в 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1997 и 2000 годах. На последнем Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года были приняты важные церковные документы: Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, Устав, а также было канонизировано свыше тысячи новомучеников и исповедников российских. Это есть подлинное свидетельство возрождения соборного духа Русской Церкви.

На почве церковного соборного мышления в России возникла практика созыва Земских Соборов. В допетровской Руси социальная и политическая сферы мыслились как другие способы проявления все той же церковной общины. Для Руси было естественно, что соборный способ разрешения церковных проблем был перенесен на социальные и политические дела. Россия знает примеры Земских Соборов, которые сыграли важную роль в жизни государства и общества. Первый Земский Собор был созван Иоанном IV Грозным в 1549 году для утверждения Судебника, нового свода законов Русского Царства. Законодательную роль также сыграл Земский Собор 1649 года, на котором было принято Соборное Уложение, позже вошедшее в свод законов Российской империи. Русская история знает Земские Соборы, на которых избирались новые царские династии. В 1598 году именно Земский Собор избрал Бориса Годунова русским царем. В 1613 году, после Смутного времени, когда пришлось собирать воедино русское государство, Земский Собор избрал царем Михаила Романова, первого представителя династии, правившей Россией до 1917 года. Известно, что Земские Соборы принимали важные внешнеполитические решения. В 1653 году Собор утвердил историческое решение о воссоединении Украины с Россией, а в 1686 году – о «вечном мире» с Польшей.

Земские Соборы представляли из себя собрание представителей всей земли, как в географическом, так и сословном смысле, в рамках которого вырабатывалось единодушное решение по той или иной проблеме. Единодушие достигалось не механически. Соборяне проделывали к нему порой долгий и нелегкий путь обсуждения и согласования, что соответствует и этимологии слова «собор». Однако земские решения не были непреложной истинной, как в случае веро-учительных решений Церковных Соборов. Земские Соборы использовали церковный метод принятия решения, максимально стремясь согласовывать свою волю с Промыслом Божием. Это в какой-то степени удавалось, поскольку все тогдашние земские деяния совершались с общественной и личной молитвой, проходили в общем контексте церковной жизни. В любом случае решения Земских Соборов пользовались высоким авторитетом в народе.

В послепетровской России произошла бюрократизация церковной и государственной жизни. С одной стороны для управления Церковью создается коллегиальный орган – Святейший Синод. Слово «синод»

переводится с греческого языка как «собор». Таким образом, соборная практика как бы осуществлялась на постоянной основе. С другой стороны его деятельность резко ограничивалась как представительством, так и задачами, которые носили административно-дисциплинарный характер.

Вместе с тем Церковь продолжала жить как соборный организм в епархиях, на приходах, в монастырях. Она также продолжала питать некоторые формы организации народной жизни. В сельском хозяйстве это была земледельческая община, в промышленности – трудовая артель. В томе X части I «Свода законов Российской империи» дается следующее определение артели: «артелью трудовою признается товарищество, образовавшееся для производства определенных работ или промыслов, а также для отправления служб и должностей, личным трудом участников, за общий их счет и с круговою их порукою». Представители славянофильства рассматривали трудовую артель как аналог земледельческой общины в промышленной жизни страны. Русские философы А.С.Хомяков, К.С.Аксаков, Ю.Ф.Самарин высоко ценили склонность русских людей к общинному строю, основанному на долге взаимной помощи. Они считали, что в нем есть залог того, что Россия пойдет дальше Западной Европы в осуществлении социальной справедливости, в частности, в гармонизации труда и капитала.

Подводя итог, можно сказать следующее. Полнота осуществления принципа соборности возможна лишь в Царствии Небесном. И так, как невозможно построить человеческими усилиями Царство Небесное на земле, так же невозможно осуществить на земле вожделенный идеал соборности – гармонию максимального единства общества и максимальной свободы личности, поскольку она обусловлена необходимостью беспрепятственного Божественного воздействия на душу человека. Это значит, что нет и не может быть раз и навсегда выверенной технологии построения соборности. Все институты и механизмы управления, порожденные стремлением к соборности, на протяжении всей русской истории проходили проверку на прочность нравственным состоянием общества. Другими словами, приближение к идеалу соборности преимущественно зависит от духовного состояния как отдельного человека, так и общества в целом. Как только в обществе побеждает эгоизм, стремление к самообогащению, зависть, вражда или другие пороки, то сразу же рушится авторитет Соборов, братские отношения между людьми, общественный порядок.

Но мы не говорили бы ни слова о соборности, если бы не могли вкусить этого состояния уже здесь на земле, познать, что это такое из нашего собственного опыта. Самый чистый и полный опыт соборности можно получить лишь, участвуя в жизни Церкви, где братские отношения между людьми строятся на причастности к любви Божией. Церковь, как путеводная звезда, указывает нам, что есть соборность, какой она должна быть. Недаром наши предки стремились настраивать общественную жизнь по принципам устроения Церкви.

Безусловно, есть и другие, нерелигиозные опыты переживания единства, когда множество людей чувствует сопричастность друг другу. Всякое общество имеет такие опыты, иначе оно не смогло бы существовать как единство отдельных личностей. Люди испытывают чувство любви к Родине, например, переживая национальные трагедии и радости. Чувство единения сторонников одной партии проявляется во время выступления ее лидера.

Сочувствие жертвам катастрофы сплачивает миллионы телезрителей. Но перечисленные примеры дают ощущение лишь временного единения, которое проходит. К сожалению, современные светские государства стремятся только к поиску такого временного единства. Для большинства людей в современном обществе вопросы спасения и духовного совершенствования не имеют приоритетного значения. Следовательно, большинству недоступно переживание высшей формы соборности. В своей полноте соборность не может осуществляться в условиях светского государства и при наличии значительного неправославного меньшинства.

В таком случае, чем могут быть полезны нам рассуждения о соборности сегодня? В чем их актуальность для России? Прежде всего думы о соборности помогают нам привести в движение фундаментальные связи, объединяющие наше общество. Обращение к ним способно^помочь нам выстроить прочное будущее нашей страны. Сегодня нашим вкладом в стремление к соборности может быть размышление и действие в соответствии с теми духовными ценностями, которые объединяют наше общество, несмотря на то, что государство является светским, а в обществе присутствуют иные религии и конфессии. Наши общие ценности – это крепкая семья, любовь к Родине, нравственность, честный труд. В России существует единство по поводу данных ценностей между всеми традиционными религиями: православием, исламом, иудаизмом и буддизмом.

Уже сегодня Русская Православная Церковь делает практические шаги для того, чтобы основные вопросы национальной жизни решались на основе традиционных российских ценностей. Регулярно с участием Церкви проводятся Всемирные Русские Народные Соборы, на которых представители Церкви, власти, различных социальных слоев общества определяют совместное видение общественных проблем современной России и жизни русских людей в других странах мира. К соборному размышлению Русская Церковь приглашает и представителей различных народов России и традиционных религий.

Может быть, следующим этапом на пути к соборности станет Земский Собор, который мог бы решать фундаментальные вопросы национальной жизни. Но все эти шаги будут эффективными при условии, что они связаны с духовными основами жизни русского народа и других народов, проживающих в России. Без воздействия Церкви, других традиционных религий на сердца и умы участников Соборов и нашего общества в целом, мы не сможем построить единое общество свободных личностей, которое стало бы российским эквивалентом западной демократии.

ПРИЛОЖНИЕ 2.
СВЯТИТЕЛЬ СМОЛЕНСКИЙ

В стандартном человеческом жизнеощущении различаются два уровня мировосприятия: «обычная» жизнь, с ее быстротекущими заботами и треволнениями, и более высокий уровень бытия, на котором происходят особой значимости события и деяния, свершаемые «историческими личностями», оказывающими влияние на общечеловеческое или общенациональное положение дел. Эта «высшая» сфера бытия, как правило, познается опосредствованным образом – через памятники литературы, истории, искусства, если речь идет о прошедших эпохах, или через средства массовой информации, если это наши современники. И лишь в редких случаях эти два онтологических плана пересекаются в той или иной точке.

Нам, жителям Смоленщины, выпал удел в течение последней четверти века пребывать в одной из таких «сингулярных точек» пересечения «повседневного» и «исторического». Митрополит Кирилл, одна из ключевых, знаковых личностей современной российской действительности, в декабре 1984 года был переведен из Ленинградской епархии, где занимал должность викария епархии и ректора духовной академии, в Смоленскую. По воспоминаниям Владыки, это было большой неожиданностью для всех, но не для него самого: «Многим казалось, что академия процветает,… и это не нравилось светским властям» [1].

Для Смоленской земли это событие имело особое, провиденциальное значение: из всех российских епархий Владыка получил назначение именно в нашу – одну из наиболее трудных в силу своей близости к Европе и вытекающей отсюда малой защищенности от идеологического, в том числе религиозного, давления извне.

В одной из своих бесед Владыка сказал, что и для него это назначение было провиденциальным, поскольку позволило ему обрести жизненный опыт, который при других обстоятельствах мог оказаться малодоступным.

Таким образом, можно говорить о судьбоносной для обеих сторон «встрече» митрополита и епархии, пастыря и паствы, общины и ее духовного главы.

Уже внешний облик митрополита Кирилла привлекает к себе внимание окружающих. Во время богослужения каждый ритуально регламентируемый жест Владыки, как и само его длительное неподвижное стояние на кафедре, являют собой «умное делание» в святоотеческом понимании, органически соединяющее торжественность, спокойное достоинство и внутреннюю самоуглубленность. И каждый раз возникает твердая убежденность: именно таким должно быть подлинное «стояние перед Богом» священнослужителя – естественное и проникновенно-сосредоточенное, как духовное общение с близким, но одновременно бесконечно могущественным верховным Существом.

Миллионы людей, знающие митрополита Кирилла по его выступлениям на телевидении и по радио, но не слышавшие его непосредственно, не могут полностью оценить живой тембр его голоса и его удивительное владение этим «природным инструментом». Одна из наиболее поразительных сторон этого владения проявляется в том, что, хотя Владыка никогда не напрягает голос, каждое произносимое им слово отчетливо воспринимается слушателями в любой аудитории.

Слово – главное средство духовного воздействия митрополита Кирилла на окружающих. По свидетельству многих его слушателей самых различных социальных рангов и уровней образования, как верующих так и неверующих, им не приходилось встречать в своей жизни более высокий образец подлинного красноречия, состоящего не в «плетении» красивых словес, а в свободном и безошибочном нахождении именно тех слов, которые нужны для выражения высказываемой мысли.

Владыка, как правило, выступает спонтанно. Трудно представить его говорящим «по бумажке»; еще труднее заранее получить для публикации текст его предстоящего выступления. И хотя митрополит Кирилл является одним из наиболее «ангажированных» ораторов на различного рода общественных мероприятиях, не говоря о церковных празднествах, он никогда не повторяется. В его выступлениях, неизменно содержащих нестандартные, глубокие суждения по самым, казалось бы, «прописным» вопросам, за многие годы не замечено ни единой шероховатости, ни малейшего перебоя речи.

Позволю себе привести некоторые высказывания Владыки. Особенно запомнился следующий его рассказ о своих детских годах. Десятилетний школьник Володя Гундяев хорошо успевал по всем предметам, особенно по математике и физике; но была у него некоторая, по тогдашним понятиям, «странность»: он посещал церковные богослужения, соблюдал православные обряды и не только не скрывал такого «аномального», по советским стандартам, поведения, но упорно игнорировал прямые увещевания отказаться от «пережитков капитализма», неподобающих будущему «строителю коммунизма». Вконец раздосадованная таким упрямством учительница, она же завуч (или директор) школы, после очередной «проработки» непокорного ученика в сердцах воскликнула: «Предсказываю тебе, что когда ты повзрослеешь и поумнеешь, ты глубоко раскаешься в своих нынешних заблуждениях». И тут десятилетний мальчик, стоя перед грозным школьным начальством, ответил: «А я предсказываю вам, что через много лет вы раскаетесь в сегодняшних своих словах».

Прошли годы. Однажды в Женеву на имя Владыки, представителя Русской Православной Церкви на международном совещании по религиозным вопросам, приходит телеграмма от той самой учительницы, желающей перед смертью увидеть своего бывшего ученика. Владыка покидает совещание и успевает принять последнее покаяние своей школьной учительницы.

Богатый жизненный опыт Владыки, почерпнутый им из широких контактов с людьми различных культур, убеждений и социального статуса по всему земному шару, позволяет ему находить нестандартные конструктивные подходы и решения в самых различных жизненных ситуациях. Так, на встрече с участниками Смоленского земского движения он рассказал об одной своей поездке в Финляндию, где на его похвальный отзыв о благоустройстве и четкой организации финского социального быта был получен следующий ответ: «Это все результат практического воплощения наработок русского земства второй половины XIX века. Финляндия тогда входила в состав Российской империи; после отделения от России мы просто использовали русский земский опыт». Этот факт произвел сильное впечатление на слушателей как свидетельство огромных потенциальных, доселе не реализованных возможностей современного российского земского движения.

На другой встрече, изобиловавшей жалобами на современные российские неустройства, Владыка заметил: «На распутье легче строить новое».

Много лет назад, отвечая на письмо незнакомого мирянина – автора этих строк, выразившего тревогу по поводу недостаточной связи современной Православной Церкви с гражданским обществом – Владыка написал: «Одна из основных проблем Церкви – нехватка священнослужителей, способных исповедывать сущность христианского вероучения в понятиях и терминах, близких к пониманию современного образованного человека».

Трудно переоценить личный вклад митрополита Кирилла в преодоление бреши между Церковью и обществом, унаследованной от дореволюционных времен, усугубленной антирелигиозной политикой советского государства и представляющей один из основных источников неисчислимых бедствий нашего отечества в XX веке. Домостроительное «умное делание» Владыки, как говорили в старину на Святой Руси, наложило неизгладимый отпечаток на Смоленщину в самых различных жизненных сферах – как в церковных, так и в мирских. Один из наиболее значимых результатов его духовной деятельности на Смоленской земле состоит в положенном им начале устранения того средостения, которое отделяло наше гражданское общество – в первую очередь, интеллигенцию – от церкви и христианского вероучения на протяжении многих предшествующих десятилетий.

Памятна одна из первых, если не самая первая встреча Владыки со смоленской интеллигенцией в Доме театрального общества. Помнится атмосфера напряженного ожидания, с оттенком некоторой отчужденности и недоверия, перемежаемая отдельными скептическими ремарками на фоне всеобщего молчания, не свойственного обычным «общественным мероприятиям». Тем разительней было осязание постепенного изменения настроения аудитории по мере выступления Владыки – как всегда, «близкого к пониманию современного образованного человека» своей логической

стройностью и обоснованностью изложения. Оратор не только не избегал и не сглаживал вопросов, наиболее «острых» для стандартного интеллигентского сознания, но поставил их в центр своего обсуждения. Отмечая отдельные моменты «парадоксальности» христианства с точки зрения обычного «здравого смысла», Владыка убедительно аргументировал взаимодополнительность разума и веры, дольнего и горнего, мирского и вечного.

Вечер завершился для большинства мирского состава присутствующих первым в их жизни свободным общением «на равных» с высокопоставленным представителем иного, «параллельного» мира, таинственно именуемым «иерархом Церкви». Участники встречи к своему очевидному удивлению воочию убедились, что все те качества, которые привычно ассоциируются с идеалом «интеллигентности» – всесторонняя эрудиция, широта мысли, редкая ясность и последовательность мышления – не только совместимы с глубокой религиозной верой и самоотверженным церковным служением, но черпают в них свою подлинную основу, вдохновение и смысл. И именно этот живой опыт личного общения в большей мере, чем любые абстрактные рассуждения, способствовал и способствует рассеянию многолетней атмосферы отчуждения на Смоленщине светского общества от Церкви. После этой знаменательной встречи многие ее участники из мирян с некоторым замешательством отмечали: «Митрополит говорит и мыслит совсем как мы с вами. С ним можно договориться».

Умение Владыки рассуждать о церковных проблемах и предметах веры «на языке, понятном современному образованному человеку», определяет его уникальное влияние на общественность Смоленщины, от самых «простых» до самых «интеллектуальных» ее представителей. Что касается последних, то здесь наблюдается следующий своеобразный феномен. Общаясь с митрополитом Кириллом, любой непредубежденный человек сознает, что он имеет дело с собеседником наивысшей «интеллигентской пробы», искушенным во всех тонкостях мировой культуры, не хуже самого изощренного светского интеллектуала разбирающегося в различных течениях и проблемах философии, науки и искусства. И этот наглядный факт оказывается во многих случаях действенней любого религиозного миссионерства. В интеллигентском сознании зарождается зерно сомнения в обоснованности стандартных суждений об «опиуме для народа», «поповских баснях для легковерных» и т.п.

Действительно, если этот «интеллигент из интеллигентов», который мог бы сделать блестящую карьеру на самых различных стезях мирской интеллектуальной деятельности, наперекор давлению всей атеистической государственной машины недавнего прошлого, бесповоротно связал свою личную судьбу со служением религиозному идеалу – то, возможно, «в этом что-то есть», что-то такое, «что и не снилось нашим мудрецам». Привычная самонадеянность, самодостаточность интеллигентского мировосприятия оказывается поколебленной, что может служить предвестником

существенной «духовной перестройки» нашего атеистического или религиозно индифферентного образованного сословия.

Автору этих строк неоднократно приходилось наблюдать начало такой духовной перестройки у целого ряда представителей различных интеллектуальных профессий после нескольких встреч с митрополитом Кириллом. Приведу конкретный пример. Лет десять назад мне довелось идти на прием к Владыке вместе с двумя близкими мне людьми для решения определенного сугубо мирского вопроса. По дороге, чтобы предупредить возникновение каких-либо «неловкостей», я сказал своим спутникам: «Я подойду под благословение Владыки. Для вас это не обязательно. Владыка в высшей степени тактичный человек, и вы не почувствуете никакой принужденности в общении с ним». Так все и произошло. Через несколько месяцев на одной из встреч, устраиваемых епархией со смоленской общественностью, я заметил, – с долей приятного удивления и, должен сознаться, не без скрытой улыбки – как мои двое друзей принимают по православному обряду пастырское благословение митрополита.

Упомянутые0 епархиальные «встречи» представляют одно из наиболее значимых общественных событий последних лет на Смоленщине. С приходом митрополита Кирилла на Смоленскую епархию, по основным православным праздникам, после богослужения, проводятся совместные праздничные трапезы духовенства и мирян с приглашением широкого круга представителей различных слоев общества: администрации, творческой интеллигенции, военных, патриотически настроенных предпринимателей и др.

Неоценимо домостроительное значение этих «соборных» встреч. Достаточно сказать, что это единственный на Смоленщине регулярно собираемый «форум», символически отображающий социальную структуру области, как и всей страны, в ее трех основных составляющих: государственной, гражданской и церковной. На этих собраниях, объединяемых непререкаемым духовным авторитетом Владыки, различные общественные менталитеты, мало соприкасающиеся между собой в обычной жизни, присматриваются, «притираются» друг к другу, находят определенные точки соприкосновения. Происходит наглядная апробация постоянно провозглашаемого Владыкой тезиса о том, что в современной России Православная Церковь является единственным действенным интегрирующим фактором, способным примирить раздирающие страну противоречия и заложить основы гражданского согласия.

На этих собраниях и предшествующих им богослужениях мы, интеллигенция, постепенно научаемся петь «Долгие лета», креститься – не столько в смысле «правильного» сложения троеперстия, сколько в плане преодоления унаследованного от прежней эпохи внутреннего сопротивления, препятствующего внешнему проявлению элементов православной обрядности. А вместе с этими внешними проявлениями происходит усвоение элементов православного духовного опыта.

Духовная домостроительная деятельность митрополита Кирилла на Смоленщине, при всей своей «локальной» значимости, получает свое полное осмысление в более широкой исторической перспективе. В Смоленской области в последние полтора десятилетия закладывается, в новых исторических условиях, «симфоническая» модель синергийного взаимодействия светской и духовной властей, восходящая корнями к Московской Руси и, таким образом, творчески воскрешающая один из основных компонентов исконной российской государственной традиции, прерванной петровскими преобразованиями три века назад. С тонким пониманием индивидуальных особенностей человеческих характеров, проявляя незаурядную житейскую мудрость и такт, Владыка целенаправленно налаживает конструктивные контакты с тремя последними губернаторами, при всей несхожести их личных характеристик и политических установок, и административными аппаратами Смоленской области в совместном решении актуальных проблем, связанных, в первую очередь, с активизацией духовной жизни и укреплением гражданского согласия в регионе.

К числу наиболее показательных из этих шагов следует отнести проведенный в сентябре 2000 года Народный собор Смоленщины, возрождающий традицию Земских соборов Московской Руси и имеющий целью координацию деятельности администрации, Церкви и гражданского общества по преодолению, по словам преподобного Сергия Радонежского, «ненавистной разделенности мира сего».

Конечно, мы еще далеки от реализации исконного православного идеала «симфонии» духовной и светской власти, но в этом направлении – в значительной мере по почину митрополита Смоленского Кирилла – делаются первые за три послепетровских столетия реальные шаги.

Митрополит Кирилл принимает активное участие практически во всех социальных мероприятиях областного значения, являясь прямым инициатором многих из них. Так, Владыка организовал Смоленский филиал Всемирного Русского Народного Собора; на базе Смоленской епархии и Епархиального Духовного училища, с благословения Владыки и при его непосредственном участии, в 1992 г. была проведена одна из первых в стране всероссийская конференция по исихазму. По инициативе митрополита Кирилла и при взаимодействии с областной и городской администрациями на Смоленщине восстанавливаются и строятся новые православные храмы, организуются новые приходы.

Эти начинания, преодолевающие многолетнюю взаимную отчужденность Церкви и государственной власти, имеют судьбоносное значение как для Смоленской земли, так и для всей России в качестве первого опыта совмещения многовековой национальной традиции с реалиями современной исторической ситуации.

ЛИТЕРАТУРА

[1] «Смоленские новости», 22.11.

ПРИЛОЖЕИЕ 3.
ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ АНИЧКОВ: ЛИЧНОСТЬ И ВРЕМЯ

Игорь Евгеньевич Аничков был ярким представителем немногочисленного, но знаменательного типа наших соотечественников. При всем индивидуальном разнообразии характеров и конкретных жизненных судеб, эти люди выделяются на изменчивом фоне нашей быстротекущей действительности такой гранитной незыблемостью личностных устоев, такой безусловной приверженностью определенным нравственным ценностям, что их не могут поколебать никакие «стечения обстоятельств» и «особенности сложившейся ситуации»: они остаются самими собой, с какой стороны и какие бы ветры ни дули в данный «текущий момент». В силу своей бьющей в глаза нестандартности те или иные из них зачастую предстают перед большинством своих современников в облике неких чудаковатых оригиналов с оттенком анахронического донкихотства. И вместе с тем, как это во многих случаях осознается после их ухода из жизни, самим фактом своего существования эти «оригиналы» выполняют некую существенную функцию в социальной экологии, служат зримыми показателями каких-то скрытых за поверхностью явлений, но критически важных в долгосрочной исторической перспективе жизненных параметров, которые не могут быть в течение длительного времени игнорированы любым человеческим обществом без гибельных последствий для себя.

С самой первой встречи профессор Аничков производил впечатление выходца из другой исторической эпохи. Среднего роста, корпулентный, но достаточно подтянутый для своих шестидесяти лет, с гладко приглаженными темными волосами, разделенными четким пробором почти посередине, с аккуратной «луи-наполеоновской» бородкой, печальными глазами слегка восточного разреза и едва уловимым иностранным акцентом – наследием детских и отроческих лет, проведенных в Париже и Лондоне, – Игорь Евгеньевич Аничков, казалось, сошел в наши пятидесятые годы со страниц мемуарной литературы или из какой-либо театральной постановки о маститой либеральной интеллигенции начала века.

Это первое впечатление «пересечения временных пластов» находило дальнейшее подкрепление и развитие при соприкосновении с домашним бытом Игоря Евгеньевича и его жены Софьи Николаевны, которые каким-то естественным, ненавязчивым образом принимали каждого нового аспиранта как члена семьи. Софья Николаевна, окончившая в молодости Петербургский университет и многие десятилетия проработавшая учителем-словесником в школе, была в своем роде столь же характерным представителем своей эпохи, как и Игорь Евгеньевич, переживший ее на несколько лет. Худенькая, с добрым морщинистым лицом и неторопливой речью, лишенная какой-либо внешней импозантности, она излучала тихое достоинство; во всем ее скромном светлом облике сквозила мягкая несгибаемость жизненных

установок, спокойная готовность без лишних восклицаний встретить любые повороты судьбы.

Семья Аничковых занимала две, а с 1967 г. три маленькие комнаты в коммунальной квартире на четвертом или пятом этаже старого петербургского дома на Греческом проспекте, недалеко от Московского вокзала. Жилая комната была разделена перегородкой на два узких «пенала» – столовую и спальню. Редкое посещение Игоря Евгеньевича обходилось без того, чтобы после двух- или трехчасовой беседы-консультации в кабинет бесшумно не входила Софья Николаевна и, извинившись за то, что прерывает наш ученый разговор, не приглашала бы нас к столу.

Кабинет Игоря Евгеньевича, ближе расположенный к входной двери, был отделен от столовой узким темным коридором, ведшим мимо комнаты, занимаемой «трудными» соседями. Кабинет представлял собой маленькую комнатку в форме прямоугольной трапеции с небольшим оконцем на скошенной стороне, выходящим в глубокий двор-колодец, никогда до дна не освещаемый солнцем. На подоконнике – аквариум с рыбками и ящики с миниатюрными кактусами, составлявшими увлечение Софьи Николаевны; для тех и других за недостатком солнечного света периодически включались и выключались две маленькие электрические лампочки. Продавленный старый диван; наискось стоящий у окна большой письменный стол с расставленными в неизменном хаотическом порядке бронзовыми письменными приборами и телефоном; старинное кресло, всегда занимаемое хозяином кабинета (посетитель столь же неизменно располагался в ближнем к столу углу дивана).

И резким контрастом на этом буднично-бытовом фоне – не виданное мною ни раньше, ни позже в каком-либо единичном частном владении обилие старинных книг по истории, философии, филологии и всем другим гуманитарным разделам знания. Возможность свободно взять с полки, полистать и даже – по великодушной щедрости Игоря Евгеньевича – запросто унести с собой для домашнего прочтения любое из этих полиграфических сокровищ создавала атмосферу непосредственного сопричастия духовной жизни прошлых веков, особенно остро ощущавшуюся по контрасту с бесконечными запретами и ограничениями всевозможных библиотечных «спецхранов» и «спецфондов». События, факты, людские идеалы вековой и тысячелетней давности приобретали здесь вещественную реальность, перемежались с обыденным настоящим без какой-либо музейной отчужденности. Разрозненные антикварные предметы соседствовали «на равных» с самым обычным современным ширпотребом; однажды я с замиранием духа обнаружил, что стол под потертой клеенкой, за которым мне столько раз доводилось разделять скромную трапезу любезных хозяев, оказался подлинным произведением искусства – с резными ножками и изящно изогнутой по краям, инкрустированной тончайшим рисунком из редких пород дерева поверхностью. На том же столе среди остатков фамильного серебра с монограммами и старинных хрустальных рюмок громоздился зеленый эмалированный чайник, приобретенный в ближайшем

хозтоварном магазине. «Боярский» (как я его называл про себя) стул в углу с высокой резной спинкой (никто при мне никогда на нем не сидел) и над ним икона в тяжелой серебряной оправе могли, как мне кажется, достойно занять место в выставочных залах Русского музея.

Возникало ощущение, что вся жизнь в доме Аничковых протекала под пристальным вниманием предков Игоря Евгеньевича в различных поколениях: портреты военных с пышными усами и эполетами, одухотворенных женщин разных возрастов в белых домашних чепчиках неусыпно следили со стен кабинета за всем происходящим здесь, внизу; особенно запомнился образ молодого мужчины с красивым открытым лицом, современника и знакомого Пушкина. Род Аничковых – Игорь Евгеньевич настойчиво подчеркивал ударность второго слога в его фамилии – происходил, по его рассказу, от татарского царевича, крестившегося и с православным именем Аникий поступившего на службу к московскому князю. Игорь Евгеньевич – последний, насколько мне известно, представитель одной из ветвей этого древнего рода – был сыном Евгения Аничкова, видного ученого – знатока русского фольклора, и Анны Митрофановны Аничковой, известной в свое время писательницы и переводчицы, чей салон в Париже посещали А. Франс и другие деятели французской культуры.

Одна из примечательных черт Игоря Евгеньевича состояла в непротиворечивом сочетании в его миросозерцании приверженности идеалам общеевропейской образованности и верности национальной традиции. Для этого разностороннего ученого, в совершенстве постигшего все тонкости английского и французского языков, свободно владевшего многими современными и древними языками, глубокого знатока европейской культуры во всех ипостасях и фазах ее развития, тема России всегда оставалась доминирующей. Личные (хотя и весьма смутные) воспоминания Игоря Евгеньевича об А. Блоке, В.В. Розанове, Д. С. Мережковском, А. Белом и других видных деятелях «русского ренессанса» начала века, посещавших дом его родителей в дни его далекого детства, придавали дополнительную живость и убедительность его рассуждениям. Особенно много проникновенных слов было сказано Игорем Евгеньевичем о Пушкине, Достоевском и Блоке, высоко чтимых им прежде всего за их «пророческую веру» в великое общечеловеческое назначение России во всем ее многонациональном составе. Это уходящее корнями в древнюю славянофильскую традицию убеждение было свойственно и самому Игорю Евгеньевичу; более того, оно составляло, как мне представляется, самую глубокую основу его личности, определяло ту неуязвимость внутреннего мира, его неподвластность никаким внешним невзгодам, что всегда поражали всех, кто близко знал этого необыкновенного человека.

Между тем, поводов для нарушения равновесия духа в биографии И.Е. Аничкова было достаточно. О своей жизни он никогда не высказывался; исключение составляли несколько скупых упоминаний о детских годах. Было лишь из третьих уст известно, что в тридцатые годы Игорь Евгеньевич

разделил трудную судьбу значительной части своего народа, проведя не по своей воле ряд лет на Соловецких островах. Столь же окольными путями доходили обрывки рассказов о спокойной выдержке и бодрости духа, проявленных им в самых экстремальных ситуациях и служивших нравственным подспорьем и примером для многих его товарищей по несчастью.

Если прошлое Игоря Евгеньевича пребывало в относительной неизвестности для нашего поколения, то его настоящее во всей своей повседневной прозаичности было у всех перед глазами. Поражала непрактичность Игоря Евгеньевича, его граничащая с наивностью неосведомленность в повсеместных жизненных реалиях тех лет. Не запомнилось ни единого упоминания о посещении театра, концерта или кино; в доме никогда не было телевизора. Неоднократно проявлялась бытовая незащищенность двух пожилых людей с «устаревшими» интеллигентскими установками при неизбежных соприкосновениях с миром домоуправлений, слесарей, водопроводчиков и т. д., но прежде всего – высшее испытание! – перед неукротимой злобой соседей по квартире, ненавидевших «классовой» ненавистью представителей «дворянской кости» и изыскивавших с неиссякаемой изобретательностью тысячи способов отравления их повседневного существования.

Но эта рассогласованность составляла лишь одну сторону взаимоотношений И.Е. Аничкова с современной ему действительностью. Другая, более существенная сторона этих отношений определялась живым интересом, постоянно проявлявшимся Игорем Евгеньевичем и Софьей Николаевной к окружающим людям и событиям. Выписывались и тщательно прочитывались (с обильным подчеркиванием разноцветными карандашами) многие центральные газеты и журналы. За обеденным столом Софья Николаевна внимательно расспрашивала собеседника о его жизненных обстоятельствах, и за ее вопросами и отдельными репликами Игоря Евгеньевича чувствовалась неподдельная заинтересованность в обсуждаемых жизненных явлениях. И если в доме Аничковых неизвестны были имена самых знаменитых современных актеров, то из уст Софьи Николаевны мне довелось впервые услышать имя малоизвестного в начале шестидесятых годов художника Ильи Глазунова.

Для полноты описания бытового аспекта существования И.Е. Аничкова необходимо добавить следующую характерную черту: не раз случалось, что при всей его неприспособленности к жизни он находил неожиданный выход из затруднительной ситуации, до какого, вероятно, не додумался бы человек более практичного склада. Так, например, опаздывая однажды на поезд, Игорь Евгеньевич с невозмутимым видом прибыл в последнюю минуту на вокзал... в карете скорой помощи, которую он сумел каким-то образом «перехватить» прямо на улице.

Не менее своеобразными, чем все остальное в облике И.Е. Аничкова, были его интеллектуальные отношения с людьми. Его выступления с многократно слышанными прежде, привычно ассоциируемыми с ним

формулировками порой вызывали добродушно-ироническую реакцию слушателей. Вместе с тем и здесь Игорь Евгеньевич в некоторых острополемических ситуациях проявлял мгновенную находчивость, с быстротой фехтовальщика находил неожиданные эффектные реплики, озадачивавшие его оппонентов. Воспринимаемый многими в качестве «белой вороны» (по выражению одного доброжелательного, но скептически настроенного наблюдателя, «так говорят и действуют только персонажи старинных сентиментальных романов, но не живые люди»), он тем не менее невольно импонировал своим самобытным стандартом поведения и оценки поведения других, стимулируя своей независимостью от общепринятых трафаретов внутреннее раскрепощение тех, кто был способен на таковое. В результате из каждого периода своей жизни Игорь Евгеньевич вынес привязанность нескольких человек, сохранивших в большинстве случаев духовную связь с ним до конца своей или его жизни.

При всем внимании, оказываемом И.Е. Аничковым своей родословной, он был неподдельно демократичным в своем отношении к людям. Свободный от малейшего оттенка аристократической спеси, он видел в каждом собеседнике, независимо от его социального и образовательного статуса, человека, приверженного тем же высоким нравственным идеалам, которыми руководствовался сам Игорь Евгеньевич. Его общение с таким сочувствующим (или кажущимся таковым) собеседником в основном носило однонаправленный характер (во всяком случае, в последнее десятилетие его жизни). Было десятка полтора тем в широком гуманитарном диапазоне, в первую очередь волновавших Игоря Евгеньевича; по всем этим вопросам у него имелась давно отстоявшаяся точка зрения, изложением которой в неизменных формулировках он начинал каждую встречу. В течение этого монолога (в среднем длившегося, по моим наблюдениям, около часа) отсутствовала какая-либо «обратная связь со слушателем»: высказываемые суждения носили непререкаемый характер. Как уже говорилось, Игорь Евгеньевич исходил из убеждения, что собеседник мыслит так же, как он, и иначе мыслить не может.

По свидетельству некоторых участников этих своеобразных бесед, многое из услышанного прочно осело в памяти слушателей и сыграло существенную роль в их научном становлении (хотя в момент восприятия вызывало порой даже некоторое чувство раздражения от частой повторяемости); кое-что было глубже осознано впоследствии. О себе могу сказать, что тема исследования, предложенная Игорем Евгеньевичем на первой же консультации, оказалась определяющей для всей моей научной биографии.

Таким образом, в личном общении И.Е. Аничкова с людьми, близкими ему по научным интересам, как и во всех других жизненных отношениях, проявлялись черты, ограничивающие возможности его духовного контакта с окружающими, с одной стороны, и беспредельно расширяющие эти возможности – с другой. Эта противоречивость облика Игоря Евгеньевича определялась, как мне кажется, двойственным модусом его существования во

времени. При общении с ним я часто ловил себя на впечатлении, что он лишь «присутствует», «участвует» какой-то гранью своей личности в настоящем времени, основное же и подлинное свое бытие имеет в прошлом – и будущем. Игорь Евгеньевич жил в постоянном, повседневном ожидании эпохальных перемен в жизни нашего общества, какого-то коренного «духовного поворота», который должен, по его представлению, вернуть страну и народ к вековым национальным идеалам и ценностям – с сохранением и новым осмыслением приобретенного за последние десятилетия исторического опыта.

Должен признаться, что если в шестидесятых и семидесятых годах подобные рассуждения даже самому лояльно настроенному слушателю казались фантазией кабинетного, оторванного от реальной жизни ученого, то в конце восьмидесятых, после всего пережитого за последние несколько лет, невольно задаешься вопросом: что это – случайное совпадение или глубинная пророческая прозорливость сродни той, которая была проявлена в иных исторических условиях столь высоко почитаемыми им Достоевским и Блоком? Не соприкоснулись ли мы здесь с сокровенной «связью времен», подпочвенным врастанием прошлого в будущее через узкую горловину настоящего?

Характеристику личности И.Е. Аничкова уместно завершить упоминанием о событии, символически высветившем его жизненные установки. Представляется в высшей степени показательным, что не кто иной, как этот «кабинетный» ученый, при всей своей непрактичности и кажущейся несовременности, оказался из всех своих коллег-современников тем человеком, который выступил «застрельщиком» (при поддержке его прежних учеников, впоследствии видных ученых – И.Н. Горелова, А.П. Старкова, В.П.Недялкова) реформы преподавания иностранных языков в школе и вузе. Для правильной оценки социальной значимости этого начинания необходимо вспомнить, что речь идет об одной из наиболее консервативных, безнадежно «забюрокраченных» областей нашей общественной жизни в конце пятидесятых годов, т. е. в самом преддверии периода «застоя». Казалось бы, «здраво» рассуждая, что шансы осуществить какой-либо «прорыв» в этой окостеневшей сфере были близки к нулю. И между тем такой прорыв имел место, и результаты его сказывались и продолжают сказываться до настоящего времени: процессы обновления, запущенные четверть века назад, оказались необратимыми.

Возникает вопрос: почему именно И.Е. Аничкову, при всех вышеописанных особенностях его характера, выпало на долю осуществить эту столь значимую по своим социальным последствиям инициативу? И не послужили ли сами эти особенности характера подлинным источником такой необычной по тем временам акции, как обращение в ЦК КПСС с письмом о настоятельности коренной перестройки такой, казалось бы, далекой от экономического базиса, «надстроечной» структуры, как преподавание иностранных языков? И этот призыв был услышан.

Таким образом, в данной ситуации, как и во многих других, установка на абсолютные, не обусловливаемые временной конъюнктурой ценности оказалась более действенной и результативной в решении насущных практических задач, чем «мудрость века сего».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
АНТОН ПЕТРОВИЧ СИЛЬНИЦКИЙ (1863–1910)

Из разрозненных рассказов моего отца о его ранних детских годах на Камчатке я знал, что его отец, мой дед, Антон Петрович Сильницкий, какое-то время служил Петропавловским уездным начальником и сыграл ключевую роль в том, что полуостров не был захвачен японцами в результате войны 1904-1905 гг. Поскольку в младенческом сознании отца почти не сохранились подробности этой эпопеи, я с живым интересом прочел уже в зрелые годы следующее письмо:

«Уважаемый Георгий Георгиевич, здравствуйте. Пишет вам Токарский Валерий Николаевич из Хабаровска. От Анны Валерьевны Лящук, директора Краеведческого музея в Петропавловске-на-Камчатке, я узнал, что в Смоленске живёт внук Антона Петровича Сильницкого. Я работаю в издательском доме "Приамурские ведомости", в составе которого есть газета с тем же названием. В Хабаровске я живу неподалёку от улицы Кавказской, где Антон Петрович и Людмила Александровна (в девичестве Шванская, дочь дворянина) Сильницкие владели двумя домами. Там жили их дети Леонид, Нина, Евгений, Николай, Георгий.

Антон Петрович Сильницкий родился 2 августа 1863 г. в семье православного священника. Воспитывался в Смоленской духовной семинарии. Умер в 1910 году, прожив 47 лет. (Таким образом, мне, его внуку, довелось обогнуть чуть ли не пол земного шара, совершив путь от Шанхая до Смоленска, чтобы, не ведая того, вернуться к своим семейным истокам).

Службе в армии Сильницкий отдал 12 лет, 1 месяц и 2 дня. 16 июня 1894 г. из европейской части России был переведён служить в 10-й Восточно-Сибирский линейный батальон. В Хабаровске Сильницкий появился в октябре 1894 года. Офицер полностью отдался службе. И вот уже по приказанию командующего войсками Приамурского военного округа он разбирает архивы в Мариинске, Софийске, Николаевске и Владивостоке. Это был поиск бумаг и документов, которые могли стать пособием в изучении Амурского края. Вспомним, что в то время приамурским генерал-губернатором был Сергей Михайлович Духовской, его помощником – Николай Иванович Гродеков. С их именами связаны становление и успешная деятельность Приамурского отдела Географического общества, краеведческого музея, библиотеки. Сильницкий, как человек исполнительный и решительный, попадает в поле зрения начальников. Летом 1896 года его военная карьера заканчивается. Впереди – гражданская служба.

Началась чиновничья стезя командировкой на Камчатку и в Анадыр с задачей доложить о впечатлениях о поездке общему собранию Приамурского отдела Императорского Русского географического общества. Хочется думать, что именно этот доклад о живущих в этих краях русских, об аборигенах, укладе жизни тех и других на северо-востоке России раскрыл талант Антона Петровича как журналиста. Ваш героический дедушка сам

фотографировал. Журналист и фотограф он был классный. Строки этого сообщения сегодня читаются с огромным интересом. Из первых уст можно узнать о деятельности администратора и учёного Николая Львовича Гондатти, работавшего в те времена в Анадырском округе. Кстати, Сильницкий из той поездки привёз в краеведческий музей около 30 ящиков коллекций, собранных Гондатти. 14 января 1899 г. приказом Приамурского генерал-губернатора Сильницкий был назначен редактором газеты "Приамурские ведомости". Писал Антон Петрович замечательно. Объяснялся с читателями понятным языком. Потрясающей силы был его рассказ об Авдотье Ивановне Карандашевой – участнице обороны Петропавловска от англо-французского десанта в 1854 году. Она подносила заряды к пушке на батарее мужа, который и погиб на её глазах. Получил контузию от разрыва французского снаряда сын Ваня, бывший в ту пору в грудничковом возрасте.

Положительные результаты служебной деятельности А.П.Сильницкого были отмечены правительственными наградами: орденом Св. Анны 3-й степени (1898), орденом Св. Станислава 2-й степени, 1903.

Учитывая честность, порядочность, знание населения северных территорий, в апреле 1903 года Антона Петровича Сильницкого назначили петропавловским уездным начальником. Первые шаги его по управлению Камчаткой очень не понравились старожилам из числа местных чиновников и торговцев. Антон Петрович закрыл кабаки, запретил спаивать аборигенов. Трезвые камчадалы стали получать за пушнину настоящие деньги и покупать необходимые товары не втридорога. Взяток Сильницкий не брал. Местный бюджет увеличился по сравнению с прошлыми годами в разы. «Высшее» сообщество стало беднеть и роптать. Через год такой работы, подкупив окружного врача, сообщество признало уездного начальника сумасшедшим.

Шёл 1904 год, Россия воевала с Японией. Японцы ещё в довоенное время, пользуясь малонаселённостью Камчатки, хищничали в реках, как хотели. Местное население им было не указ. Казалось, что, высадившись с острова Шумшу десантом у селения Явино, японские солдаты добьются лёгкой победы. Но этого не случилось. При своих минимальных потерях дружинники наголову разгромили врага. Сильницкий решительно принял командование и организацию обороны на себя. Очень быстро мужское население Камчатки вооружилось берданами – винтовками, к которым патронов было предостаточно. Как человек военный, А.П.Сильницкий знал, что десанту японцев с населением Камчатки не справиться. Каждый камчадал – это великолепный стрелок.

(Свидетельством тому может служить следующий эпизод, рассказанный мне моим отцом по своим смутным воспоминаниям о детских годах на Камчатке (или слышанный им от своего отца). Однажды группа офицеров тренировалась в стрельбе по бутылке, поставленной на расстоянии около ста метров. За ними с нескрываемой улыбкой наблюдал один камчадал. Наконец один из офицеров раздраженно предложил ему продемонстрировать, на что он способен.

Стрелять по бутылке камчадал не стал. В это время высоко в небе кружилась птица. Прикинув взглядом ее полет и рассчитав в уме дистанцию, камчадал почти не целясь вскинул ружье и выстрелил. Птица плавно продолжила свою траекторию по нисходящей и упала на землю где-то в отдалении. Офицеры молча разошлись).

Летом Антон Петрович с женой и детьми вынужден был выехать в Охотск. Затем один добрался до Якутска. «В Якутске, тотчас по приезде, я явился губернатору Буланову, который выслушал моё повествование, предложил мне написать для «Якутских областных ведомостей» об обороне Камчатки от японцев, что я на другой день и исполнил. Эта моя статья прошла не только в сибирские газеты, но из Иркутска она была передана по телеграфу петербургскому агентству и обошла всю русскую печать».

В Иркутске Антон Петрович прошёл медицинское освидетельствование. Доктора пришли к заключению, что Сильницкий абсолютно здоров. 1 января 1905 года А.П. Сильницкий по приказу генерала Андреева снова стал редактором «Приамурских ведомостей». В этом же году Антону Петровичу пришлось ещё раз посетить Камчатку. В качестве ревизора. Появление Сильницкого на полуострове стало шоком для «высшего» сообщества».

Валерий Токарский.

Факты, приведенные В.Н.Токарским, конкретизируются далее выдержками из интернетовской статьи «Хроника забытой войны».

"В 1896 г. впервые появились на Камчатском полуострове японцы, завезенные Русским Товариществом котиковых промыслов в устье р. Камчатки для лова чавычи… Полная безопасность в отношении лова не только в море, но и в самих реках полуострова была для всякого японца более чем очевидна, потому что побережье страны было без всякой действительной охраны… Когда в июне 1897 года прибывшие в устье реки Камчатки японцы закинули свой большой невод, то оказалось, что 50 человек не могли его вытащит: он набит был рыбой, и, чтобы спасти рыболовную снасть, японцы отпустили один конец, чтобы отпустить рыбу, и только тогда могли подтащить ее к берегу, но и при таких условиях они поймали около 6 тысяч экземпляров – количество, буквально поразившее рыбаков.

В 1897 году летом было предложено, по поручению генерал-губернатора С.М.Духовского, окружному начальнику высказаться ввиду появившегося на Камчатке рыбного промысла и дальнейшего его развития, желательно или нет присутствие в стране особого лица, которому принадлежали бы надзор и изучение промысловой деятельности. Ответ был отрицательный. По словам управляющего государственными имуществами д.ст.с. М.С..Веденского, на Камчатке нельзя было ожидать развития рыбопромышленности.

С 1899 г. начался хищнический промысел рыбы японцами по всему побережью Камчатки, и население ее начинает справедливо уже жаловаться на оскудение рек рыбою вследствие перегораживания их в устьях японскими сетями. Камчатка осталась предоставленной на полное разграбление ее богатств хищниками японцами, без всякой деятельной охраны, с несчастным

населением, обреченным тем самым на быстрое вымирание. В недалеком будущем камчадалам, подобно айнам Сахалина, предстояло ловить рыбу для собственного пропитания в открытом море. Громадный вред наносится японцами населению ввозом и бесконтрольным сбытом дешевого спирта в плату за упромышленную жителями же для японцев рыбу.

По оценке современника, имея в виду, что японцы сходят на берег с ружьями, понятно то опасение, явившееся как у жителей, так и администрации, что Камчатка при малейшем поводе окажется фактически занятой вооруженной японской силой. Казалось, что еще немного лет, и Россия будет иметь в Камчатке, вместо страны, одаренной щедро естественными богатствами, – пять тысяч голодного населения, если еще до этого не удастся японцам вполне овладеть Камчаткою, приобщив ее к своим владениям. Что японцы питают эту мысль, доказывали факты их систематического изучения Камчатки. Морские карты Камчатки у них были гораздо точнее имеющихся у русских. На ближайшем к Камчатке острове Шумшу японцы имели, приблизительно с 95 года, военно-морской пост под командою лейтенанта флота, посещаемый ежемесячно крейсером. Наступило уже время, чтобы решить, оставить ли Камчатку с Россией или передать ее Японии, кто здесь хозяева – русские или японцы, или эта страна до сих пор не принадлежит никому, и как те, так и другие являются в ней только хищниками. Сильницкий со своим патриотизмом слишком сильно мешал тем, кто уже заранее решил судьбу Камчатки с ее природными богатствами.

Начавшаяся русско-японская война на какое-то время примирила противостояние А.П.Сильницкого и местной элиты. В уездном правлении собрались все, от кого теперь зависела судьба Камчатки. "Все умрем, а японца не допустим" – решило это собрание, предоставив Сильницкому, как начальнику уезда, полное право распоряжаться судьбой каждого из них во имя России. Были призваны на военную службу все запасники. Начальником обороны Камчатки был назначен заместитель Сильницкого штабс-капитан Векентьев. На мысе Сигнальном, у входа в Авачинскую бухту, был выставлен караул, чтобы заблаговременно, как в период обороны Петропавловска от англо-французов полвека назад, предупредить горожан о появлении неприятельского флота. Груз с берданами, патронами, ополченческими крестами был отправлен во внутренние районы Камчатки. Каюры везли с собою приказ-обращение Сильницкого о создании народного ополчения – добровольных дружин для защиты Камчатки. Начальником обороны Западной Камчатки был назначен М.И.Сотников.

13 мая 1904 года был дан первый бой. В устье реки Большой с о.Шумшу прибыла японская шхуна, чтобы забрать рыбу, которую японцы не успели вывезти в 1903 году и спрятали в песке на морских косах. 13 японцев было убито, а шхуна сожжена. 30 мая 1904 года отряд из 150 человек, вооруженных скорострельными винтовками и двумя легкими полевыми пушками, высадился с острова Шумшу в устье реки Озерной. А еще через несколько дней, захватив село Явино (15 километров к северу от р.Озерной), командующий отрядом лейтенант Гундзи прибил в этом селе к столбу доску

со следующей надписью: "Смысло на этой тын писаних слов: именно это земля уже принадлежит Японии, поэтому кто кого трогай будут убиты. Командир японской войска Сечи Гундзи".

Он не ждал сопротивления от местных жителей. А напрасно. Вот, например, как обошлись японцам встречи только с Сотниковым: "28 июня 1904 г. на р.Апала имел дело с Японской шхуной, которую сжег, команда, оказавшая сопротивление – уничтожена в числе 20 человек; 15 июля взял в плен организатора захвата Камчатки Японского Лейтенанта Гундзю и доктора Ода-Наотаро, высадившихся с вооруженною командою на р.Озерной, 17 июля сделал наступление на передний табор Гундзи, где уничтожил 17 японцев; 9-го августа на р.Воровской имел дело с Японской шхуной, шхуну и команду уничтожил; 13 августа захватил в море 3 японцев, шедших на остров Шумшу в шлюпке, шлюпку и команду японцев уничтожил. В течение лета 1904 года на протяжении от р.Озерной до р.Сопочной, в районе уничтожено 11-ть Японских шхун".

Допустим, что японский десант у селения Явино одержал бы победу, захватив нашу территорию. Тогда Россия была бы вынуждена отдать, кроме половины острова Сахалин и Курильской гряды, Камчатку с её рыбными запасами. А там, глядишь, и на Чукотку хозяин нашёлся бы. Потому многих жителей полуострова тогда отметили государственными наградами. Редактора «Приамурских ведомостей» наградили 25 июля 1905 года орденом Св. Анны 2-й степени.

15 июля 1905 г., уже после своего отъезда из Камчатки, А.П.Сильницкий получил следующее письмо из Петропавловска от своего бывшего заместителя Векентьева: «Дорогой Антон Петрович! В Петропавловск прибыл я 12 мая. Из Охотска нас выехало трое: я, Лех и Жаба. С приездом в Карагу я уже почувствовал, что попал в Богоспасаемую Камчатку. Кончились юрты и начались чистенькие камчадальские домики, увешанные внутри картинами Подпругинского торга. Вы себе представить не можете, как рады были камчадалы моему приезду. Мне даже неловко было перед Лехом, что камчадалы с таким триумфом и неподдельною радостью приветствовали именно меня, а не его, как нового уездного начальника. Везде и всюду только слышишь: слава тебе, Господи, один из наших начальников прибыл, а то мы и голову потеряли. Везде и всюду спрашивают про Вас, благословляют Вас и благодарят за добро. Верите ли, дорогой Антон Петрович, что все это видеть и слышать мне было более чем приятно. В Ключах я и Лех были на сходе, где крестьяне поголовно заявили Леху, что лучшего начальника, как был Сильницкий, им и не надо и что все они благодарят Бога за это и помнят все Ваши заботы о них. Лех спросил у них, может ли он все это написать губернатору, они заявили, что просят даже. Не знаю писал ли он это. По остальным селениям, вплоть до Петропавловска, совершенно то же самое. Во многих юртах существуют надписи такого содержания: "Господи, убери Павского и пошли нам Сильницкого или Векентьева", или просто: "Господи, пошли нам скорее Сильницкого или Векентьева". По всей Камчатке только и слышны жалобы на Павского. Да,

дорогой Антон Петрович, вы сделались камчатским народным любимцем, а благодаря Вам и на мою долю выпало это счастье. Камчадалы говорят, что у них благодаря Вам и рубашка новая и на черный день записано. И все, дорогой Антон Петрович, благодаря Вам. Искренно сожалею, что Вы отсутствуете, да и не я один.. Обнимаю Вас крепко, любящий Вас В. Векентьев

Итог камчатской деятельности А.П.Сильницкого подвел автор цитируемой «Хроники забытой войны»:

"ТОТ ФАКТ, ЧТО КАМЧАТКА ПО ПОРТСМУТСКОМУ ДОГОВОРУ ОСТАЛАСЬ ЗА РОССИЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ ОГРОМНОЙ ЗАСЛУГОЙ САМОГО НАСЕЛЕНИЯ ПОЛУОСТРОВА, КОТОРОЕ В ГРОЗНЫЙ ЧАС ВОЙНЫ ВЗЯЛОСЬ ЗА ОРУЖИЕ", – делает вывод современный историк, подводя итоги русско-японской войны.

Помимо той видной роли, которую он сыграл в сохранении Камчатского полуострова в составе России, другой итог деятельности Антона Петровича Сильницкого состоял в его бескомпромиссной борьбе с чиновничьей коррупцией на Дальнем Востоке, послужившей причиной неиссякаемой враждебности к нему камчатского «элитного» общества.

* * *

По рассказам отца, жизнь Антона Петровича оборвалась в 47-летнем возрасте поистине «детективным» концом. Он завел в Хабаровске совместно с некоторыми согражданами свое собственное издательское дело. Через некоторое время он скоропостижно скончался, что вызвало определенные подозрения у его вдовы. Она начала расследование обстоятельств его смерти. Однажды поздно вечером она вернулась домой в сильном волнении, сказав родным, что наконец все данные в ее руках. На следующее утро она была найдена мертвой в своей спальне. Никакие документальные подтверждения этих детских воспоминаний отца мне не известны. Непреложным фактом остается, что в семилетнем возрасте он оказался круглой сиротой и воспитывался в Хабаровском кадетском корпусе, в составе которого в начале двадцатых годов XX века прибыл в эмиграцию в Шанхай.

Curriculum vitae Г. Г. Сильницкого

Окончил с отличием историко-филологический факультет Молотовского (Пермского) госуниверситета весной 1953 г по специальности «филолог-

лингвист». Получил направление на должность учителя русского языка и литературы в Молотовскую Областную Заочную Школу Взрослых, где проработал до лета 1957 г.

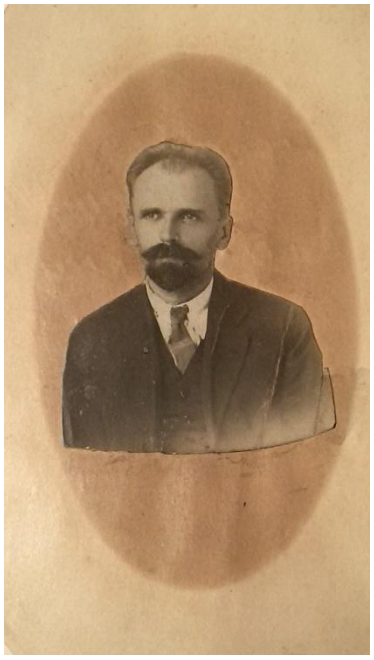
В сентябре 1957г. поступил в очную аспирантуру при кафедре английской филологии Ленинградского педагогического института им. Герцена, по окончании которой в 1960 г. получил направление на должность старшего преподавателя английского языка в Смоленский государственный педагогический институт им. К.Маркса (ныне университет). Работал заведующим кафедрой английского языка (1962-1981, 1989-1999). Кандидат филологических наук (1955), доцент (1968), доктор филологических наук (1976), профессор (1977). Заслуженный деятель наук РФ (1991), член Нью-Йоркской Академии наук (1995), Кавалер ордена Почета №6936 (1999). Почетный профессор СмолГУ (2012).

С 1960 года Г. Сильницкий активно сотрудничает с Ленинградской школой типологической лингвистики при Ленинградском отделении Института Языкознания. Основоположник Смоленской школы квантитативной лингвистики. Основная тема исследований – семантика и разноуровневые характеристики глагола. Опубликовано более 200 работ по лингвистике, культурологии, литературоведению, психологии, социологии, философии, изданных в России и за рубежом. Среди них 11 монографий, в том числе: «Корреляционная типология глагольных систем индоевропейских и иноструктурных языков» (1999, Смоленск), «Россия в поисках смысла» (2 тома, 2004, Смоленск), «Квантитативная грамматико-фонетическая типология языков и языковых признаков» (2004, Смоленск), «Семантика. Грамматика. Квантитативная и типологическая лингвистика» (2 тома, 2006, Смоленск), «Филологические опыты» (2010, Смоленск).

Фотографии

1. Мой дед А. П. Сильницкий

2. Мои родители



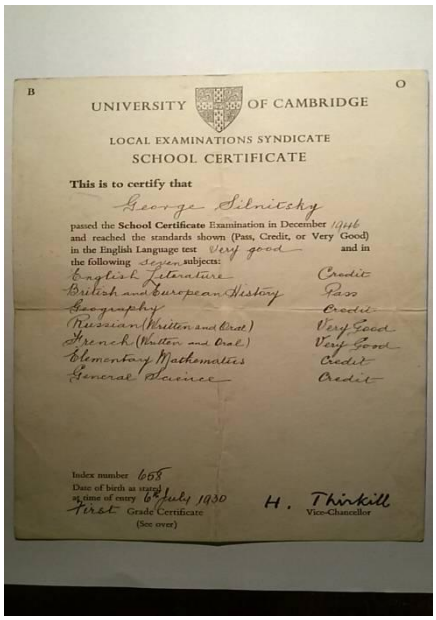
3. Мой дед В. М. Пояркoв

4. Моя бабушка О. Н. Пояркова

5. Н. А. Сильницкая (тетя Нина)

6. Я во время учебы в колледже Жанны д’Арк

7. Мой класс в колледже Жанны д’Арк (я второй справа во втором ряду сверху)



UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE

SCHOOL CERTIFICATE

This is to certify that

George Silnitsky

passed the School Certificate Examination in December 1946 and reached the standards shown (Pass, Credit, or Very Good) in the English Language test Very good and in the following Seven subjects:

English Literature	Credit
British and European History	Pass
Geography	Credit
Russian (Written and Oral)	Very Good
French (Written and Oral)	Very Good
Elementary Mathematics	Credit
General Science	Credit

Index number 668

Date of birth as stated at time of entry 6th July 1930

First Grade Certificate

(See over)

H. Thirkill Vice-Chancellor

8. Диплом Juniour Cambridge.

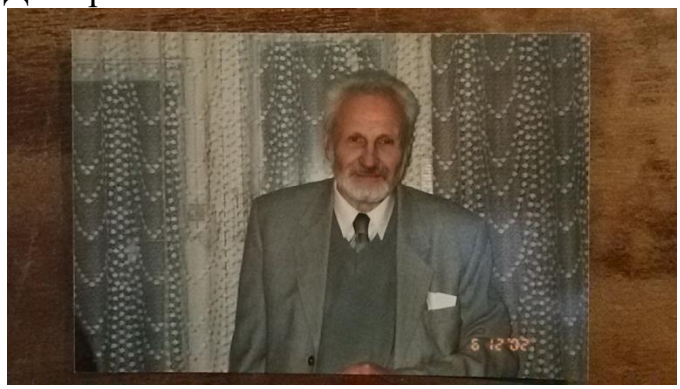
9. Я – студент.

10. Мои однокурсники («гоплиты»). Нижний ряд, слева направо: Юра Суворов, я, Миша Печерский. Второй ряд: Володя Лепескин, Саша Воробьев.

11. Молодожены.

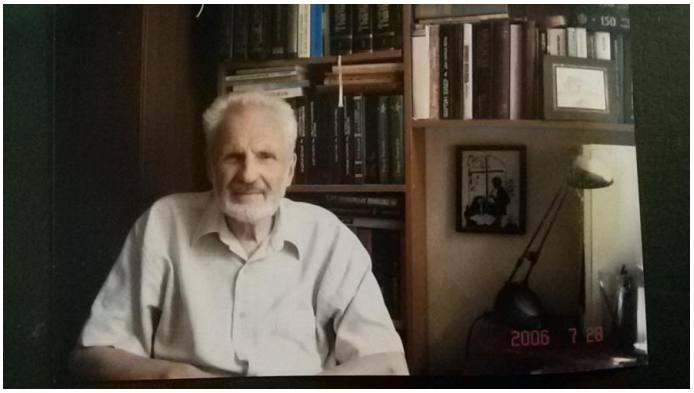
12. Смоленск, на Блонье. Слева направо: Е. Ф.Воронов, Н. Д. Трегубов, я, сын Дмитрий.

13. Шанхайский друг Юра Игнатьев. Встреча в России.



14. Я в 2002 г.

15. Я с сыном Антоном.



16. Мой рабочий кабинет.